РЭЙ БРЭДБЕРИ

ВРЕМЯ, ВОТ ТВОЙ ПОЛЕТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

МОСКВА ~ 1991

РЭЙ БРЭДБЕРИ

ВРЕМЯ, ВОТ ТВОЙ ПОЛЕТ

Научно-фантастические рассказы

МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1991

ББК 84.7США
Б89

Составитель *Ростислав Рыбкин*

Художник *Марк Лисогорский*

Перевод с английского

ok-language
Электронная копия никогда не заменит книгу

Б89 **Бремя, вот твой полет:** Сборник научно-фантастических рассказов/Сост. Р. Рыбкин; Предисл. автора.— М.: Дет. лит., 1991.— 351 с.: ил.— (Б-ка приключений и научной фантастики).

ISBN 5–08–002224–3

Интерес к творчеству Рэя Дугласа Брэдбери — романтика и мечтателя — не ослабевает и у нового поколения молодых читателей. Его мысли о том, что будущее человечества неразрывно связано с завоеванием космоса, близки нашим современникам. Предлагаемый сборник рассказов еще раз убеждает, что через все творчество этого автора тянется золотая нить доброты, жажда человечности, а воспитательная ценность его произведений поистине огромна.

Б $\frac{4804040100—375}{M101(03)-91}$ 485—91 ББК 84.7США

ISBN 5–08–002224–3

© Ростислав Рыбкин. Состав, 1991
© Марк Лисогорский. Иллюстрации, 1991

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Я, наверно, написал больше произведений о библиотеках, книгах и чтении, чем любой другой американский писатель, и справедливо будет считать меня выпускником библиотек. Я кончил только среднюю школу, это было в Лос-Анджелесе, в 1938 году. К тому времени я уже твердо знал, что хочу быть писателем. Я стал продавать газеты на углу, занимался этим три или четыре года, а в свободное время писал. И почти все вечера проводил в библиотеке, в главной городской или в другой какой-нибудь. Бродить по библиотеке для меня было интересней всего на свете: снимешь книгу с полки и сразу в нее влюбишься или наоборот; сядешь или станешь где-нибудь и на листочках бумаги, которые читатели могут брать для записей, пишешь очередной рассказ. Я был беден, а эти бесплатные листочки всегда были рядом, только руку протяни, и я, бывало, напишу на них прямо в библиотеке полрассказа, несу всю пачку домой и там перепечатываю на машинке.

Библиотека притягивала меня как магнит. И даже теперь я не меньше, чем тогда, люблю там бывать. Теперь, правда, хожу туда не так часто, как прежде,— может, раз в неделю. Но уж в книжные магазины я захожу каждый день, и для меня покупка книг — одно из величайших удовольствий в жизни,— в последние пятнадцать лет я наконец могу это себе позволить. Нет способа тратить деньги достойнее, чем покупая книги.

Я верю в воображение. Верю, что если мы, люди, несмотря ни на что, выживем, то только благодаря нашей способности фантазировать — без этой способности мы в реальном мире просто-напросто не смогли бы жить. Способность эта помогает нам строить свое будущее. И это значит: самые важные в жизни минуты для подростка те, когда, собираясь заснуть, он смотрит в потолок и видит себя на нем самым замечательным в мире актером, самым замечательным в мире писателем, самым замечательным в мире сапожником или кем-нибудь еще. О каком именно деле для себя вы мечтаете, не так уж важно: оно все равно достойное, если вы им по-настоящему увлечены.

Рэй Брэдбери

БЕЛЫЕ И ЧЕРНЫЕ

Трибуны за проволочным ограждением были заполнены до предела. Зрители ждали. Мы, мальчишки, всласть наплававшись в озере, пронеслись между белыми коттеджами, мимо курортной гостиницы и, галдя, плюхнулись на дешевые скамейки, оставив на них пятна влаги. Жаркое солнце пробивало листву высоких дубов, что окаймляли ромб бейсбольного поля. Наши отцы и матери, в брюках для игры в гольф и легких летних платьях, цыкнули на нас и велели сидеть смирно.

Мы нетерпеливо поглядывали то на гостиницу, то на заднюю дверь огромной кухни. Через пространство между ними, все в крапинках из солнца и тени, потянулись цветные женщины, и через десять минут весь дальний левый сектор дешевых скамеек словно налился соком — это сияли их свежесумытые лица и руки. Уже сколько лет

прошло, а я и сейчас вспоминаю тот день, слышу производимые ими звуки. В теплом воздухе их разговор напоминал негромкое голубиное курлыканье.

Но вот все радостно встрепенулись, веселое улюлюканье взлетело в ясное небо Висконсина — дверь кухни широко распахнулась, и оттуда выбежали большие и маленькие, шоколадные и кремовые негры: официанты, уборщики, кондукторы, лодочники, повара, мойщики бутылок, киоскеры, садовники и смотрители на площадках для гольфа. На всех новенькая, красная в полоску, форма — они явно ею гордились. На бегу они, сияя белозубыми улыбками, дурачились и выкидывали коленца, над зеленой травой мелькали их начищенные до блеска ботинки; вот они вразвалочку протрусили вдоль скамеек с дешевыми местами и не спеша перетекли на поле, приветствуя всех и вся.

Мы, мальчишки, завизжали от восторга. Вон Длинный Джонсон, что подстригает газоны, а вон Каванах из киоска с содовой, и Коротышка Смит, и Пит Браун, и Молния Миллер!

А вон и Большой По! Мы, мальчишки, закричали, захлопали в ладоши!

Каждый вечер Большой По продавал воздушную кукурузу, он возвышался над кукурузным автоматом в танцевальном павильоне чуть позади гостиницы, у самого берега озера. Каждый вечер я покупал у Большого По кукурузу, и он специально для меня обильно поливал ее маслом.

Я затопал ногами и завопил:

— Большой По! Большой По!

Он увидел меня и оттопырил губы — сверкнул ряд белых зубов,— махнул мне рукой и приветственно гоготнул.

Мама встревоженно глянула направо, налево, обернулась назад и толкнула меня локтем.

— Тише,— буркнула она,— тише.

— Боже правый, боже правый! — воскликнула женщина рядом с мамой, обмахиваясь сложенной газетой.— Для цветной прислуги сегодня настоящий праздник, верно? Единственный раз в году, когда им можно разгуляться. Большой матч между белыми и черными — они ждут его целое лето. Но это еще не все. Вы на их празднике были? Видели, как они отплясывают кекуок?

— Мы купили билеты на вечер,— сказала мама.— Они дают концерт в павильоне. Доллар с человека. Недешево.

— А я считаю,— заметила женщина,— что раз в год можно и раскошелиться. А уж их пляски — тут есть на что посмотреть! У них такое естественное чувство...

— ...ритма,— докончила мама.

— Именно,— согласилась женщина.— Именно ритма. Что есть, то есть. Боже правый, вы бы видели цветных горничных в гостинице! За этот месяц они в магазине тканей в Медисоне весь сатин скупили. Как выдастся свободная минутка — все шьют да смеются. Еще я у них видела перья для шляп. Горчичные, бордовые, голубые, фиолетовые. Вот будет красотища!

— А я видел, как они проветривали смокинги,— не удержался я.— Всю прошлую неделю висели на веревках за гостиницей!

— Надо же, как гарцуют! — сказала мама.— Посмотреть на них — можно подумать, что они собрались выиграть у наших!

Цветные игроки разминались, бегали взад-вперед, перекликались; у одних голоса высокие, мелодичные, у других басовитые, густые, тягучие. Далеко в центре поля то и дело вспыхивали их белозубые улыбки, взлетали вверх обнаженные черные руки, они хлопали себя по бокам, прыгали, бегали и резвились, будто кролики, веселье так и било через край.

Большой По взял в охапку несколько бит, взгромоздил их на здоровенное плечо и важно прошествовал вдоль линии первой базы — голова откинута назад, улыбка во весь рот; пощелкивая языком, он напевал:

Когда в квартале негритянском
Начнется бал и станут блюз играть,
Я подкачусь к моей красотке Мегги
И до упаду будем мы плясать!

Колени вверх, вниз, в стороны, а битами размахивает, будто дирижерскими палочками. С левой трибуны — взрыв аплодисментов, негромкое хихиканье: там собрались молодые цветные хохотушки, сама непосредственность, так и зыркают своими угольками. Жесты у них какие-то быстрые, но до того изящные — глаз не оторвать. Может,

так кажется из-за цвета кожи? А смеются — будто пташки воркуют. Они замахали Большому По, а одна фальцетом выкрикнула:

— А-ах, Большой По! А-ах, Большой По!

Когда Большой По закончил свой кекуок, из белого сектора тоже донеслись вежливые хлопки.

— Эй, По! — завопил я.

— Прекрати, Дуглас! — шикнула на меня мама.

Но вот между деревьями мелькнула команда белых, тоже все в одинаковой форме. На нашей трибуне будто гром прогремел, зрители закричали, повскакивали с мест. Белые игроки — белее не придумаешь — побежали через зеленый ромб поля.

— А вон дядя Джордж! — воскликнула мама.— Какой шикарный у него вид!

Дядя Джордж уткой переваливался по траве, а форма на нем была будто с чужого плеча — пузо вываливалось из фуфайки, а жирная шея, как всегда, растекалась по воротнику. Он мельтешил пухлыми ножками, пыхтя и в то же время улыбаясь.

— Все наши выглядят шикарно,— восхитилась мама.

Я сидел и смотрел на них, на их движения. Рядом сидела мама, она, наверное, тоже сравнивала, тоже думала, и увиденное поразило ее и обескуражило. Как легко выбежали на поле темнокожие, будто олени и антилопы в замедленной съемке из фильмов об Африке, будто пришельцы из снов. Они сияли, как прекрасные коричневые животные, которые просто живут, даже не подозревая об этом. И когда они бежали, выбрасывая вперед свои легкие, неспешные, плывущие по времени ноги, за которыми тянулись их большие раскинутые руки и растопыренные пальцы, и улыбались на ветру, их лица вовсе не говорили: «Смотрите, как я бегу! Смотрите, как я бегу!» Нет, ничего подобного. На их лицах, словно в сладком сне, было вот что: «Господи, так здорово, что можно бежать! Земля подо мной так и стелется. Бог ты мой, вот красота! Кости будто жиром смазаны, мышцы по ним так и ходят, ничего нет в мире лучше бега». И они бежали. Бежали просто так, без цели, но бег этот их словно пьянил, наполнял их души радостью жизни.

А вот белые не просто бежали, они работали — как всегда. Смотреть на них было неловко — уж слишком они

оживленны, слишком переигрывают. И все время косят глазами: смотрят на них или нет? Неграм на это было плевать, они знай себе двигались и жили этим движением. Предстоящий матч их не страшил, они о нем и не думали.

— До чего шикарно наши выглядят! — повторила мама, но как-то вяло. Она тоже сравнила команды. И конечно, увидела, как расслабленны, естественны цветные, как хорошо на них сидит форма и как напряженны и взвинченны белые, и форма их не красит, а только подчеркивает физические недостатки.

Пожалуй, атмосфера стала накаляться уже с этой минуты.

Глаза ведь есть у всех. И все увидели, что белые в своих летних костюмах походят на сенаторов. А цветные грациозно-раскованны и ведать о том не ведают — как ими не восхитишься? Но восхищение часто сменяется завистью, ревностью, раздражением. Так вышло и сейчас. Разговор потек вот по какому руслу:

— Вон мой муж, Том, на третьей базе. Хоть бы ногами подвигал, а то стоит как истукан.

— Ничего, ничего. Подвигает, когда придет время.

— Что верно, то верно! Взять, к примеру, моего Генри. Он не из тех, кто все время вертится волчком, но в нужную минуту... тут на него стоит посмотреть. М-да... Хоть бы рукой помахал. Машет, машет! Привет, Генри!

— Смотрите, что Джимми Коснер вытворяет!

Я посмотрел. В центре ромба дурачился белый — среднего роста, рыжеволосый, лицо в веснушках. Поставив биту на лоб, он пытался ее удержать в равновесии. Трибуна белых встретила эту выходку смехом. Но это был не просто веселый смех — так смеются, когда за кого-то неловко.

— Жеребьевка! — дал команду судья.

Подбросили монетку. Цветным выпало бить первыми.

— Черт возьми,— огорчилась мама.

Цветные веселой гурьбой убежали с площадки.

Первым биту взял Большой По. Я захлопал в ладоши. Держа биту в одной руке, будто дубинку, он ленивой походкой зашагал к тарелочке основной базы, закинул биту на крепкое плечо, и над отполированной поверхностью засияла его улыбка. Он улыбался цветным женщинам, их свеженькие кремовые платья — хрустящее

печенье — колыхались над ногами, заполняли собой промежутки между сиденьями; прически одна замысловатее другой, на уши спадали локоны. Особым взглядом Большой По одарил подружку, свою маленькую Катрин — стройную, аппетитную, как куриное крылышко. Каждое утро она заправляла постели в гостинице и коттеджах, стучала в дверь, будто птичка клювиком, и вежливо спрашивала: «Как дела? Вы уже прогнали ночные кошмары или еще нет? Прогнали? Тогда быстренько их заменим на свежие, только, чур, принимать по одному. Спасибочки». Большой По, глядя на нее, покачал головой, будто не верил, что она здесь. Потом повернулся, поддерживая биту правой рукой — а левая свободно свисала вдоль туловища,— и приготовился к пробным броскам. Мяч просвистел мимо него и шлепнулся в открытую пасть рукавицы принимавшего — кетчера; тот швырнул его назад. Второй бросок — то же самое. И еще. И еще. Судья хмыкнул. Следующий бросок уже шел в зачет.

Первый мяч Большой По опять пропустил.

— Страйк! Бросок правильный! — объявил судья.

Большой По добродушно подмигнул белым болельщикам. Снова бросок.

— Второй страйк! — воскликнул судья.

Мяч полетел в третий раз.

Внезапно Большой По крутнулся вокруг своей оси, будто хорошо смазанная машина; болтавшаяся без дела рука метнулась к толстому концу биты, едва заметное, как на шарнирах, вращение — и бита смачно хлопнула по мячу! Мяч пулей взвился к небу и опустился где-то у колышущейся линии дубов, у озера, по поверхности которого скользил безмолвный белый парусник. На трибунах завопили от восторга, а я — громче всех. За мячом побежал дядя Джордж, замельтешил на своих кургузых ножках в шерстяных гетрах, становясь все меньше и меньше.

Большой По на секунду замер, наблюдая за мячом. Потом сорвался с места и побежал. Вприпрыжку промчался через все базы и, возвращаясь в дом с третьей, махнул рукой цветным девушкам — так просто, так естественно,— а они вскочили со своих мест, визжа от восторга, и замахали ему в ответ.

Десять минут спустя, когда все базы были заполнены и команда цветных планомерно набирала очки, снова

пришла очередь Большого По. Мама повернулась ко мне и сказала:

— Они поступают эгоистично.

— Но это же игра,— возразил я.— И у них выбито уже двое.

— Но счет ведь семь-ноль,— упорствовала мама.

— Ничего, подождите, еще одного у них выбьют; бить начнут наши, они им покажут,— сказала дама, сидевшая рядом с мамой. Бледной венозной рукой она отогнала назойливую муху.— Эти негры слишком много о себе понимают.

— Второй страйк! — объявил судья, когда Большой По взмахнул битой, но мяч пропустил.

— Всю прошлую неделю,— заговорила мамина соседка, не спуская глаз с Большого По,— обслуживание в гостинице было хуже некуда. Горничные только и говорили что о сегодняшнем концерте, о кекуоке, воду со льдом приходилось по полчаса ждать, от своего шитья не могли оторваться.

— Болл — бросок неправильный! — прокричал судья.

Женщина поежилась.

— Уж скорее бы эта неделя кончилась, вот что,— заключила она.

— Еще один болл! — крикнул судья Большому По.

— Они что, совсем с ума сошли? — обратилась ко мне мама.— Хотят ему легкую жизнь устроить? — Потом повернулась к соседке: — И правда, эта прислуга всю неделю будто не в себе. Вчера мне пришлось два раза напомнить Большому По, чтобы он подлил мне побольше масла в кукурузу. Наверное, хотел на нас сэкономить.

— Третий болл! — крикнул судья.

Мамина соседка охнула и принялась яростно обмахиваться газетой.

— Боже правый, какая ужасная мысль пришла мне в голову. А вдруг они выиграют? А ведь могут. Могут.

Мама взглянула на озеро, на деревья, на свои руки.

— Не знаю, какая нужда играть дяде Джорджу. Выставлять себя на посмешище. Дуглас, беги и скажи ему, чтобы сейчас же уходил с поля. У него же сердце.

— Вы выбиты! — крикнул судья Большому По.

— А-ах! — выдохнули тибуны.

Команды поменялись ролями. Большой По мягко поло-

жил биту на траву и зашагал вдоль линии базы. Белые протопали с поля раздраженные, к лицам прилила кровь, под мышками — островки пота. Большой По посмотрел на меня. Я ему подмигнул. Он подмигнул мне. И тут я понял, что не так он и глуп.

Он вывел себя из игры умышленно.

Первым в команде цветных подавать вышел Длинный Джонсон.

Он неторопливо прошагал к месту броска, энергично разминая пальцы.

У бслых бил некто Кодимер, он круглый год продавал в Чикаго костюмы.

Длинный Джонсон посылал мячи над домом как автомат — спокойно, точно, без эмоций.

Мистер Кодимер бил с подрезкой. Просто дубасил по мячу. Наконец ударил его к линии третьей базы.

— Выбит на первой базе,— объявил судья-ирландец по фамилии Махоуни.

Кодимера сменил молодой швед Моберг. Он запустил свечу в центральную зону, и мяч оказался добычей пухлого крепыша-негра, именно крепыша, а не толстяка, потому что носился он, как гладкий и блестящий шарик ртути.

Третьим был водитель грузовика из Милуоки. Он мощно шваркнул по мячу, направив его в центральную зону по прямой. Удар вышел отменный. Но успеха не принес. Когда водитель домчался до второй базы, там с белым мячиком-снарядом в черных руках его уже поджидал Независимый Смит.

Мама откинулась на спинку сиденья, расстроенно выдохнула воздух:

— Да что же это такое!

— Припекать начинает,— заметила дама по соседству.— Пожалуй, скоро пойду прогуляться к озеру. Уж больно жарко сегодня — не хочется сидеть и смотреть на эту дурацкую игру. Может, и вы со мной, миссис? — спросила она маму.

Так прошли пять смен.

Счет стал одиннадцать-ноль, и Большой По три раза позволял вывести себя из игры; в конце пятой смены подошла очередь Джимми Коснера. Он целый день тренировался, паясничал, всех поучал, рассказывал, куда он

запулит этот шарик, пусть только он ему попадется. Павлиньей походкой он направился к тарелочке дома, уверенный в себе и громогласный. Он повертел в тонких ручках шесть бит, критически оглядел их блестящими зелеными глазками. Наконец выбрал одну, остальные бросил на землю и побежал к дому, из-под его подбитых каблуков вылетали куски зеленого дерна. Шапочку он сдвинул на затылок, обнажив грязновато-рыжие волосы.

— Смотрите! — закричал он дамам.— Сейчас я им покажу, этим темнокожим ребятишкам! Э-гей!

Длинный Джонсон на холмике для броска медленным, извилистым движением как бы взвел пружину. А потом будто метнулась змея, притаившаяся на ветке дерева. Рука Джонсона вдруг оказалась впереди, раскрылась черными ядовитыми клыками — пустая. А белый снаряд с посвистом пронесся над домом.

— Страйк!

Джимми Коснер положил биту на траву и полным ярости взглядом уставился на судью. Он стоял долго, не говоря ничего. Потом демонстративно плюнул под ноги кетчеру, поднял желтую кленовую биту и крутнул ее так, что солнце засияло вокруг нее тревожным ореолом. Он тут же резко ее остановил и пристроил на костлявое плечо, а рот открылся, обнажив длинные, изъеденные никотином зубы, и тотчас закрылся.

Хлоп! Это уже ловушка кетчера.

Коснер обернулся, вперился в нее взглядом.

Кетчер, как мастер черной магии, посверкивая белыми зубами, раскрыл свои словно надраенные до блеска перчатки. Растущим белым цветком оттуда выпростался бейсбольный мяч.

— Снова страйк! — сквозь зной откуда-то издалека объявил судья.

Джимми Коснер положил биту на землю и упер веснушчатые руки в бедра.

— Надо понимать, я пропустил правильный мяч?

— Именно так надо понимать,— подтвердил судья.— Возьмите биту.

— Возьму, чтобы шмякнуть вас по башке,— прорычал Коснер.

— Либо играйте, либо идите в душ!

Джимми Коснер набрал побольше слюны, хотел плю-

нуть, но передумал, сердито сглотнул и только выругался. Наклонился, поднял биту и положил ее на плечо, как мушкет.

И вот на Коснера снова летит мяч! Только что маленький орешек — и вот уже большущее яблоко. Ж-жах! С мощным щелчком его настигла желтая бита. Мяч взмыл к облакам. Джимми понесся к первой базе. Мяч завис в небе, будто раздумывая о законе всемирного тяготения. На берег озера накатилась волна. Толпа неистовствовала. Джимми стремительно бежал. Мяч, все-таки решившись, полетел вниз. Однако прямо под ним оказался гибкий кремовый негр, он хотел поймать мяч, но неудачно. Мяч покатился по газону, но кремовый тут же его подхватил и бросил на первую базу.

Джимми понял, что сейчас его выведут из игры. И ногами вперед впрыгнул на базу.

Все увидели, как каблуки его врезались в лодыжку Большого По. Все увидели кровь. Все услышали крик, визг, увидели, как тяжелыми клубами вздымается пыль.

— Я верно сыграл! — протестовал Джимми две минуты спустя.

Большой По сидел на земле. Вся команда темнокожих стояла вокруг. Доктор опустился на колени, ощупал лодыжку Большого По, пробормотал:

— М-да. Плохо дело.

Вот он намазал лодыжку какой-то мазью и перевязал белым бинтом.

Судья окинул Коснера холодным, презрительным взглядом.

— Идите в душ!

— Еще чего! — вскричал Коснер. Он стоял на первой базе, пыхтя и надувая щеки, уперев веснушчатые руки в бедра.— Я сыграл верно. И остаюсь в игре, господь свидетель! Чтобы меня вышиб из игры какой-то черномазый!

— Он вас и не вышиб,— сказал судья.— Вас вышиб белый. Это я. С поля!

— Он уронил мяч! Почитайте правила! Я сыграл верно!

Коснер и судья пепелили друг друга взглядами.

Большой По поднял глаза от своей распухшей лодыжки. В голосе послышались бархатистые, ласковые нотки, глаза ласково посмотрели на Джимми Коснера.

— Господин судья, он сыграл верно. Пусть останется в поле. Он сыграл верно.

Я стоял рядом. И все слышал. Мы, мальчишки, побежали на поле, посмотреть поближе. Мама кричала, чтобы я вернулся.

— Да, он сыграл верно,— повторил Большой По.

У цветных как по команде вырвался вопль протеста.

— Эй, брат, ты что несешь? В голове помутилось?

— Я же вам сказал,— ответил Большой По спокойно. Посмотрел на доктора, который накладывал повязку.— Он сыграл верно. Пусть остается в поле.

Судья чертыхнулся.

— Ну и пожалуйста! Пусть остается!

И гордо зашагал прочь — спина напряжена, шея раскраснелась.

Большому По помогли подняться.

— На эту ногу опираться не стоит,— предупредил доктор.

— Идти я могу,— без нажима прошептал Большой По.

— Но играть лучше не надо.

— И играть могу,— сказал Большой По ласково, но уверенно, покачал головой, а под белками глаз подсыхали бороздки влаги.— Хорошо сыграю.— Взгляд его был устремлен в пустоту.— Очень хорошо.

— О-о,— вырвалось у цветного со второй базы. Странный, неожиданный звук.

Все цветные посмотрели друг на друга, на Большого По, потом на Джимми Коснера, на небо, озеро, зрителей. И неторопливо разошлись по своим местам. Большой По стоял на здоровой ноге, почти не опираясь на подбитую. Доктор было возразил, но Большой По отмахнулся от него.

— Бьющий, приготовиться! — скомандовал судья.

Мы вернулись на трибуны. Мама ущипнула меня за ногу — почему мне не сидится на месте? Между тем потеплело. На берег выкатились еще три или четыре волны. За проволочным ограждением вспотевшие дамы обмахивались газетами, а мужчины подвинули свои копчики к самому краю деревянных скамеек и, приложив козырьком руки к нахмуренным бровям, смотрели на Большого По, красным деревом возвышающегося над первой базой, а Джимми Коснер стоял в гигантской тени этой темной махины.

Били наши. Начинал молодой Моберг.

ok-language
Электронная копия никогда не заменит книгу

— Давай, швед, давай, швед! — раздался одинокий клич, будто сухое птичье карканье; это издалека, с ярко-зеленой подстриженной лужайки, кричал Джимми Коснер.

Зрители дружно уставились на него. Темные головы на влажных стержнях шей повернулись к дальней части поля; черные лица посмотрели на него, окинули взглядом сверху донизу, увидели его щуплую фигурку, нервно изогнутую спину. Он был центром вселенной.

— Давай, швед! Покажем этим черным ребятишкам! — И Коснер захохотал.

Но вот он отсмеялся. Наступила полная тишина. Только ветер шелестел в пышной листве высоких деревьев.

— Давай, швед, врежь как следует по этому мячику...

У холмика питчера стоял Длинный Джонсон. Он вскинул голову. Пристальным, тягучим взглядом посмотрел на Коснера. Потом встретился глазами с Большим По, и Джимми Коснер это заметил и тотчас замолчал, сглотнул слюну.

Неспешно Длинный Джонсон готовился к броску.

Коснер отошел от первой базы, побежал ко второй.

Длинный Джонсон застыл, выжидая.

Коснер скакнул обратно на базу, поцеловал свою руку и припечатал этот поцелуй прямо к центру базы. Потом с победной улыбкой огляделся по сторонам.

Питчер снова сжал в пружину свою длинную, шарнирную руку, любовно оплел темными пальцами кожаный снаряд, отвел руку назад — и Коснер заплясал на линии первой базы. Он прыгал и кривлялся, как обезьяна. Но питчер и не смотрел в его сторону. И в то же время наблюдал за ним — коварно, украдкой, едва заметно ухмыляясь. Вдруг сделал резкое движение головой, и Коснер, испугавшись, вбежал обратно на базу. Но тут же остановился и захихикал.

Когда Длинный Джонсон в третий раз сделал вид, что будет бросать, Коснер сорвался с первой базы и припустил ко второй.

Словно кнут, хлестнула рука бросающего. Мяч с треском вонзился в перчатку Большого По на первой базе.

Все кругом словно застыло. На секунду.

Яркое солнце в небе, озеро и лодки на нем, трибуны, питчер у своего хозяина с вытянутой и чуть опущенной вниз после броска рукой; Большой По с мячом в могучей

черной руке; игроки в поле, присев, замерли, и лишь Джимми Коснер бежал, вздымая пыль,— это была единственная движущаяся точка во всем летнем мире.

Большой По склонился вперед, прицелился в сторону второй базы, отвел могучую правую руку и швырнул белый бейсбольный мяч по прямой — и попал Джимми Коснеру точно в голову.

В следующий миг чары разрушились.

Джимми Коснер лежал распластавшись на ярко-зеленой траве. Бурлящая толпа покатилась с трибун. Мужчины ругались, женщины визжали, трещал под ногами деревянный помост трибун. Команда цветных убежала с поля. Джимми Коснер не шевелился. Большой По — лицо его ничего не выражало — прохромал с поля, белые пытались остановить его, но он раздвигал их, как прищепки для белья. Просто поднимал их и отталкивал в сторону.

— Идем, Дуглас! — взвизгнула мама, хватая меня за руку.— Скорее домой! Что, если у них бритвы? Боже!

Но до плохого не дошло. В тот вечер мои родители остались дома; устроившись в креслах, они читали журналы. Все коттеджи вокруг были освещены. Курортники сидели по домам. А издалека доносилась музыка. Через заднюю дверь я выскользнул в настоянную тьму летнего вечера и побежал к танцевальному павильону. Там ярко горели огни, играла музыка.

Но белых за столиками не было. Ни один из них не пришел на негритянский праздник, на кекуок.

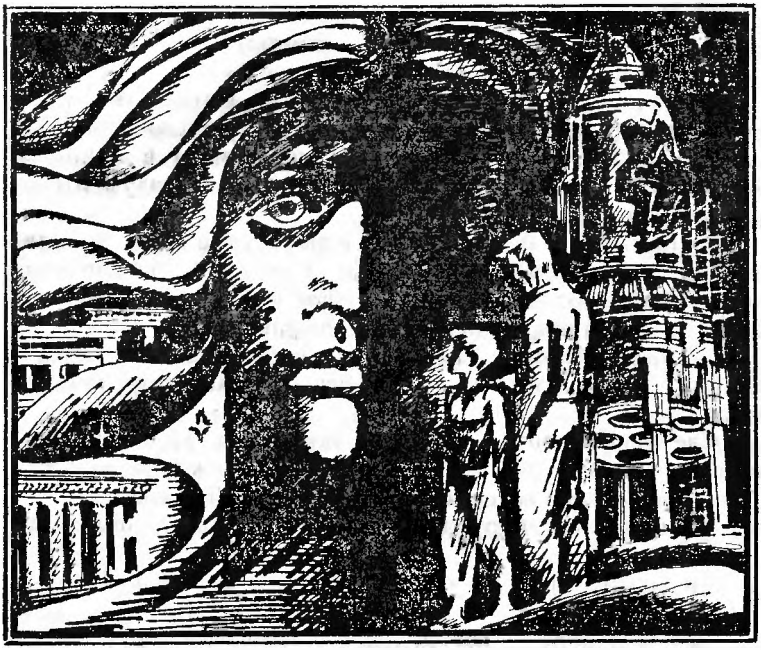
В павильоне были только цветные. Женщины в ярких сатиновых платьях, красных и синих, в чулках в сеточку, мягких перчатках, шляпах с бордовыми перьями, мужчины в блестящих смокингах. Гремела музыка, ей словно было здесь тесно, она так и рвалась наружу. Весело смеясь и высоко вскидывая ноги, выбрасывая в стороны и вверх надраенные туфли, заходились в кекуоке Длинный Джонсон, и Каванах, и Молния Миллер, и Пит Браун, и — чуть прихрамывая — Большой По с Катрин, его девушкой, и все остальные подстригальщики газонов, лодочники, уборщики, горничные,— все они танцевали разом.

Вокруг павильона была непроглядная тьма; на черном небе светили звезды, а я стоял на улице, прижав нос к оконному стеклу, и долго-долго смотрел внутрь.

Потом прокрался в свою комнату, никому не рассказав, что я видел.

Я лежал в темноте, вдыхая ночной аромат спелых яблок, где-то совсем рядом шелестело озеро, а я лежал и вслушивался в далекие и прекрасные звуки музыки. Уже засыпая, я еще раз услышал строчки припева:

Когда в квартале негритянском
Начнется бал и станут блюз играть,
Я подкачусь к моей красотке Мегги
И до упаду будем мы плясать!



БЫЛИ ОНИ СМУГЛЫЕ И ЗОЛОТОГЛАЗЫЕ

Ракета остывала, обдуваемая ветром с лугов. Щелкнула и распахнулась дверца. Из люка выступили мужчина, женщина и трое детей. Другие пассажиры уже уходили, перешептываясь, по марсианскому лугу, и этот человек остался один со своей семьей.

Волосы его трепетали на ветру, каждая клеточка в теле напряглась, чувство было такое, словно он очутился под колпаком, откуда выкачивают воздух. Жена стояла на шаг впереди, и ему казалось — сейчас она улетит, рассеется, как дым. И детей — пушинки одуванчика — вот-вот разнесет ветрами во все концы Марса.

Дети подняли головы и посмотрели на него — так смотрят люди на солнце, чтоб определить, что за пора настала в их жизни. Лицо его застыло.

— Что-нибудь не так? — спросила жена.

— Идем назад в ракету.

— Ты хочешь вернуться на Землю?

— Да. Слушай!

Дул ветер, будто хотел развеять их в пыль. Кажется, еще миг — и воздух Марса высосет его душу, как высасывают мозг из кости. Он словно погрузился в какой-то химический состав, в котором растворяется разум и сгорает прошлое.

Они смотрели на невысокие марсианские горы, придавленные тяжестью тысячелетий. Смотрели на древние города, затерянные в лугах, будто хрупкие детские косточки, раскиданные в зыбких озерах трав.

— Выше голову, Гарри,— сказала жена.— Отступать поздно. Мы пролетели шестьдесят с лишком миллионов миль.

Светловолосые дети громко закричали, словно бросая вызов высокому марсианскому небу. Но отклика не было, только быстрый ветер свистел в жесткой траве.

Похолодевшими руками человек подхватил чемоданы.

— Пошли.

Он сказал это так, как будто стоял на берегу и надо было войти в море и утонуть.

Они вступили в город.

Его звали Гарри Битеринг, жену — Кора, детей — Дэн, Лора и Дэвид. Они построили себе маленький белый домик, где приятно было утром вкусно позавтракать, но страх не уходил. Непрошеный собеседник, он был третьим, когда муж и жена шептались за полночь в постели и просыпались на рассвете.

— У меня знаешь какое чувство? — говорил Гарри.— Будто я крупинка соли и меня бросили в горную речку. Мы здесь чужие. Мы с Земли. А это Марс. Он создан для марсиан. Ради всего святого, Кора, давай купим билеты и вернемся домой!

Но жена только головой качала:

— Рано или поздно Земле не миновать атомной бомбы. А здесь мы уцелеем.

— Уцелеем, но сойдем с ума!

«Тик-так, семь утра, вставать пора!» — пел будильник.

И они вставали.

Какое-то смутное чувство заставляло Битеринга каждое утро осматривать и проверять все вокруг, даже теплую почву и ярко-красные герани в горшках, он словно ждал — вдруг случится неладное? В шесть утра ракета с Земли доставляла свеженькую, с пылу с жару газету. За завтраком Гарри просматривал ее. Он старался быть общительным.

— Сейчас все как было в пору заселения новых земель,— бодро рассуждал он.— Вот увидите, через десять лет на Марсе будет миллион землян. И большие города будут, и все на свете! А говорили — ничего у нас не выйдет. Говорили, марсиане не простят нам вторжения. Да где ж тут марсиане? Мы не встретили ни души. Пустые города нашли — это да, но там никто не живет. Верно я говорю?

Дом захлестнуло бурным порывом ветра. Когда перестали дребезжать оконные стекла, Битеринг трудно глотнул и обвел взглядом детей.

— Не знаю,— сказал Дэвид,— может, кругом и есть марсиане, да мы их не видим. Ночью я их вроде слышу иногда. Ветер слышу. Песок стучит в окно. Я иногда пугаюсь. И потом, в горах еще целы города, там когда-то жили марсиане. И знаешь, папа, в этих городах вроде что-то прячется, кто-то ходит. Может, марсианам не нравится, что мы сюда заявились? Может, они хотят нам отомстить?

— Чепуха! — Битеринг поглядел в окно.— Мы народ порядочный, не свиньи какие-нибудь.— Он посмотрел на детей.— В каждом вымершем городе водятся привидения. То бишь воспоминания.— Теперь он неотрывно смотрел вдаль, на горы.— Глядишь на лестницу и думаешь: а как по ней ходили марсиане, какие они были с виду? Глядишь на марсианские картины и думаешь: а на что был похож художник? И воображаешь себе этакий маленький призрак, воспоминание. Вполне естественно. Это все фантазия.— Он помолчал.— Надеюсь, ты не забирался в эти развалины и не рыскал там?

Дэвид, младший из детей, потупился.

— Нет, папа.

— Смотри держись от них подальше. Передай-ка мне варенье.

— А все-таки что-нибудь да случится,— сказал Дэвид.— Вот увидишь!

...Это случилось в тот же день.

Лора шла по улице неверными шагами, вся в слезах. Как слепая, шатаясь, взбежала на крыльцо.

— Мама, папа... на Земле война! — Она громко всхлипнула.— Только что был радиосигнал. На Нью-Йорк упали атомные бомбы! Все межпланетные ракеты взорвались. На Марс никогда больше не прилетят ракеты, никогда!

— Ох, Гарри! — Миссис Битеринг пошатнулась и ухватилась за мужа и дочь.

— Это верно, Лора? — тихо спросил Битеринг.

Девушка заплакала в голос:

— Мы пропадем на Марсе, никогда нам отсюда не выбраться!

И долго никто не говорил ни слова, только шумел предвечерний ветер.

«Одни,— думал Битеринг.— Нас тут всего-то жалкая тысяча. И нет возврата. Нет возврата. Нет». Его бросило в жар от страха, он обливался пóтом. Лоб, ладони, все тело стало влажное. Ему хотелось ударить Лору, закричать: «Неправда, ты лжешь! Ракеты вернутся!» Но он обнял дочь, погладил по голове и сказал:

— Когда-нибудь ракеты все-таки прорвутся к нам.

— Что ж теперь будет, отец?

— Будем делать свое дело. Возделывать поля, растить детей. Ждать. Жизнь должна идти своим чередом, а там война кончится и опять прилетят ракеты.

На крыльцо поднялись Дэн и Дэвид.

— Мальчики,— начал отец, глядя поверх их голов,— мне надо вам кое-что сказать.

— Мы уже знаем,— сказали сыновья.

Несколько дней после этого Битеринг часами бродил по саду, в одиночку борясь со страхом. Пока ракеты плели свою серебряную паутину меж планетами, он еще мог мириться с Марсом. Он твердил себе: «Если захочу, завтра же куплю билет и вернусь на Землю».

А теперь серебряные нити порваны, ракеты валяются бесформенной грудой оплавленных металлических каркасов и перепутанной проволоки. Люди Земли покинуты на чужой планете, среди смуглых песков, на пьянящем ветру;

их жарко позолотит марсианское лето и уберут в житницы марсианские зимы. Что станется с ним и с его близкими? Марс только и ждал этого часа. Теперь он их пожрет.

Сжимая трясущимися руками заступ, Битеринг опустился на колени возле клумбы. «Работать,— думал он.— Работать и забыть обо всем на свете».

Он поднял глаза и посмотрел на горы. Некогда у этих вершин были гордые марсианские имена. Земляне, упавшие с неба, смотрели на марсианские холмы, реки, моря — у всего этого были имена, но для пришельцев все оставалось безымянным. Некогда марсиане возвели города и дали названия городам; восходили на горные вершины и дали названия вершинам; плавали по морям и дали названия морям. Горы рассыпались, моря пересохли, города обратились в развалины. И все же земляне втайне чувствовали себя виноватыми, когда давали новые названия этим древним холмам и долинам.

Но человек не может жить без символов и ярлычков. И на Марсе все назвали по-новому.

Битерингу стало очень-очень одиноко — до чего же не ко времени и не к месту он здесь, в саду, до чего нелепо в чужую почву, под марсианским солнцем сажать земные цветы!

«Думай о другом. Думай непрестанно. О чем угодно. Лишь бы не помнить о Земле, об атомных войнах, о погибших ракетах».

Он был весь в испарине. Огляделся. Никто не смотрит. Снял галстук. «Ну и нахальство! — подумал он.— Сперва пиджак скинул, теперь галстук». Он аккуратно повесил галстук на ветку персикового деревца — этот саженец он привез из штата Массачусетс.

И опять он задумался об именах и горах. Земляне переменили все имена и названия. Теперь на Марсе есть Хормелские долины, моря Рузвельта, горы Форда, плоскогорья Вандербилта, реки Рокфеллера. Неправильно это. Первопоселенцы в Америке поступали мудрее, они оставили американским равнинам имена, которые дали им в старину индейцы: Висконсин, Миннесота, Айдахо, Огайо, Юта, Милуоки, Уокеган, Оссео. Древние имена, исполненные древнего значения.

Расширенными глазами он смотрел на горы. Может быть, вы скрываетесь там, марсиане? Может быть,

вы — мертвецы? Что ж, мы тут одни, от всего отрезаны. Сойдите с гор, гоните нас прочь! Мы — бессильны!

Порыв ветра осыпал его дождем персиковых лепестков.

Он протянул загорелую руку и вскрикнул. Коснулся цветов, собрал в горсть. Разглядывал, вертел и так и эдак. Потом закричал:

— Кора!

Она выглянула в окно. Муж бросился к ней.

— Кора, смотри!

Жена повертела цветы в руках.

— Ты видишь? Они какие-то не такие. Они изменились. Персик цветет не так!

— А по-моему, самые обыкновенные цветы,— сказала Кора.

— Нет, не обыкновенные. Они неправильные! Не пойму, в чем дело. Лепестком больше, чем надо, или, может, лист лишний, цвет не тот, пахнут не так, не знаю!

Выбежали из дому дети и в изумлении остановились: отец метался от грядки к грядке, выдергивал редис, лук, морковь.

— Кора, иди посмотри!

Лук, редис, морковь переходили из рук в руки.

— И это, по-твоему, морковь?

— Да... нет. Не знаю,— растерянно отвечала жена.

— Все овощи стали какие-то другие.

— Да, пожалуй.

— Ты и сама видишь, они изменились! Лук — не лук, морковка — не морковка. Попробуй: вкус тот же и не тот. Понюхай — и пахнет не так, как прежде.— Битеринга обуял страх, сердце колотилось. Он впился пальцами в рыхлую почву.— Кора, что же это? Что же это делается? Нельзя нам тут оставаться.— Он бегал по саду, ощупывал каждое дерево.— Смотри, розы! Розы... они стали зеленые!

И все стояли и смотрели на зеленые розы.

А через два дня Дэн прибежал с криком:

— Идите поглядите на корову! Я доил ее и увидал. Идите скорей!

И вот они стоят в хлеву и смотрят на свою единственную корову.

У нее растет третий рог.

А лужайка перед домом понемногу, незаметно окраши-

валась в цвет весенних фиалок. Семена привезены были с Земли, но трава росла нежно-лиловая.

— Нельзя нам тут оставаться,— сказал Битеринг.— Мы начнем есть эту дрянь с огорода и сами превратимся невесть во что. Я этого не допущу. Только одно и остается — сжечь эти овощи!

— Они же не ядовитые.

— Нет, ядовитые. Очень тонкая отрава. Капелька яду, самая капелька. Нельзя это есть.— Он в отчаянии оглядел свое жилище.— Дом и тот отравлен. Ветер что-то такое с ним сделал. Воздух сжигает его. Туман по ночам разъедает. Доски все перекосились. Человеческие дома такие не бывают.

— Тебе просто мерещится!

Он надел пиджак, повязал галстук.

— Пойду в город. Надо скорей что-то предпринять. Сейчас вернусь.

— Гарри, постой! — крикнула вдогонку жена.

Но его уже и след простыл.

В городе, на крыльце бакалейной лавки, уютно сидели в тени мужчины, сложив руки на коленях; неторопливо текла беседа.

Будь у Битеринга револьвер, он бы выстрелил в воздух.

«Что вы делаете, дурачье? — думал он.— Рассиживаетесь тут как ни в чем не бывало. Вы же слышали — мы застряли на Марсе, нам отсюда не выбраться. Очнитесь, делайте что-нибудь! Неужели вам не страшно? Неужели не страшно? Как вы станете жить дальше?»

— Здорово, Гарри! — сказали ему.

— Послушайте,— начал Битеринг,— вы слышали вчера новость? Или, может, не слыхали?

Люди закивали, засмеялись:

— Конечно, Гарри! Как не слыхать!

— И что вы собираетесь делать?

— Делать, Гарри? А что ж тут поделаешь?

— Надо строить ракету, вот что!

— Ракету? Вернуться на Землю и опять вариться в этом котле? Брось, Гарри!

— Да неужели же вы не хотите на Землю? Видали, как зацвел персик? А лук, а трава?

— Вроде видали, Гарри. Ну и что? — сказал кто-то.

— И не напугались?

— Да не сказать, чтоб очень напугались.

— Дурачье.

— Ну чего ты, Гарри!

Битеринг чуть не заплакал.

— Вы должны мне помочь. Если мы тут останемся, неизвестно, во что мы превратимся. Это все воздух. Вы разве не чувствуете? Что-то такое в воздухе. Может, какой-то марсианский вирус, или семена какие-то, или пыльца. Послушайте меня!

Все не сводили с него глаз.

— Сэм,— сказал он.

— Да, Гарри? — отозвался один из сидевших на крыльце.

— Поможешь мне строить ракету?

— Вот что, Гарри, у меня есть куча всякого металла и кое-какие чертежи. Если хочешь строить ракету в моей мастерской, милости просим. За металл я с тебя возьму пятьсот долларов. Если будешь работать один, пожалуй, лет за тридцать построишь отличную ракету.

Все засмеялись.

— Не смейтесь!

Сэм добродушно смотрел на Битеринга.

— Сэм,— вдруг сказал тот,— у тебя глаза...

— Чем плохие глаза?

— Ведь они у тебя были серые?

— Право, не помню, Гарри.

— У тебя глаза были серые, ведь верно?

— А почему ты спрашиваешь?

— Потому что они у тебя стали какие-то желтые.

— Вот как? — равнодушно сказал Сэм.

— А сам ты стал какой-то высокий и тонкий.

— Может, оно и так.

— Сэм, это нехорошо, что у тебя глаза стали желтые.

— А у тебя, по-твоему, какие?

— У меня? Голубые, конечно.

— Держи, Гарри.— Сэм протянул ему карманное зеркальце.— Погляди-ка на себя.

Битеринг нерешительно взял зеркальце и посмотрелся.

В глубине его голубых глаз притаились чуть заметные золотые искорки.

Минуту было тихо.

— Эх, ты,— сказал Сэм.— Разбил мое зеркальце.

Гарри Битеринг расположился в мастерской Сэма и начал строить ракету. Люди стояли в дверях мастерской, негромко переговаривались, посмеивались. Изредка помогали Битерингу поднять что-нибудь тяжелое. А больше стояли просто так и смотрели на него, и в глазах у них разгорались желтые искорки.

— Пора ужинать, Гарри,— напомнили они.

Пришла жена и принесла в корзинке ужин.

— Не стану я это есть,— сказал он.— Теперь я буду есть только то, что хранится у нас в холодильнике. Что мы привезли с Земли. А что тут в саду и в огороде выросло — это не для меня.

Жена стояла и смотрела на него.

— Не сможешь ты построить ракету.

— Когда мне было двадцать, я работал на заводе. С металлом я обращаться умею. Дай только начать, тогда и другие мне помогут,— говорил он, разворачивая чертежи и кальки; на жену он не смотрел.

— Гарри, Гарри,— беспомощно повторяла она.

— Мы должны вырваться, Кора. Нельзя нам тут оставаться!

По ночам под луной, в пустынном море трав, где уже двенадцать тысяч лет, точно забытые шахматы, белели марсианские города, дул и дул неотступный ветер. И дом Битеринга в поселке землян сотрясала дрожь неуловимых перемен.

Лежа в постели, Битеринг чувствовал, как внутри шевелится каждая косточка, и плавится, точно золото в тигле, и меняет форму. Рядом лежала жена, смуглая от долгих солнечных дней. Вот она спит, смуглая и золотоглазая, солнце опалило ее чуть не дочерна, и дети спят в своих постелях, точно отлитые из металла, и тоскливый ветер, ветер перемен, воет в саду, в ветвях бывших персиковых деревьев и в лиловой траве, и стряхивает лепестки зеленых роз.

Страх ничем не уймешь. Он берет за горло, сжимает сердце. Холодный пот проступает на лбу, на дрожащих ладонях.

На востоке взошла зеленая звезда.

Незнакомое слово слетело с губ Битеринга.

— *Йоррт,*— повторил он.— *Йоррт.*

Марсианское слово. Но он ведь не знает языка марсиан!

Среди ночи он поднялся и пошел звонить Симпсону, археологу.

— Послушай, Симпсон, что значит «Йоррт»?

— Да это старинное марсианское название нашей Земли. А что?

— Так, ничего.

Телефонная трубка выскользнула у него из рук.

— Алло, алло, алло! — повторяла трубка.— Алло, Битеринг! Гарри! Ты слушаешь?

А он сидел и неотрывно смотрел на зеленую звезду.

Дни наполнены были звоном и лязгом металла. Битеринг собирал каркас ракеты, ему нехотя, равнодушно помогали три человека. За какой-нибудь час он очень устал, пришлось сесть передохнуть.

— Тут слишком высоко,— засмеялся один из помощников.

— А ты что-нибудь ешь, Гарри? — спросил другой.

— Конечно, ем,— сердито буркнул Битеринг.

— Все из холодильника?

— Да!

— А ведь ты худеешь, Гарри.

— Неправда.

— И росту в тебе прибавляется.

— Врешь!

Несколько дней спустя жена отвела его в сторону.

— Наши старые запасы все вышли. В холодильнике ничего не осталось. Придется мне кормить тебя тем, что у нас выросло на Марсе.

Битеринг тяжело опустился на стул.

— Надо же тебе что-то есть,— сказала жена.— Ты совсем ослаб.

— Да,— сказал он.

Взял сандвич, оглядел со всех сторон и опасливо откусил кусочек.

— Не работай больше сегодня, отдохни,— сказала

Кора.— Такая жара. Дети затевают прогулку, хотят искупаться в канале. Пойдем, прошу тебя.

— Я не могу терять время. Все поставлено на карту!

— Хоть часок,— уговаривала Кора.— Поплаваешь, освежишься, это полезно.

Он встал весь в поту.

— Ладно уж. Хватит тебе. Иду.

— Вот и хорошо!

День был тихий, палило солнце. Точно исполинский жгучий глаз уставился на равнину. Они шли вдоль канала, дети в купальных костюмах бежали вперед. Потом сделали привал, закусили сандвичами с мясом. Гарри смотрел на жену, на детей — какие они стали смуглые, совсем коричневые! А глаза желтые — никогда они не были желтыми! Его вдруг затрясло, но скоро дрожь прошла, будто ее смыли жаркие волны, приятно было лежать так на солнце. Он уже не чувствовал страха — он слишком устал.

— Кора, с каких пор у тебя желтые глаза?

Она посмотрела с недоумением:

— Наверно, всегда были такие.

— А может, они были карие и пожелтели за последние три месяца?

Кора прикусила губу:

— Нет. Почему ты спрашиваешь?

— Так просто.

Посидели, помолчали.

— И у детей тоже глаза желтые,— сказал Битеринг.

— Это бывает: дети растут — и глаза меняют цвет.

— Может быть, и мы тоже — дети. По крайней мере на Марсе. Вот это мысль! — Он засмеялся.— Поплавать, что ли?

Они прыгнули в воду. Гарри, не шевелясь, погружался все глубже, и вот он лежит на дне канала, точно золотая статуя, омытая зеленой тишиной. Вокруг безмятежная глубь, мир и покой. И тебя тихонько несет неторопливым, ровным течением.

«Полежать так подольше,— думал он,— и вода обработает меня по-своему, пожрет мясо, обнажит кости, точно кораллы. Только скелет и останется. А потом на костях вода построит свое, появятся наросты, водоросли, ракушки, разные подводные твари — зеленые, красные, желтые. Все меняется. Меняется. Медленные, подспудные,

безмолвные перемены. А разве не то же делается и там, наверху?»

Сквозь воду он увидел над головою солнце — тоже незнакомое, марсианское, измененное иным воздухом, и временем, и пространством.

«Там, наверху,— безбрежная река,— думал он,— марсианская река, и все мы в наших домах из речной гальки и затонувших валунов лежим на дне, точно раки-отшельники, и вода смывает нашу прежнюю плоть, и удлиняет кости, и...»

Он дал мягко светящейся воде вынести его на поверхность.

Дэн сидел на кромке канала и серьезно смотрел на отца.

— Ута,— сказал он.

— Что такое? — переспросил Битеринг.

Мальчик улыбнулся:

— Ты же знаешь. Ута по-марсиански — отец.

— Где это ты выучился?

— Не знаю. Везде. Ута!

— Чего тебе?

Мальчик помялся:

— Я... я хочу зваться по-другому.

— По-другому?

— Да.

Подплыла мать.

— А чем плохое имя Дэн?

Дэн скорчил гримасу, пожал плечами.

— Вчера ты все кричала — Дэн, Дэн, Дэн, а я и не слыхал. Думал, это не меня. У меня другое имя, я хочу, чтоб меня звали по-новому.

Битеринг ухватился за боковую стенку канала, он весь похолодел; медленно, гулко билось сердце.

— Как же это по-новому?

— Линл. Правда, хорошее имя? Можно я буду Линл? Можно? Ну пожалуйста!

Битеринг провел рукой по лбу, мысли путались. Дурацкая ракета, работаешь один, и даже в семье ты один, уж до того один...

— А почему бы и нет? — услышал он голос жены.

Потом услышал свой голос:

— Можно.

— Ага-а! — закричал мальчик.— Я — Линл, Линл!

И, вопя и приплясывая, побежал через луга.

Битеринг посмотрел на жену.

— Зачем мы ему позволили?

— Сама не знаю,— сказала Кора.— Что ж, по-моему, это совсем не плохо.

Они шли дальше среди холмов. Ступали по старым, выложенным мозаикой дорожкам, мимо фонтанов, из которых и теперь еще разлетались водяные брызги. Дорожки все лето напролет покрывал тонкий слой прохладной воды. Весь день можно шлепать по ним босиком, точно вброд по ручью, и ногам не жарко.

Подошли к маленькой, давным-давно заброшенной марсианской вилле. Она стояла на холме, и отсюда открывался вид на долину. Коридоры, выложенные голубым мрамором, фрески во всю стену, бассейн для плаванья. В летнюю жару тут свежесть и прохлада. Марсиане не признавали больших городов.

— Может, переедем сюда на лето? — сказала миссис Битеринг.— Вот было бы славно!

— Идем,— сказал муж.— Пора возвращаться в город. Надо кончать ракету, работы по горло.

Но в этот вечер за работой ему вспомнилась вилла из прохладного голубого мрамора. Проходили часы, и все настойчивей думалось, что, пожалуй, не так уж и нужна эта ракета.

Текли дни, недели, и ракета все меньше занимала его мысли. Прежнего пыла не было и в помине. Его и самого пугало, что он стал так равнодушен к своему детищу. Но как-то все так складывалось — жара, работать тяжело...

За раскрытой настежь дверью мастерской — негромкие голоса:

— Слыхали? Все уезжают.

— Верно. Уезжают.

По пыльной дороге движутся несколько машин, нагруженных мебелью и детьми.

— Переселяются в виллы,— говорит человек на крыльце.

— Да, Гарри. И я тоже перееду,— подхватывает другой.— И Сэм тоже. Верно, Сэм?

— Верно. А ты, Гарри?

— У меня тут работа.

— Работа! Можешь достроить свою ракету осенью, когда станет попрохладнее.

Битеринг перевел дух.

— У меня уже каркас готов.

— Осенью дело пойдет лучше.

Ленивые голоса словно таяли в раскаленном воздухе.

— Мне надо работать,— повторил Битеринг.

— Отложи до осени,— возразили ему, и это звучало так здраво, так разумно.

Осенью дело пойдет лучше, подумал он. Времени будет вдоволь.

«Нет! — кричало что-то в самой глубине его существа, запрятанное далеко-далеко, запертое наглухо, задыхающееся.— Нет, нет!»

— Осенью,— сказал он вслух.

— Едем, Гарри,— сказали ему.

— Ладно,— согласился он, чувствуя, как тает, плавится в знойном воздухе все тело.— Ладно, до осени. Тогда я опять возьмусь за работу.

— Я присмотрел себе виллу у Тирра-канала,— сказал кто-то.

— У канала Рузвельта, что ли?

— Тирра. Это старое марсианское название.

— Но ведь на карте...

— Забудь про карту. Теперь он называется Тирра. И я отыскал одно местечко в Пилланских горах...

— Это горы Рокфеллера? — переспросил Битеринг.

— Это Пилланские горы,— сказал Сэм.

— Ладно,— сказал Битеринг, окутанный душным, непроницаемым саваном зноя.— Пускай Пилланские.

Назавтра, в тихий, безветренный день, все усердно грузили вещи в машину.

Лора, Дэн и Дэвид таскали узлы и свертки. Нет, узлы и свертки таскали Ттил, Линл и Верр — на другие имена они теперь не отзывались.

Из мебели, что стояла в их белом домике, не взяли с собой ничего.

— В Бостоне наши столы и стулья выглядели очень мило,— сказала мать.— И в этом домике тоже. Но для той виллы они не годятся. Вот вернемся осенью, тогда они опять пойдут в ход.

Битеринг не спорил.

— Я знаю, какая там нужна мебель,— сказал он немного погодя.— Большая, удобная, чтоб можно развалиться.

— А как с твоей энциклопедией? Ты, конечно, берешь ее с собой?

Битеринг отвел глаза:

— Я заберу ее на той неделе.

— А свои нью-йоркские наряды ты взяла? — спросили они дочь.

Девушка посмотрела с недоумением:

— Зачем? Они мне теперь ни к чему.

Выключили газ и воду, заперли двери и пошли прочь. Отец заглянул в кузов машины.

— Не много же мы берем с собой,— заметил он.— Против того, что мы привезли на Марс, это жалкая горсточка!

И сел за руль.

Долгую минуту он смотрел на белый домик — хотелось кинуться к нему, погладить стену, сказать «прощай». Чувство было такое, словно уезжает он в дальнее странствие и никогда по-настоящему не вернется к тому, что оставляет здесь, никогда уже все это не будет ему так близко и понятно.

Тут с ним поравнялся на грузовике Сэм со своей семьей.

— Эй, Битеринг! Поехали!

И машина покатила по древней дороге вон из города. В том же направлении двигались еще шестьдесят грузовиков. Тяжелое, безмолвное облако пыли, поднятой ими, окутало покинутый городок. Голубела под солнцем вода в каналах, тихий ветер чуть шевелил листву странных деревьев.

— Прощай, город! — сказал Битеринг.

— Прощай, прощай! — замахали руками жена и дети.

И уж больше ни разу не оглянулись.

За лето до дна высохли каналы. Лето прошло по лугам, точно степной пожар. В опустевшем поселке землян лупилась и осыпалась краска со стен домов. Висящие на задворках автомобильные шины, что еще недавно служили

детворе качелями, недвижно застыли в знойном воздухе, словно маятники остановившихся часов.

В мастерской каркас ракеты понемногу покрывался ржавчиной.

В тихий осенний день мистер Битеринг — он теперь был очень смуглый и золотоглазый — стоял на склоне холма над своей виллой и смотрел вниз, в долину.

— Пора возвращаться,— сказала Кора.

— Да, но мы не поедем,— спокойно сказал он.— Чего ради?

— Там остались твои книги,— напомнила она.— Твой парадный костюм... Твои *лле*,— сказала она.— Твой *йор юеле рре*.

— Город совсем пустой,— возразил муж.— Никто туда не возвращается. Да и незачем. Совершенно незачем.

Дочь ткала, сыновья наигрывали песенки — один на флейте, другой на свирели, все смеялись, и веселое эхо наполняло мраморную виллу.

Гарри Битеринг смотрел вниз, в долину, на далекое селение землян.

— Какие странные, смешные дома строят жители Земли.

— Иначе они не умеют,— в раздумье отозвалась жена.— До чего уродливый народ. Я рада, что их больше нет.

Они посмотрели друг на друга, испуганные словами, которые только что сказались. Потом стали смеяться.

— Куда же они подевались? — раздумчиво произнес Битеринг.

Он взглянул на жену. Кожа ее золотилась, и она была такая же стройная и гибкая, как их дочь. А Кора смотрела на мужа — он казался почти таким же юным, как их старший сын.

— Не знаю,— сказала она.

— В город мы вернемся, пожалуй, на будущий год,— сказал он невозмутимо.— Или, может, еще через годик-другой. А пока что... мне жарко. Пойдем купаться?

Они больше не смотрели на долину. Рука об руку они пошли к бассейну, тихо ступая по дорожке, которую омывала прозрачная ключевая вода.

...Прошло пять лет, и с неба упала ракета. Еще дымясь, лежала она в долине. Из нее высыпали люди.

— Война на Земле кончена! — кричали они.— Мы прилетели вам на выручку!

Но городок, построенный американцами, молчал, безмолвны были коттеджи, персиковые деревья, амфитеатры. В пустой мастерской ржавел остов недоделанной ракеты.

Пришельцы обшарили окрестные холмы. Капитан объявил своим штабом давно заброшенный кабачок. Лейтенант явился к нему с докладом.

— Город пуст, сэр, но среди холмов мы обнаружили местных жителей. Марсиан. Кожа у них темная. Глаза желтые. Встретили нас очень приветливо. Мы с ними немного потолковали. Они быстро усваивают английский. Я уверен, сэр, с ними можно установить вполне дружеские отношения.

— Темнокожие, вот как? — задумчиво сказал капитан.— И много их?

— Примерно шестьсот или восемьсот, сэр; они живут на холмах, в мраморных развалинах. Рослые, здоровые. Женщины у них красивые.

— А они сказали вам, лейтенант, что произошло с людьми, которые прилетели с Земли и выстроили этот поселок?

— Они понятия не имеют, что случилось с этим городом и с его населением.

— Странно. Вы не думаете, что марсиане тут всех перебили?

— Похоже, что это необыкновенно миролюбивый народ, сэр. Скорее всего, город опустошила какая-нибудь эпидемия.

— Возможно. Надо думать, это одна из тех загадок, которые нам не разрешить. О таком иной раз пишут в книгах.

Капитан обвел взглядом комнату, запыленные окна и за ними — встающие вдалеке синие горы, струящуюся в ярком свете воду каналов и услышал шелест ветра. И вздрогнул. Потом опомнился и постучал пальцами по карте, которую он давно уже приколол кнопками на пустом столе.

— У нас куча дел, лейтенант! — сказал он и стал перечислять...

Солнце опускалось за синие холмы, а капитан бубнил и бубнил:

— Надо строить новые поселки. Искать полезные ископаемые, заложить шахты. Взять образцы для бактериологических исследований. Работы по горло. А все старые отчеты утеряны. Надо заново составить карты, дать названия горам, рекам и прочему. Потребуется некоторая доля воображения. Вон те горы назовем горами Линкольна, что вы на это скажете? Тот канал будет канал Вашингтона, а эти холмы... Холмы можно назвать в вашу честь, лейтенант. Дипломатический ход. А вы из любезности можете назвать какой-нибудь город в мою честь. Изящный поворот. И почему бы не дать этой долине имя Эйнштейна, а вон тот... Да вы меня слушаете, лейтенант?

Лейтенант с усилием оторвал взгляд от подернутых ласковой дымкой холмов, что синели вдали, за покинутым городом.

— Что? Да-да, конечно, сэр!

ВРЕМЯ, ВОТ ТВОЙ ПОЛЕТ

Долгие годы пронеслись ветром мимо их разгоряченных лиц.

Машина Времени остановилась.

— Год тысяча девятьсот двадцать восьмой,— сказала Джанет.

Оба мальчика смотрели на то, что было за ней.

Мистер Филдс вышел из состояния неподвижности.

— Помните, вы прибыли сюда наблюдать жизнь этих древних людей. Всем интересуйтесь, обо всем размышляйте, все наблюдайте.

— Хорошо,— ответили девочка и два мальчика, все трое в новенькой защитного цвета форме.

У детей все было одинаковое — стрижка, наручные часы, сандалии и, хотя они не были родственниками, цвет волос, глаз, зубов и кожи.

— Ш-шш! — сказал мистер Филдс.

Это был городок в штате Иллинойс. Было раннее весеннее утро, и по улицам стелился холодный туман.

В дальнем конце улицы появился мальчик, он бежал по направлению к ним, и на него светила последним светом мраморно-кремовая луна. Где-то вдалеке пробили пять раз часы. Почти неслышно, оставляя на тихих газонах следы теннисных туфель, мальчик пробежал мимо невидимой для него Машины Времени, остановился и, глядя на самое высокое окно темного дома, кого-то позвал.

Окно открылось. По крыше сполз и спрыгнул на землю другой мальчик. Оба, с набитыми бананом ртами, убежали в темное, холодное утро.

— Бегите за ними,— прошептал мистер Филдс.— Изучайте их поведение. Ну, быстрей!

Джанет, Уильям и Роберт помчались, доступные теперь постороннему взгляду, по холодным весенним мостовым через еще спящий крепким сном городок, а потом через парк. Повсюду загорался и гас свет, негромко хлопали двери, и другие дети бросались поодиночке или задыхающимися от спешки парами вниз по склону холма, к каким-то поблескивающим голубоватым рельсам.

— Вот он, идет!

Рассвет еще не наступил, а здесь уже водоворотом кружились дети. Несколько мгновений — и небольшой огонек вдали, на блестящих рельсах, стал громом, извергающим пар.

— Что это? — завизжала Джанет.

— Поезд, глупышка, ты же такие видела на картинках! — прокричал Роберт.

И дети, прибывшие из будущего, увидели, как с поезда сходят, заливая могучими дымящимися водами мостовую, поднимая в холодное утреннее небо вопросительные знаки хоботов, огромные серые слоны. С длинных платформ, красные и золотые, скатывались неуклюжие фургоны. В заколоченной в ящики тьме ревели, меряя ее шагами, львы.

— Ой! Да ведь это... цирк! — задрожала Джанет.

— Цирк, по-твоему? А куда он делся?

— Туда же, куда и Рождество, наверно. Просто исчез давным-давно.

Джанет окинула взглядом все вокруг.

— Какой он ужасный, правда?

Мальчик стоял ошеломленный:

— Уж это точно.

В первых слабых лучах зари раздавались громкие мужские голоса. Подтянули спальные вагоны, из окон на детей смотрели, моргая, заспанные лица. Как дождь камней, простучали по улице лошадиные копыта.

За спиной у детей вырос мистер Филдс.

— Мерзость, варварство держать зверей в клетках. Знай я, что вы такое здесь увидите, ни за что бы с вами сюда не отправился. Это действо буквально леденит кровь.

— Да, конечно.— Однако взгляд у Джанет был озабоченный.— И в то же время, мистер Филдс, это напоминает чем-то гнездо червей. Мне хочется изучить это.

— Не знаю,— сказал Роберт; глаза его бегали, а руки дрожали.— Все это похоже на сумасшествие. Может быть, если мистер Филдс разрешит, мы бы попробовали написать сочинение...

Мистер Филдс кивнул:

— Рад, что вижу серьезное отношение, что вы смотрите в корень, хотите по-настоящему понять этот ужас. Хорошо, сегодня, после полудня, мы посмотрим цирковое представление.

— Меня, кажется, стошнит,— сказала Джанет.

Машина Времени зажужжала.

— Так вот что такое цирк,— продолжала она сумрачно.

Тромбоны оркестра умерли в их ушах. Последним, что они видели, были леденцово-розовые гимнасты, вихрем крутящиеся на трапеции, между тем как на арене кричали и подпрыгивали обсыпанные мукой клоуны.

— Нет, конечно, психовидение лучше,— медленно проговорил Роберт.

— Эти ужасные запахи, это волнение...— Джанет заморгала.— Очень вредно для детей, правда? И рядом с детьми сидят взрослые. Матери, отцы — вот как называли их дети. Все так странно!

Мистер Филдс стал записывать что-то в классный журнал.

Словно сбрасывая оцепенение, Джанет тряхнула головой.

— Мне нужно все это увидеть снова. Я не разобралась в их побуждениях. Мне нужно снова пробежать через городок в то раннее утро. Холодный ветер в лицо... тротуар под ногами... прибывающий поезд с цирком. Может, это воздух и ранний час побудили детей подняться и побежать смотреть, как прибывает поезд? Или же причиной было что-то другое? Мне нужно еще раз увидеть события в их последовательности. Почему дети были так взволнованы? Я что-то упустила.

— Они все так улыбались,— сказал Уильям.

— Что такое летние каникулы? Я слышала, как дети о них говорили.— Джанет посмотрела на мистера Филдса.

— Все лето дети носились как безумные, избивали друг друга — вот что такое летние каникулы,— ответил ей мистер Филдс.

— Лучше Государственного Трудового Детского Лета ничего быть не может,— проговорил ослабевшим голосом, глядя в пустоту, Роберт.

Машина Времени остановилась опять.

— Четвертое Июля,— объявил мистер Филдс.— Год тысяча девятьсот двадцать восьмой. Древний праздник, когда люди устраивали взрывы, чтобы отрывать друг другу пальцы.

Они стояли перед тем же самым домом, на той же улице, но только ласковым летним вечером. В воздухе шипели и крутились огненные колеса, на каждом крыльце смеющиеся дети что-то бросали вверх, и слышалось: бах, бах!

— Не убегайте! — закричал мистер Филдс.— Не пугайтесь, это не война!

Но лица у Джанет, Роберта и Уильяма становились от фонтанов холодного огня то белыми, то розовыми, то голубыми.

— Мы и не испугались,— стоя неподвижно, сказала Джанет.

— К счастью,— заявил мистер Филдс,— сто лет назад фейерверки запретили, положили конец всем этим взрывам.

Дети танцевали, придумывая свои танцы на ходу, белым бенгальским огнем писали на ночном летнем воздухе свои имена и заветные мечты.

— Мне бы тоже хотелось так делать,— сказала Джанет

негромко.— Писать в воздухе свое имя. Посмотрите на них! Мне бы тоже этого хотелось.

— Что, что? — Мистер Филдс не расслышал.

— Ничего,— сказала Джанет.

— Бах! — шептали Уильям и Роберт, стоя под ласковыми летними деревьями, в темноте не отрывая взгляда от красных, белых, зеленых огоньков на чудесных летних газонах.— Бах!

Октябрь.

В последний раз Машина Времени остановилась в месяце горящих листьев. Люди с тыквами и кукурузными стеблями в руках спешили в сливающиеся с темнотой дома. Танцевали скелеты, носились летучие мыши, пылали свечи, а в пустых передних за открытыми дверями домов раскачивались подвешенные яблоки.

— Халлоуин,— сказал мистер Филдс.— Апогей ужаса. Это был век суеверий, как вы знаете. Потом сказки братьев Гримм, призраки, скелеты и вся прочая чушь были запрещены. Вы, дети, слава богу, выросли в очищенном от заразы мире, где нет ни теней, ни призраков. У вас другие, достойные праздники — День рождения Уильяма К. Чаттертона, День Труда, День Машин.

Стояла октябрьская ночь, на улице уже не было ни души, а они прохаживались возле того же дома, всматривались в темноте в пустые тыквы с вырезанными в них треугольными глазами, в маски, выглядывающие из темных чердаков и сырых подвалов. А внутри дома — подумать только! — собрались дети и, сидя на корточках, смеялись, рассказывали друг другу разные истории.

— Я хочу быть с ними,— сказала наконец Джанет.

— Конечно, как социолог,— сказали мальчики.

— Нет,— сказала она.

— Что? — спросил мистер Филдс.

— Нет, просто хочу быть в этом доме, хочу здесь остаться, хочу видеть все это и быть здесь и больше нигде; хочу, чтобы были хлопушки, и тыквы, и цирк, хочу, чтобы было Рождество, был День святого Валентина, было Четвертое Июля — такие, какими мы их здесь видели.

— Это переходит все границы...— начал мистер Филдс.

Но внезапно Джанет сорвалась с места:

— Роберт, Уильям, бежим!

Мальчики бросились за ней.

— Стойте! — закричал мистер Филдс.— Роберт! Ага, Уильям, ты попался! — Он успел схватить Уильяма, но другой ускользнул.— Джанет, Роберт, сейчас же вернитесь! Вас не переведут в седьмой класс! Вы провалитесь, Джанет, Роберт! Р о б е р т!

Бешеный порыв октябрьского ветра пронесся по улице и исчез вместе с двумя детьми среди стонущих деревьев.

Уильям вырывался и пинал мистера Филдса ногами.

— И ты за ними, Уильям! Нет, ты вернешься со мной домой! А те двое еще очень пожалеют. Захотели остаться в прошлом? — Мистер Филдс кричал уже во весь голос.— Ну что ж, Джанет и Роберт, оставайтесь в этом ужасе, хаосе! Пройдет всего лишь несколько недель, и вы, плача, прибежите сюда, ко мне. Но меня здесь не будет! Я покидаю вас в этом мире — пусть вы здесь сойдете с ума!

Он потащил Уильяма к Машине Времени. Мальчик рыдал.

— Пожалуйста, мистер Филдс, ну пожалуйста, не берите меня больше сюда на экскурсии...

— Замолчи!

Мгновение — и Машина Времени унеслась назад в будущее, к подземным городам-ульям, к металлическим зданиям, металлической траве, металлическим цветам.

— Прощайте, Джанет, Боб!

Словно вода, заливал улицы городка холодный октябрьский ветер. И когда он стих, за всеми детьми, приглашенными и неприглашенными, в масках или без масок, уже затворились двери домов, к которым их принесло его могучее течение. Ни одного бегущего ребенка не видно было в ночи. Ветер причитал в верхушках голых деревьев.

А внутри просторного дома, при свечах, кто-то наливал всем холодный яблочный сидр, наливал каждому, неважно кто он и откуда.

ВСЕ ЛЕТО В ОДИН ДЕНЬ

— Готовы?

— Да!

— Уже?

— Скоро!

— А ученые вёрно знают? Это правда будет сегодня?

— Смотри, смотри, сам увидишь!

Теснясь, точно цветы и сорные травы в саду, все вперемешку, дети старались выглянуть наружу — где там запрятано солнце?

Лил дождь.

Он лил не переставая семь лет подряд; тысячи и тысячи дней, с утра до ночи, без передышки дождь лил, шумел, барабанил, звенел хрустальными брызгами, низвергался сплошными потоками, так что кругом ходили волны, заливая островки суши. Ливнями повалило тысячи лесов, и

тысячи раз они вырастали вновь и снова падали под тяжестью вод. Так навеки повелось здесь, на Венере, а в классе полно было детей, чьи отцы и матери прилетели застраивать и обживать эту дикую дождливую планету.

— Перестает! Перестает!

— Да, да!

Марго стояла в стороне от них, от всех этих ребят, которые только и знали что вечный дождь, дождь, дождь. Им всем было по девять лет, и если и выдался семь лет назад такой день, когда солнце все-таки выглянуло, показалось на час изумленному миру, они этого не помнили. Иногда по ночам Марго слышала, как они ворочаются, вспоминая, и знала: во сне они видят и вспоминают золото, яркий желтый карандаш, монету — такую большую, что можно купить целый мир. Она знала: им чудится, будто они помнят тепло, когда вспыхивает лицо и все тело — руки, ноги, дрожащие пальцы. А потом они просыпаются — и опять барабанит дождь, без конца сыплются звонкие прозрачные бусы на крышу, на дорожку, на сад и лес, и сны разлетаются как дым.

Накануне они весь день читали в классе про солнце. Какое оно желтое, совсем как лимон, и какое жаркое. И писали про него маленькие рассказы и стихи.

Мне кажется, солнце — это цветок,
Цветет оно только один часок.

Такие стихи сочинила Марго и негромко прочитала их перед притихшим классом. А за окнами лил дождь.

— Ну, ты это не сама сочинила! — крикнул один мальчик.

— Нет, сама,— сказала Марго.— Сама.

— Уильям! — остановила мальчика учительница.

Но то было вчера. А сейчас дождь утихал, и дети теснились к большим окнам с толстыми стеклами.

— Где же учительница?

— Сейчас придет.

— Скорей бы, а то мы всё пропустим!

Они вертелись на одном месте, точно пестрая беспокойная карусель.

Марго одна стояла поодаль. Она была слабенькая, и казалось, когда-то давно она заблудилась и долго-долго

бродила под дождем, и дождь смыл с нее все краски; голубые глаза, розовые губы, рыжие волосы — все вылиняло. Она была точно старая поблекшая фотография, которую вынули из забытого альбома, и все молчала, а если и случалось ей заговорить, голос ее шелестел еле слышно. Сейчас она одиноко стояла в сторонке и смотрела на дождь, на шумный мокрый мир за толстым стеклом.

— Ты-то чего смотришь? — сказал Уильям.

Марго молчала.

— Отвечай, когда тебя спрашивают!

Уильям толкнул ее. Но она не пошевелилась; покачнулась — и только.

Все ее сторонятся, даже и не смотрят на нее. Вот и сейчас бросили ее одну. Потому что она не хочет играть с ними в гулких туннелях этого города-подвала. Если кто-нибудь осалит ее и кинется бежать, она только с недоумением поглядит вслед, но догонять не станет. И когда они всем классом поют песни о том, как хорошо жить на свете и как весело играть в разные игры, она еле шевелит губами. Только когда поют про солнце, про лето, она тоже тихонько подпевает, глядя в заплаканные окна.

Ну а самое большое ее преступление, конечно, в том, что она прилетела сюда с Земли всего лишь пять лет назад, и она помнит солнце, помнит, какое оно, солнце, и какое небо она видела в Огайо, когда ей было четыре года. А они? Они всю жизнь живут на Венере; когда здесь в последний раз светило солнце, им было только по два года, и они давно уже забыли, какое оно, и какого цвета, и как жарко греет. А Марго помнит.

— Оно большое, как медяк,— сказала она однажды и зажмурилась.

— Неправда! — закричали ребята.

— Оно как огонь в очаге,— сказала Марго.

— Врешь, врешь, ты не помнишь! — кричали ей.

Но она помнила и, тихо отойдя в сторону, стала смотреть в окно, по которому сбегали струи дождя. А один раз, месяц назад, когда всех повели в душевую, она ни за что не хотела стать под душ и, прикрывая макушку, зажимая уши ладонями, кричала — пускай вода не льется ей на голову! И после этого у нее появилось странное, смутное чувство: она не такая, как все. И другие дети тоже это чувствовали и сторонились ее.

Говорили, что на будущий год отец с матерью отвезут ее назад на Землю. Это обойдется им во много тысяч долларов, но иначе она, видно, зачахнет. И вот за все эти грехи, большие и малые, в классе ее невзлюбили. Противная эта Марго, противно, что она такая бледная немочь, и такая худущая, и вечно молчит и ждет чего-то, и, наверно, улетит на Землю...

— Убирайся! — Уильям опять ее толкнул.— Чего ты еще ждешь?

Тут она впервые обернулась и посмотрела на него. И по глазам было видно, чего она ждет. Мальчишка взбеленился.

— Нечего тебе здесь торчать! — закричал он.— Не дождешься, ничего не будет!

Марго беззвучно пошевелила губами.

— Ничего не будет! — кричал Уильям.— Это просто для смеха, мы тебя разыграли.— Он обернулся к остальным.— Ведь сегодня ничего не будет, верно?

Все поглядели на него с недоумением, а потом поняли, и засмеялись, и покачали головами: верно, ничего не будет!

— Но ведь...— Марго смотрела беспомощно.— Ведь сегодня тот самый день,— прошептала она.— Ученые предсказывали, они говорят, они ведь знают... Солнце...

— Разыграли, разыграли! — сказал Уильям и вдруг схватил ее.— Эй, ребята, давайте запрем ее в чулан, пока учительницы нет!

— Не надо,— сказала Марго и попятилась.

Все кинулись к ней, схватили и поволокли. Она отбивалась, потом просила, потом заплакала, но ее притащили по туннелю в дальнюю комнату, втолкнули в чулан и заперли дверь на засов. Дверь тряслась: Марго колотила в нее кулаками и кидалась на нее всем телом. Приглушенно доносились крики. Ребята постояли, послушали, а потом улыбнулись и пошли прочь — и как раз вовремя: в конце туннеля показалась учительница.

— Готовы, дети? — Она поглядела на часы.

— Да! — отозвались ребята.

— Все здесь?

— Да!

Дождь стихал.

Они столпились у огромной массивной двери.

Дождь перестал.

Как будто посреди кинофильма про лавины, ураганы, смерчи, извержения вулканов что-то случилось со звуком, аппарат испортился — шум стал глуше, а потом и вовсе оборвался, смолкли удары, грохот, раскаты грома... А потом кто-то выдернул пленку и на место ее вставил спокойный диапозитив — мирную тропическую картинку. Все замерло — не вздохнет, не шелохнется. Такая настала огромная, неправдоподобная тишина, будто вам заткнули уши или вы совсем оглохли. Дети недоверчиво подносили руки к ушам. Толпа распалась, каждый стоял сам по себе. Дверь отошла в сторону, и на них пахнуло свежестью мира, замершего в ожидании.

И солнце явилось.

Оно пламенело, яркое, как бронза, и оно было очень большое. А небо вокруг сверкало, точно ярко-голубая черепица. И джунгли так и пылали в солнечных лучах, и дети, очнувшись, с криком выбежали в весну.

— Только не убегайте далеко! — крикнула вдогонку учительница.— Помните, у вас всего два часа. Не то вы не успеете укрыться!

Но они уже не слышали, они бегали и запрокидывали голову, и солнце гладило их по щекам, точно теплым утюгом; они скинули куртки, и солнце жгло их голые руки.

— Это получше наших искусственных солнц, верно?

— Ясно, лучше!

Они уже не бегали, а стояли посреди джунглей, что сплошь покрывали Венеру и росли, росли бурно, непрестанно, прямо на глазах. Джунгли были точно стая осьминогов, к небу пучками тянулись гигантские щупальца мясистых ветвей, раскачивались, мгновенно покрывались цветами — ведь весна здесь такая короткая. Они были серые, как пепел, как резина, эти заросли, оттого что долгие годы они не видели солнца. Они были цвета камней, и цвета сыра, и цвета чернил, и были здесь растения цвета луны.

Ребята со смехом кидались на сплошную поросль, точно на живой упругий матрац, который вздыхал под ними, и скрипел, и пружинил. Они носились меж деревьев, скользили и падали, толкались, играли в прятки и в салки, но, главное, опять и опять, жмурясь, глядели на солнце, пока не потекут слезы, и тянули руки к золотому сиянию и к невиданной синеве, и вдыхали эту удивительную све-

жесть, и слушали, слушали тишину, что обнимала их, словно море, блаженно спокойное, беззвучное и недвижное. Они на все смотрели и всем наслаждались. А потом, будто зверьки, вырвавшиеся из глубоких нор, снова неистово бегали кругом, бегали и кричали. Целый час бегали и никак не могли угомониться.

И вдруг...

Посреди веселой беготни одна девочка громко, жалобно закричала.

Все остановились.

Девочка протянула руку ладонью кверху.

— Смотрите,— сказала она и вздрогнула.— Ой, смотрите!

Все медленно подошли поближе.

На раскрытой ладони, по самой середке, лежала большая круглая дождевая капля.

Девочка посмотрела на нее и заплакала.

Дети молча поглядели на небо.

— О-о...

Редкие холодные капли упали на нос, на щеки, на губы. Солнце затянула туманная дымка. Подул холодный ветер. Ребята повернулись и пошли к своему дому-подвалу, руки их вяло повисли, они больше не улыбались.

Загремел гром, и дети в испуге, толкая друг дружку, бросились бежать, словно листья, гонимые ураганом. Блеснула молния — за десять миль от них, потом за пять, в миле, в полумиле. И небо почернело, будто разом настала непроглядная ночь.

Минуту они стояли на пороге глубинного убежища, а потом дождь полил вовсю. Тогда дверь закрыли, и все стояли и слушали, как с оглушительным шумом рушатся с неба тонны, потоки воды — без просвета, без конца.

— И так опять будет целых семь лет?

— Да. Семь лет.

И вдруг кто-то вскрикнул:

— А Марго?

— Что?

— Мы ведь ее заперли, она так и сидит в чулане.

— Марго...

Они застыли, будто ноги у них примерзли к полу. Переглянулись и отвели взгляды. Посмотрели за окно — там лил дождь, лил упрямо, неустанно. Они не смели посмот-

реть друг другу в глаза. Лица у всех стали серьезные, бледные. Все потупились, кто разглядывал свои руки, кто уставился в пол.

— Марго...

Наконец одна девочка сказала:

— Ну что же мы?..

Никто не шелохнулся.

— Пойдем...— прошептала девочка.

Под холодный шум дождя они медленно прошли по коридору. Под рев бури и раскаты грома перешагнули порог и вошли в ту дальнюю комнату, яростные синие молнии озаряли их лица. Медленно подошли они к чулану и стали у двери.

За дверью было тихо.

Медленно-медленно они отодвинули засов и выпустили Марго.

ЗЕМЛЯНИЧНОЕ ОКОШКО

Ему снилось, что он закрывает парадную дверь с цветными стеклами — тут и земляничные стекла, и лимонные, и совсем белые, как облака, и прозрачные, как родник. Две дюжины разноцветных квадратиков обрамляют большое стекло посередине; одни цветом как вино, как настойка или фруктовое желе, другие прохладные, как льдинки. Помнится, когда он был совсем еще малыш, отец подхватывал его на руки и говорил:

— Гляди!

И за зеленым стеклом весь мир становился изумрудным, точно мох, точно летняя мята.

— Гляди!

Сиреневое стекло обращало прохожих в гроздья блеклого винограда. И наконец, земляничное окошко в любую пору омывало город теплой розовой волной, окутывало

алой рассветной дымкой, а свежескошенная лужайка становилась точь-в-точь ковер с какого-нибудь персидского базара. Земляничное окошко, самое лучшее из всех, покрывало румянцем бледные щеки, и холодный осенний дождь теплел, и февральская метель вспыхивала вихрями веселых огоньков.

— А-ах...

Он проснулся.

Мальчики разбудили его своим негромким разговором, но он еще не совсем очнулся от сна и лежал в темноте, слушал, как печально звучат их голоса... Так бормочет ветер, вздымая белый песок со дна пересохших морей, среди синих холмов... и тогда он вспомнил: мы на Марсе.

— Что? — вскрикнула спросонок жена.

А он и не заметил, что сказал это вслух; он старался лежать совсем тихо, боялся шелохнуться. Но уже возвращалось чувство реальности и с ним странное оцепенение; вот жена встала, бродит по комнате, точно призрак: то к одному окну подойдет, то к другому — а окна в их сборном металлическом домике маленькие, прорезаны высоко — и подолгу смотрит на ясные, но чужие звезды.

— Кэрри,— прошептал он.

Она не слышала.

— Кэрри,— шепотом повторил он,— мне надо сказать тебе... Целый месяц собирался. Завтра... завтра утром у нас будет...

Но жена сидела в голубоватом отсвете звезд точно каменная и даже не смотрела в его сторону.

Он зажмурился.

Вот если бы солнце никогда не заходило, думал он, если бы ночей вовсе не было... Ведь днем он околачивает сборные дома будущего поселка, мальчики в школе, а Кэрри хлопочет по хозяйству — уборка, стряпня, огород... Но после захода солнца уже не надо рыхлить клумбы, заколачивать гвозди или решать задачки, и тогда в темноте, как ночные птицы, ко всем слетаются воспоминания.

Жена пошевелилась, чуть повернула голову.

— Боб,— сказала она наконец,— я хочу домой.

— Кэрри!

— Здесь мы не дома,— сказала она.

В полутьме ее глаза блестели, полные слез.

— Потерпи еще немножко, Кэрри.

— Нет у меня больше никакого терпенья!

Двигаясь как во сне, она открывала ящики комода, вынимала стопки носовых платков, белье, рубашки и укладывала на комод сверху — машинально, не глядя. Сколько раз уже так бывало, привычка. Скажет так, достанет вещи из комода и долго стоит молча, а потом уберет все на место и, с застывшим лицом, с сухими глазами, снова ляжет, будет думать, вспоминать. Ну а вдруг настанет такая ночь, когда она опустошит все ящики и возьмется за старые чемоданы, что составлены горкой у стены?

— Боб...— В ее голосе не слышно горечи, он тихий, ровный, тусклый, как лунный свет, при котором видно каждое ее движение.— За эти полгода я уж сколько раз по ночам так говорила, просто стыд и срам. У тебя работа тяжелая, ты строишь город. Когда человек так тяжело работает, жена не должна ему плакаться и жилы из него тянуть. Но надо же душу отвести, не могу я молчать. Больше всего я истосковалась по мелочам. По ерунде какой-то, сама не знаю. Помнишь качели у нас на веранде? И плетеную качалку? Дома, в Огайо, летним вечером сидишь и смотришь, кто мимо пройдет или проедет. И наше пианино расстроенное. И какой-никакой хрусталь. И мебель в гостиной... Ну да, конечно, она вся старая, громоздкая, неуклюжая, я и сама знаю... И китайская люстра с подвесками. Как подует ветер, они и звенят. А в летний вечер сидишь на веранде и можно перемолвиться словечком с соседями. Все это вздор, глупости... все это неважно. Но почему-то, как проснешься в три часа ночи, отбоя нет от этих мыслей. Ты меня прости.

— Да разве ты виновата? — сказал он.— Марс — место чужое. Тут всё не как дома, и пахнет чудно́, и на глаз непривычно, и на ощупь. Я и сам ночами про это думаю. А на Земле какой славный наш городок!

— Весной и летом весь в зелени,— подхватила жена.— А осенью все желтое да красное. И дом у нас был славный. И какой старый, господи, лет восемьдесят, а то и все девяносто! По ночам, бывало, я все слушала, он вроде разговаривает, шепчет. Дерево-то сухое — и перила, и веранда, и пороги. Только тронь — и отзовется. Каждая комната на

свой лад. А если у тебя весь дом разговаривает — это как семья: собрались ночью вокруг родные и баюкают: спи, мол, усни. Таких домов нынче не строят. Надо, чтобы в доме жило много народу — отцы, деды, внуки, тогда он с годами и обживется, и согреется. А эта наша коробка... Да она и не знает, что я тут, ей все едино, жива я или померла. И голос у нее жестяной, а жесть — она холодная. У нее и пор таких нет, чтоб годы впитались. Погреба нет, некуда откладывать припасы на будущий год и еще на потом. И чердака нету, некуда прибрать всякое старье, что осталось с прошлого года и что было еще до твоего рождения. Знаешь, Боб, вот было бы у нас тут хоть немножко старого, привычного, тогда и со всем новым можно бы сжиться. А когда все-все новое, чужое, каждая малость, так вовек не свыкнешься.

В темноте он кивнул:

— Я и сам так думал.

Она смотрела туда, где на чемоданах, прислоненных к стене, поблескивали лунные блики. И протянула руку.

— Кэрри!

— Что?

Он порывисто сел, спустил ноги на пол.

— Кэрри, я учинил одну несусветную глупость. Все эти месяцы я ночами слушаю, как ты тоскуешь по дому, и мальчики тоже просыпаются и шепчутся, и ветер свистит, и за стеной Марс, моря эти высохшие... и...— Он запнулся, трудно глотнул.— Ты должна понять, что я такое сделал и почему. Месяц назад у нас были в банке деньги, сбережения за десять лет, так вот, я их истратил, все как есть, без остатка.

— Боб!!!

— Я их выбросил, Кэрри, честное слово, пустил на ветер. Думал всех порадовать. А вот сейчас ты так говоришь, и эти распроклятые чемоданы тут стоят, и...

— Как же так, Боб? — Она повернулась к нему.— Стало быть, мы торчали здесь, на Марсе, и терпели здешнюю жизнь, и откладывали каждый грош, а ты взял да все сразу и просадил?

— Сам не знаю, может, я просто рехнулся,— сказал он.— Слушай, до утра уже недалеко. Встанем пораньше. Пойдешь со мной и сама увидишь, что я сделал. Ничего не хочу говорить, сама увидишь. А если это все зря — ну что

ж, чемоданы вот они, а ракета на Землю идет четыре раза в неделю.

Кэрри не шевельнулась.

— Боб, Боб...— шептала она.

— Не говори сейчас, не надо,— попросил муж.

— Боб, Боб...

Она медленно покачала головой, ей все не верилось. Он отвернулся, вытянулся на кровати с одного боку, а она села с другого боку и долго не ложилась, все смотрела на комод, где так и остались сверху наготове ровные стопки носовых платков, белье, ее кольца и безделушки. А за стенами ветер, пронизанный лунным светом, вздувал уснувшую пыль и развеивал ее в воздухе.

Наконец Кэрри легла, но не сказала больше ни слова, лежала как неживая и остановившимися глазами смотрела в ночь, в длинный-длинный туннель — когда же там, в конце, забрезжит рассвет?

Они поднялись чуть свет, но тесный домишко не ожил — стояла гнетущая тишина. Отец, мать и сыновья молча умылись и оделись, молча принялись за поджаренный хлеб, фруктовый сок и кофе, и под конец от этого молчания уже хотелось завопить; никто не смотрел прямо в лицо другому, все следили друг за другом исподтишка, по отражениям в фарфоровых и никелированных боках тостера, чайника, сахарницы — искривленные, искаженные черты казались в этот ранний час до ужаса чужими. Потом наконец отворили дверь (в дом ворвался ветер, что дует над холодными марсианскими морями, где ходят, опадают и снова встают призрачным прибоем одни лишь голубоватые пески), вышли под голое, пристальное, холодное небо и побрели к городу, который казался только декорацией там, в дальнем конце огромных пустых подмостков.

— Куда мы идем? — спросила Кэрри.

— На ракетодром,— ответил муж.— Но по дороге я должен вам много чего сказать.

Мальчики замедлили шаг и теперь шли позади родителей и прислушивались. А отец заговорил, глядя прямо перед собой; он говорил долго и ни разу не оглянулся на жену и сыновей, не посмотрел, как принимают они его слова.

— Я верю в Марс,— начал он негромко.— Верю, при-

дет время — и он станет по-настоящему нашим. Мы его одолеем. Мы здесь обживемся. Мы не пойдем на попятный. С год назад, когда мы только-только прилетели, я вдруг будто споткнулся. Почему, думаю, нас сюда занесло? А вот потому. Это как с лососем, каждый год та же история. Лосось, он и сам не знает, почему плывет в дальние края, а все равно плывет. Вверх по течению, по каким-то рекам, которых он не знает и не помнит, по быстрине, через водопады перескакивает — и под конец добирается до того места, где мечет икру, а потом помирает, и все начинается сызнова. Родовая память, инстинкт — назови, как угодно, но так оно и идет. Вот и мы забрались сюда.

Они шли в утренней тишине, бескрайнее небо неотступно следило за ними, странные голубые и белые, точно клубы пара, пески струились под ногами по недавно проложенному шоссе.

— Вот и мы забрались сюда. А после Марса куда двинемся? На Юпитер, Нептун, Плутон и еще дальше? Верно. *Еще дальше.* А почему? Когда-нибудь настанет день — и наше солнце взорвется, как дырявый котел. Бац — и от Земли следа не останется. А Марс, может быть, и не пострадает, а если и пострадает, так, может, Плутон уцелеет, а если нет, что тогда будет с нами, то бишь с нашими праправнуками? — Он упорно смотрел вверх, в ясное чистое небо цвета спелой сливы.— Что ж, а мы тогда будем, может быть, где-нибудь в неизвестном мире, у которого и названия пока нет, только номер... Скажем, шестая планета девяносто седьмой звездной системы или планета номер два системы девяносто девять! И такая это чертова даль, что сейчас ни в страшном сне, ни в бреду не представишь. Мы улетим отсюда, понимаете, уберемся подальше — и уцелеем! И тут я сказал себе: ага! Вот почему мы прилетели на Марс, вот почему люди запускают в небо ракеты!

— Боб...

— Погоди, дай досказать. Это не ради денег, нет. И не ради того, чтобы поглазеть на разные разности. Так многие говорят, но это все вранье, выдумки. Говорят — летим, чтоб разбогатеть, чтобы прославиться. Говорят — для развлечения, скучно, мол, сидеть на одном месте. А на самом деле внутри знай что-то тикает, все равно как у лосося или

у кита и у самого ничтожного невидимого микроба. Такие крохотные часики, они тикают в каждой живой твари, и знаешь, что они говорят? Иди дальше, говорят, не засиживайся на месте, не останавливайся, плыви и плыви. Лети к новым мирам, строй новые города, еще и еще, чтоб ничто на свете не могло убить Человека. Понимаешь, Кэрри? Ведь это не просто мы с тобой прилетели на Марс. От того, что мы успеем на своем веку, зависит судьба всех людей, черт подери, судьба всего рода людского. Даже смешно, вон куда махнул, а ведь это так огромно, что страх берет.

Сыновья, не отставая, шли за ним, и Кэрри шла рядом, хотелось поглядеть на нее, прочесть по ее лицу, как она принимает его слова, но он не повернул головы.

— Помню, когда я был мальчишкой, у нас сломалась сеялка, а на починку не было денег, и мы с отцом вышли в поле и кидали семена просто горстью. Так вот сейчас то же самое. Сеять-то надо, иначе потом жать не придется. О господи, Кэрри, ты только вспомни, как писали в газетах, в воскресных приложениях: ЧЕРЕЗ МИЛЛИОН ЛЕТ ЗЕМЛЯ ОБРАТИТСЯ В ЛЕД! Когда-то, мальчишкой, я ревмя ревел над такими статьями. Мать спрашивает: «Чего ты?» А я отвечаю: «Мне их всех жалко, бедняг, которые тогда будут жить на свете». А мать говорит: «Ты о них не беспокойся». Так вот, Кэрри, я про что говорю: на самом-то деле мы о них беспокоимся. А то бы мы сюда не забрались. Это очень важно, чтобы Человек с большой буквы жил и жил. Для меня Человек с большой буквы — это главное. Понятно, я пристрастен, потому как я и сам того же рода-племени. Но только люди всегда рассуждают насчет бессмертия, так вот, есть один-единственный способ этого самого бессмертия добиться: надо идти дальше, засеять Вселенную. Тогда, если где-то в одном месте и случится засуха или еще что, все равно будем с урожаем. Даже если на Землю нападет ржа и недород. Зато новые всходы поднимутся на Венере или где там еще люди поселятся через тысячу лет. Я на этом помешался, Кэрри, право слово, помешался. Как дошел до этой мысли, прямо загорелся, хотел схватить тебя, ребят, каждого встречного и поперечного и всем про это рассказать. А потом подумал — вовсе ни к чему рассказывать. Придет такой день или, может, ночь, и вы сами услышите, как в вас тоже тикают эти

часики, и сами всё поймете, и не придется ничего объяснять. Я знаю, Кэрри, это громкие слова и, может, я слишком важно рассуждаю, я ведь не велика птица, даже ростом не вышел, но только ты мне поверь: это все чистая правда.

Они уже шли по городу и слушали, как гулко отдаются их шаги на пустынных улицах.

— А что же сегодняшнее утро? — спросила Кэрри.

— Сейчас и про это скажу. Понимаешь, какая-то часть меня тоже рвется домой. А другой голос во мне говорит: если мы отступим, все пропало. Вот я и подумал: чего нам больше всего недостает? Каких-то старых вещей, к которым мы привыкли — и мальчики, и ты, и я. Ну, думаю, если без какого-то старья нельзя пустить в ход новое, так, ей-богу, я этим старьем воспользуюсь. Помню, в учебниках истории говорится: тысячу лет назад люди, когда кочевали с места на место, выдалбливали коровий рог, клали внутрь горящие уголья и весь день их раздували и вечером на новом месте разжигали огонь от той искорки, что сберегли с утра. Огонь каждый раз новый, но всегда в нем есть что-то от старого. Вот я стал взвешивать и обдумывать. Стоит Старое того, чтоб вложить в него все наши деньги, думаю? Нет, не стоит. Только то имеет цену, чего мы достигли с помощью этого Старого. Ну ладно, а Новое стоит того, чтоб вложить в него все наши деньги без остатка? Согласен ты сделать ставку на то, что когда-то еще будет? Да, согласен! Если таким манером можно одолеть эту самую тоску, которая, того гляди, затолкает нас обратно на Землю, так я своими руками полью все наши деньги керосином и чиркну спичкой!

Кэрри и мальчики остановились. Они стояли посреди улицы и смотрели на него так, будто он был не он, а внезапно налетевший смерч, который едва не сбил их с ног и вот теперь утихает.

— Сегодня утром прибыла грузовая ракета,— сказал он негромко.— Она привезла кое-что и для нас. Пойдем получим.

Они медленно поднялись по трем ступеням, прошли через гулкий зал в камеру хранения — двери ее только что открылись.

— Расскажи еще про лосося,— сказал один из мальчиков.

...Солнце поднялось уже высоко и пригревало, когда они выехали из города во взятой напрокат грузовой машине; кузов был битком набит корзинами, ящиками, пакетами и тюками — длинными, высокими, низенькими, плоскими; все это было перенумеровано, и на каждом ящике и тюке красовалась аккуратная надпись: «Марс, Нью-Толидо, Роберту Прентису».

Машина остановилась перед сборным домиком, мальчики спрыгнули наземь и помогли матери выйти. Боб еще с минуту посидел за рулем, потом медленно вылез, обошел машину кругом и заглянул внутрь.

К полудню все ящики, кроме одного, были распакованы, вещи лежали рядами на дне высохшего моря и вся семья стояла и оглядывала их.

— Поди сюда, Кэрри...

Он подвел жену к крайнему ряду, тут стояло старое крыльцо.

— Послушай-ка.

Деревянные ступеньки заскрипели, заговорили под ногами.

— Ну-ка, что они говорят, а?

Она стояла на ветхом крылечке, сосредоточенная, задумчивая, и не могла вымолвить ни слова в ответ.

Он повел рукой:

— Тут крыльцо, там гостиная, столовая, кухня, три спальни. Часть построим заново, часть привезем. Покуда, конечно, у нас только и есть парадное крыльцо, кой-какая мебель для гостиной да старая кровать.

— Все наши деньги, Боб!

Он с улыбкой обернулся к ней:

— Ты же не сердишься? Ну-ка, погляди на меня! Ясно, не сердишься. Через год ли, через пять мы все перевезем. И хрустальные вазы, и армянский ковер, который нам твоя матушка подарила в девятьсот шестьдесят первом. И пожалуйста, пускай Солнце взрывается!

Они обошли другие ящики, читая номера и надписи. Качели с веранды, качалка, китайские подвески...

— Я сам буду на них дуть, чтоб звенели!

На крыльцо поставили парадную дверь с разноцветными стеклами, и Кэрри поглядела в земляничное окошко.

— Что ты там видишь?

Но он и сам знал, что́ она видит, он тоже смотрел в это

окошко. Вот он, Марс, холодное небо потеплело, мертвые моря запылали, холмы стали как груды земляничного мороженого, и ветер пересыпает пески, точно тлеющие угольи. Земляничное окошко, земляничное окошко, оно покрыло все вокруг живым, нежным румянцем, наполнило глаза и душу светом непреходящей зари. И, наклонясь, глядя сквозь кусочек цветного стекла, Роберт Прентис неожиданно для себя сказал:

— Через год уже и здесь будет город. Будет тенистая улица, будет у тебя веранда, и друзей заведешь. Тогда тебе все эти вещи станут не так уж и нужны. Но с этого мы сейчас начнем, это самая малость, зато свое, привычное, а там дальше — больше; скоро ты этот Марс и не узнаешь, покажется, будто весь век тут жила.

Он сбежал с крыльца, подошел к последнему, еще не вскрытому ящику, обтянутому парусиной. Перочинным ножом надрезал парусину.

— Угадай, что это? — сказал он.

— Моя кухонная плита? Печка?

— Ничего похожего! — Он тихонько, ласково улыбнулся.— Спой мне песенку,— попросил он.

— Ты совсем с ума сошел, Боб.

— Спой песенку, да такую, чтоб стоила всех денег, которые у нас были да сплыли,— и наплевать, не жалко!

— Так ведь я одну только и умею: «Дженни, Дженни, голубка моя...»

— Вот и спой.

Но жена никак не могла запеть, только беззвучно шевелила губами.

Он рванул парусину, сунул руку внутрь, молча пошарил там и начал напевать вполголоса; наконец он нащупал то, что искал, и в утренней тишине прозвенел чистый фортепьянный аккорд.

— Вот так,— сказал Роберт Прентис.— А теперь споем эту песню с начала и до конца. Все вместе, дружно!

И ВСЕ-ТАКИ НАШ...

Питер Хорн вовсе не собирался стать отцом голубой пирамидки. Ничего похожего он не предвидел. Им с женой и не снилось, что с ними может случиться такое. Они спокойно ждали рождения первенца, много о нем говорили, нормально питались, подолгу спали, изредка бывали в театре, а потом пришло время Полли лететь вертолетом в клинику; муж обнял ее и поцеловал.

— Через шесть часов ты уже будешь дома, детка,— сказал он.— Спасибо, эти новые родильные машины хоть отцов не отменили, а так они сделают за тебя все, что надо.

Она вспомнила старую-престарую песенку: «Нет, уж этого вам у меня не отнять» — и тихонько напела ее. И когда вертолет взмыл над зеленой равниной, направляясь в город, оба они смеялись.

Врач по имени Уолкот был исполнен спокойствия и уверенности. Полли-Энн, будущую мать, приготовили к тому, что ей предстояло, а отца, как полагается, отправили в приемную — здесь можно было курить сигарету за сигаретой или смешивать себе коктейли, для чего под рукой имелся миксер. Питер чувствовал себя недурно. Это их первый ребенок, но волноваться нечего. Полли-Энн в хороших руках.

Через час в приемную вышел доктор Уолкот. Он был бледен как смерть. Питер Хорн оцепенел с третьим коктейлем в руке. Стиснул стакан и прошептал:

— Она умерла?

— Нет,— негромко сказал Уолкот.— Нет, нет, она жива и здорова. Но вот ребенок...

— Значит, ребенок мертвый.

— И ребенок жив, но... Допивайте коктейль и пойдемте. Кое-что произошло.

Да, несомненно, кое-что произошло. Нечто такое, из-за чего переполошилась вся клиника. Люди высыпали в коридоры, сновали из палаты в палату. Пока Питер Хорн шел за доктором, ему стало совсем худо; там и сям, сойдясь тесным кружком, стояли сестры и санитарки в белых халатах, таращили друг на друга глаза и шептались:

— Нет, вы видали? Ребенок Питера Хорна! Невероятно!

Врач привел его в очень чистую небольшую комнату. Вокруг низкого стола толпились люди. На столе что-то лежало.

Голубая пирамидка.

— Зачем вы привели меня сюда? — спросил Хорн.

Голубая пирамидка шевельнулась. И заплакала.

Питер Хорн протиснулся сквозь толпу и в ужасе посмотрел на стол. Он побелел и задыхался.

— Неужели... это и есть?..

Доктор Уолкот кивнул.

У голубой пирамидки было шесть гибких голубых отростков и на выдвинутых вперед стерженьках моргали три глаза.

Хорн оцепенел.

— Оно весит семь фунтов и восемь унций,— сказал кто-то.

«Меня разыгрывают,— подумал Хорн.— Это такая

шутка. И все это затеял, конечно, Чарли Расколл. Вот сейчас он заглянет в дверь, крикнет: «С первым апреля!» — и все засмеются. Не может быть, что это мой ребенок. Какой ужас! Нет, меня разыгрывают».

Ноги Хорна пристыли к полу, по лицу струился пот.

— Уведите меня отсюда.

Он отвернулся; сам того не замечая, он сжимал и разжимал кулаки, веки его вздрагивали.

Уолкот взял его за локоть и спокойно заговорил:

— Это ваш ребенок. Поймите же, мистер Хорн.

— Нет. Нет, невозможно.— Такое не умещалось у него в голове.— Это какое-то чудище. Его надо уничтожить.

— Мы не убийцы, нельзя уничтожить человека.

— Человека? — Хорн смигнул слезы.— Это не человек! Это святотатство!

— Мы осмотрели этого... ребенка и установили, что он не мутант, не результат разрушения генов или их перестановки,— быстро заговорил доктор.— Ребенок и не уродец. И он совершенно здоров. Прошу вас, выслушайте меня внимательно.

Широко раскрытыми измученными глазами Хорн уставился в стену. Его шатало. Доктор продолжал сдержанно, уверенно:

— На ребенка своеобразно подействовало давление во время родов. Что-то разладилось сразу в обеих новых машинах — родильной и гипнотической, произошло короткое замыкание, и от этого исказились пространственные измерения. Ну, короче говоря,— неловко докончил доктор,— ваш ребенок родился в... в другое измерение.

Хорн даже не кивнул. Он стоял и ждал.

— Ваш ребенок жив, здоров и отлично себя чувствует,— со всей силой убеждения сказал доктор Уолкот.— Вот он лежит на столе. Но он не похож на человека, потому что родился в другое измерение. Наши глаза, привыкшие воспринимать все в трех измерениях, отказываются видеть в нем ребенка. Но все равно он ребенок. Несмотря на такое странное обличье, на пирамидальную форму и щупальца, это и есть ваш ребенок.

Хорн сжал губы и зажмурился.

— Можно мне чего-нибудь выпить?

— Конечно.

Ему сунули в руки стакан.

— Дайте я сяду, посижу минутку.

Он устало опустился в кресло. Постепенно все начало проясняться. Все медленно становилось на место. Что бы там ни было, это его ребенок. Хорн содрогнулся. Пусть с виду страшилище, но это его первенец.

Наконец он поднял голову; хоть бы лицо доктора не расплывалось перед глазами...

— А что мы скажем Полли? — спросил он еле слышно.

— Придумаем что-нибудь утром, как только вы соберетесь с силами.

— А что будет дальше? Можно как-нибудь вернуть его... в прежний вид?

— Мы постараемся. Конечно, если вы разрешите. В конце концов, он ваш. Вы вправе поступить с ним как пожелаете.

— С кем? — Хорн горько усмехнулся, закрыл глаза.— А откуда вы знаете, что это «он»?

Его засасывала тьма. В ушах шумело.

Доктор Уолкот явно смутился.

— Видите ли... то есть... Ну конечно, мы не можем сказать наверняка...

Хорн еще отхлебнул из стакана.

— А если вам не удастся вернуть его обратно?

— Я понимаю, какой это удар для вас, мистер Хорн. Что ж, если вам нестерпимо его видеть, мы охотно вырастим ребенка здесь, в институте.

Хорн подумал.

— Спасибо. Но, какой он ни есть, он наш — мой и Полли. Он останется у нас. Я буду растить его, как растил бы любого ребенка. У него будет дом, семья. Я постараюсь его полюбить. И обращаться с ним буду как положено.

Губы Хорна одеревенели, мысли не слушались.

— Понимаете ли вы, что берете на себя, мистер Хорн? Этому ребенку нельзя будет иметь обычных товарищей, ему не с кем будет играть — ведь его в два счета задразнят до смерти. Вы же знаете, что такое дети. Если вы решите воспитывать ребенка дома, всю его жизнь придется строго ограничить, никто не должен его видеть. Это вы понимаете?

— Да. Это я понимаю. Доктор... Доктор, а умственно он в порядке?

— Да. Мы исследовали его реакции. В этом отношении он отличный, здоровый младенец.

— Я просто хотел знать наверняка. Теперь только одно — Полли.

Доктор нахмурился:

— Признаться, я и сам ломаю голову. Конечно, тяжко женщине услышать, что ее ребенок родился мертвым. А уж это... Сказать матери, что она произвела на свет нечто непонятное и на человека-то не похожее... Хуже, чем мертвого. Такое потрясение может оказаться гибельным. И все же я обязан сказать ей правду. Врач не должен лгать пациенту, этим ничего не достигнешь.

Хорн отставил стакан.

— Я не хочу потерять еще и Полли. Я-то сам уже готов к тому, что вы уничтожите ребенка, я бы это пережил. Но я не допущу, чтобы эта история убила Полли.

— Надеюсь, мы сможем вернуть ребенка в наше измерение. Это и заставляет меня колебаться. Считай я, что надежды нет, я бы сейчас же удостоверил, что необходимо его умертвить. Но, думаю, не все потеряно, надо попытаться.

Хорн безмерно устал. Все внутри дрожало.

— Ладно, доктор. А пока что ему нужна еда, молоко и любовь. Ему худо пришлось, так пускай хоть дальше будет все по справедливости. Когда мы скажем Полли?

— Завтра днем, когда она проснется.

Хорн встал, подошел к столу, на который сверху лился теплый, мягкий свет. Протянул руку — и голубая пирамидка приподнялась.

— Привет, малыш,— сказал Хорн.

Пирамидка поглядела на него тремя блестящими голубыми глазами. Тихонько протянулось крохотное голубое щупальце и коснулось пальцев Хорна.

Он вздрогнул.

— Привет, малыш!

Доктор поднес поближе бутылочку-соску.

— Вот и молоко. А ну-ка попробуем!

Малыш поднял глаза, туман рассеивался. Над малышом склонялись какие-то фигуры, и он понял, что это друзья.

Он только что родился, но был уже смышленый, на диво смышленый. Он воспринимал окружающий мир.

Над ним и вокруг что-то двигалось. Шесть серых с белым кубов склонились к нему, и у всех шестиугольные отростки, и у всех по три глаза. И еще два куба приближались по прозрачной плоскости. Один совсем белый. И у него тоже три глаза. Что-то в этом Белом кубе нравилось малышу. Что-то привлекало. И пахло от этого Белого куба чем-то родным.

Шесть склонившихся над малышом серо-белых кубов издавали резкие высокие звуки. Наверно, им было интересно, и они удивлялись. Получалось, словно играли сразу шесть флейт пикколо.

Теперь свистели два только что подошедших куба — Белый и Серый. Потом Белый куб вытянул один из своих шестиугольных отростков и коснулся малыша. В ответ малыш протянул одно щупальце. Малышу нравился Белый куб. Да, нравился. Малыш проголодался, Белый куб ему нравится. Может, Белый куб его накормит...

Серый куб принес малышу розовый шар. Сейчас его накормят. Хорошо. Хорошо. Малыш с жадностью принялся за еду.

Хорошо, вкусно. Серо-белые кубы куда-то скрылись, остался только приятный Белый куб, он стоял над малышом, глядел на него и все посвистывал. Все посвистывал.

Назавтра они сказали Полли. Не всё. Только самое необходимое. Только намекнули. Сказали, что с малышом в некотором смысле немного неладно. Говорили медленно, кругами, которые все тесней смыкались вокруг Полли. Потом доктор Уолкот прочел длинную лекцию о родильных машинах — как они облегчают женщине родовые муки, но вот на этот раз произошло короткое замыкание. Другой ученый муж сжато и сухо рассказал о разных измерениях, перечел их по пальцам, весьма наглядно: первое, второе, третье и четвертое! Еще один толковал ей об энергии и материи. И еще один — о детях бедняков, которым недоступны блага прогресса.

Наконец Полли села на кровати и сказала:

— К чему столько разговоров? Что такое с моим ребенком и почему все вы так много говорите?

И доктор Уолкот сказал ей правду.

— Конечно, через недельку вы можете его увидеть,— прибавил он.— Или, если хотите, передайте его на попечение нашего института.

— Мне надо знать только одно,— сказала Полли.

Доктор Уолкот вопросительно поднял брови.

— Это я виновата, что он такой?

— Никакой вашей вины тут нет.

— Он не выродок, не чудовище? — допытывалась Полли.

— Он только выброшен в другое измерение. Во всем остальном совершенно нормальный младенец.

Полли уже не стискивала зубы, складки в углах губ разгладились. Она сказала просто:

— Тогда принесите мне моего малыша. Я хочу его видеть. Пожалуйста. Прямо сейчас.

Ей принесли «ребенка».

Назавтра они покинули клинику. Полли шагала твердо, решительно, а Питер шел следом, тихо изумляясь ей.

Малыша с ними не было. Его привезут позднее. Хорн помог жене подняться в вертолет, сел рядом. И вертолет, жужжа, взмыл в теплую высь.

— Ты просто чудо,— сказал Питер.

— Вот как? — отозвалась она, закуривая сигарету.

— Еще бы. Даже не заплакала. Держалась молодцом.

— Право, он вовсе не так уж плох, когда узнаешь его поближе,— сказала Полли.— Я... я даже могу взять его на руки. Он теплый и плачет, и ему надо менять пеленки, хоть они и треугольные.— Она засмеялась. Но в этом смехе Питер расслышал дрожащую болезненную нотку.— Нет, я не заплакала, Пит, ведь это мой ребенок. Или будет моим. Слава богу, он не родился мертвый. Он... Не знаю, как тебе объяснить... Он еще не совсем родился. Я стараюсь думать, что он еще не родился. И мы ждем, когда он появится. Я очень верю доктору Уолкоту. А ты?

— Да, да. Ты права.— Питер взял ее за руку.— Знаешь, что я тебе скажу? Ты просто молодчина.

— Я смогу держаться,— сказала Полли, глядя прямо перед собой и не замечая проносящихся под ними зеленых просторов.— Пока я верю, что впереди ждет что-то хоро-

шее, я не позволю себе терзаться и мучиться. Я еще подожду с полгода, а потом, может быть, убью себя.

— Полли!

Она взглянула на мужа так, будто увидела впервые.

— Прости меня, Пит. Но ведь так не бывает, просто не бывает. Когда все кончится и малыш родится по-настоящему, я тут же обо всем забуду, точно ничего и не было. Но если доктор не сумеет нам помочь, рассудку этого не вынести, рассудка только и хватит — приказать телу влезть на крышу и прыгнуть вниз.

— Все уладится,— сказал Питер, сжимая руками штурвал.— Непременно уладится.

Полли не ответила, только выпустила облачко табачного дыма, и оно мигом распалось в воздушном вихре под лопастями вертолета.

Прошло три недели. Каждый день они летали в институт навестить Пая. Такое спокойное, скромное имя дала Полли Хорн голубой пирамидке, которая лежала на теплом спальном столе и смотрела на них из-под длинных ресниц. Доктор Уолкот не забывал повторять родителям, что ребенок ведет себя как все младенцы: столько-то часов спит, столько-то бодрствует, временами спокоен, а временами нет, в точности как всякий младенец, и так же ест, и так же пачкает пеленки. Полли слушала все это, и лицо ее смягчалось, глаза теплели.

В конце третьей недели доктор Уолкот сказал:

— Может быть, вы уже в силах взять его домой? Ведь вы живете за городом, так? Отлично, у вас есть внутренний дворик, малыш может иногда погулять на солнышке. Ему нужна материнская любовь. Истина избитая, но с нею не поспоришь. Его надо кормить грудью. Конечно, мы договорились — там, где его кормит новая специальная машина, для него нашлись и ласковый голос, и теплые руки, и прочее.— Доктор Уолкот говорил сухо, отрывисто.— Но мне кажется, вы уже достаточно с ним свыклись и понимаете, что это вполне здоровый ребенок. Вы готовы к этому, миссис Хорн?

— Да, я готова.

— Отлично. Привозите его каждые три дня на осмотр. Вот вам его режим и все предписания. Мы исследуем сейчас несколько возможностей, миссис Хорн. К концу года мы надеемся чего-то достичь. Не могу сейчас обещать

определенно, но у меня есть основания полагать, что мы вытащим этого мальчугана из четвертого измерения, как фокусник — кролика из шляпы.

К немалому изумлению и удовольствию доктора, в ответ на эту речь Полли Хорн тут же его поцеловала.

Питер Хорн вел вертолет домой над волнистыми зелеными лугами Гриффита. Временами он поглядывал на пирамидку, лежавшую на руках у Полли. Полли ласково над ней ворковала, пирамидка отвечала примерно тем же.

— Хотела бы я знать...— начала Полли.

— Что?

— Какими он видит нас?

— Я спрашивал Уолкота. Он говорит, наверно, мы тоже кажемся малышу странными. Он в одном измерении, мы в другом.

— Ты думаешь, он не видит нас людьми?

— Если глядеть на это нашими глазами — нет. Но не забудь, он ничего не знает о людях. Для него мы в любом обличье такие, как надо. Он привык видеть нас в форме кубов, квадратов или пирамид, какими мы ему там представляемся из его измерения. У него не было другого опыта, ему не с чем сравнивать. Мы для него самые обыкновенные. А он нас поражает потому, что мы сравниваем его с привычными для нас формами и размерами.

— Да, понимаю. Понимаю.

Малыш ощущал движение. Один Белый куб держал его в теплых отростках. Другой Белый куб сидел поодаль; все они были в фиолетовом эллипсоиде. Эллипсоид двигался во воздуху над просторной светлой равниной, сплошь усеянной пирамидами, шестигранниками, цилиндрами, колоннами, шарами и многоцветными кубами.

Один Белый куб что-то просвистел. Другой ответил свистом. Тот Белый куб, что держал малыша, слегка покачивался. Малыш глядел на Белые кубы, на мир, проносящийся за стенками вытянутого летучего пузыря.

И ему стало как-то сонно. Он закрыл глаза, прислонился поуютней к Белому кубу и тоненько, чуть слышно загудел.

— Он уснул,— сказала Полли Хорн.

...Настало лето, у Питера Хорна в экспортно-импортной конторе хлопот было по горло. Но все вечера он неизменно проводил дома. Дни с малышом давались Полли без труда, но, если приходилось оставаться с ним одной до ночи, она слишком много курила, а однажды поздним вечером Питер застал ее на кушетке без чувств, и рядом стояла пустая бутылка из-под коньяка. С тех пор по ночам он сам вставал к малышу. Плакал малыш как-то странно, то ли свистел, то ли шипел жалобно, будто испуганный зверек, затерявшийся в джунглях. Дети так не плачут.

Питер сделал в детской звуконепроницаемые стены.

— Это чтоб ваша жена не слыхала, как плачет маленький? — спросил рабочий, который ему помогал.

— Да, чтоб она не слыхала,— ответил Питер Хорн.

Они почти никого у себя не принимали, боялись — вдруг кто-нибудь наткнется на Пая, маленького Пая, на милую любимую пирамидку.

— Что это? — спросил раз вечером один гость, отрываясь от коктейля, и прислушался.— Какая-то пичужка голос подает? Вы никогда не говорили, что держите птиц в клетках, Питер.

— Да, да,— ответил Питер, закрывая дверь в детскую.— Выпейте еще. Давайте все выпьем.

Было так, словно они завели собаку или кошку. По крайней мере, так на это смотрела Полли. Питер Хорн незаметно наблюдал за женой, подмечал, как она говорит о маленьком Пае, как ласкает его. Она всегда рассказывала, что Пай делал и как себя вел, но словно бы с осторожностью, а порой окинет взглядом комнату, проведет ладонью по лбу, по щеке, стиснет руки — и лицо у нее станет испуганное, потерянное, будто она тщетно кого-то ждет.

В сентябре Полли с гордостью сказала мужу:

— Он умеет говорить «папа». Да, да, умеет. Ну-ка, Пай, скажи: «Папа».

И она подняла повыше теплую голубую пирамидку.

— Фьюи-и! — просвистела теплая голубая пирамидка.

— Еще разок! — сказала Полли.

— Фьюи-и! — просвистела пирамидка.

— Ради бога, перестань! — сказал Питер Хорн. Взял у Полли ребенка и отнес в детскую, и там пирамидка свистела опять и опять, повторяла по-своему: «Папа, папа, папа».

Хорн вышел в столовую и налил себе чистого виски. Полли тихонько смеялась.

— Правда, потрясающе? — сказала она.— Даже голос у него в четвертом измерении. Вот будет мило, когда он научится говорить! Мы дадим ему выучить монолог Гамлета, и он станет читать наизусть, и это прозвучит как отрывок из Джойса. Повезло нам, правда? Дай мне выпить.

— Ты уже пила, хватит.

— Ну, спасибо, я себе и сама налью,— ответила Полли.

Так она и сделала.

Прошел октябрь, наступил ноябрь. Пай теперь учился говорить. Он свистел и пищал, а когда был голоден, звенел, как бубенчик. Доктор Уолкот навещал Хорнов.

— Если малыш весь ярко-голубой, значит, здоров,— сказал он однажды.— Если же голубизна тускнеет, выцветает, значит, ребенок чувствует себя плохо. Запомните это.

— Да, да, я запомню,— сказала Полли.— Яркий, как яйцо дрозда,— здоров; тусклый, как кобальт,— болен.

— Знаете что, моя милая,— сказал Уолкот,— примите-ка парочку вот этих таблеток, а завтра придете ко мне, побеседуем. Не нравится мне, как вы разговариваете. Покажите-ка язык! Гм... Вы что, пьете? И пальцы все в желтых пятнах. Курить надо вдвое меньше. Ну, до завтра.

— Вы не очень-то мне помогаете,— возразила Полли.— Прошел уже почти целый год.

— Дорогая миссис Хорн, не могу же я держать вас в непрерывном напряжении. Как только наша механика будет готова, мы тотчас вам сообщим. Мы работаем не покладая рук. Скоро проведем испытание. А теперь примите таблетки и прикусите язычок.— Доктор потрепал Пая по «подбородку».— Отличный, здоровый младенец, право слово! И весит никак не меньше двадцати фунтов.

Малыш подмечал каждый шаг этих двух славных Белых кубов, которые всегда с ним, когда он не спит. Есть еще один куб — Серый, тот появляется не каждый день. Но главные в его жизни — два Белых куба, они его любят и заботятся о нем. Малыш поднял глаза на Белый куб, тот, что с округленными гранями, потеплей и помягче, и, очень довольный, тихонько защебетал. Белый куб кормит его. Малыш доволен. Он растет. Все привычно и хорошо.

Настал новый, 1989 год.

В небе проносились межпланетные корабли, жужжали вертолеты, завивая вихрями теплый воздух Калифорнии.

Питер Хорн тайком привез домой большие пластины особым образом отлитого голубого и серого стекла. Сквозь них он всматривался в своего «ребенка». Ничего. Пирамидка оставалась пирамидкой, просвечивал ли он ее рентгеновскими лучами или разглядывал сквозь желтый целлофан. Барьер был непробиваем. Хорн потихоньку снова стал пить.

Все круто переломилось в начале февраля. Хорн возвращался домой, хотел уже посадить вертолет — и ахнул: на лужайке перед его домом столпились соседи. Кто сидел, кто стоял, некоторые уходили прочь, и лица у них были испуганные.

Во дворе гуляла Полли с «ребенком».

Она была совсем пьяная. Сжимая в руке щупальце голубой пирамидки, она водила Пая взад и вперед. Не заметила, как сел вертолет, не обратила никакого внимания на мужа, когда он бегом бросился к ней.

Один из соседей обернулся:

— Какая славная у вас зверюшка, мистер Хорн! Где вы ее откопали?

Еще кто-то крикнул:

— Видно, вы порядком пострaнствовали, Хорн! Это откуда же, из Южной Африки?

Полли подхватила пирамидку на руки.

— Скажи «папа»! — закричала она, неуверенно, как сквозь туман, глядя на мужа.

— Фьюи! — засвистела пирамидка.

— Полли! — позвал Питер.

— Он ласковый, как щенок или котенок,— говорила Полли, ведя пирамидку по двору.— Нет, нет, не бойтесь, он совсем не опасен. Он ласковый, прямо как ребенок. Мой муж привез его из Афганистана.

Соседи начали расходиться.

— Куда же вы? — Полли замахала им рукой.— Не хотите поглядеть на моего малютку? Разве он не красавчик?

Питер ударил ее по лицу.

— Мой малютка...— повторяла Полли срывающимся голосом.

Питер опять и опять бил ее по щекам, и наконец она умолкла, у нее подкосились ноги. Он поднял ее и унес в дом. Потом вышел, увел Пая, сел и позвонил в институт.

— Доктор Уолкот, говорит Хорн. Извольте подготовить вашу механику. Сегодня или никогда.

Короткая заминка. Потом Уолкот сказал со вздохом:

— Ладно. Привозите жену и ребенка. Попробуем управиться.

Оба дали отбой.

Хорн сидел и внимательно разглядывал пирамидку.

— Все соседи от него в восторге,— сказала Полли.

Она лежала на кушетке, глаза были закрыты, губы дрожали...

В вестибюле института их обдало безупречной, стерильной чистотой. Доктор Уолкот шагал по коридору, за ним Питер Хорн и Полли с Паем на руках. Вошли в одну из дверей и очутились в просторной комнате. Посередине стояли рядом два стола, над каждым свисал большой черный колпак.

Позади столов выстроились незнакомые аппараты, счету не было циферблатам и рукояткам. Слышалось еле уловимое гуденье. Питер Хорн поглядел на жену.

Уолкот подал ей стакан с какой-то жидкостью.

— Выпейте,— сказал он.

Полли повиновалась.

— Вот так. Садитесь.

Хорны сели. Доктор сцепил руки, пальцы в пальцы, и минуту-другую молча смотрел на обоих.

— Теперь послушайте, чем я занимался все последние месяцы,— сказал он.— Я пытался вытащить малыша из того измерения, куда он попал. Четвертого, пятого или шестого — сам черт не разберет. Всякий раз, как вы привозили его сюда на осмотр, мы бились над этой задачей. И в известном смысле она решена, но извлечь ребенка из того треклятого измерения мы покуда не можем.

Полли вся сникла. Хорн же неотрывно смотрел на доктора — что-то он еще скажет? Уолкот наклонился к ним.

— Я не могу извлечь оттуда Пая, но я могу переправить вас обоих туда. Вот так-то.

И он развел руками.

Хорн посмотрел на машину в углу.

— То есть вы можете послать нас в измерение Пая?

— Если вы непременно этого хотите.

Полли не отозвалась. Она молча держала Пая на коленях и не сводила с него глаз.

Доктор Уолкот стал объяснять:

— Мы знаем, какими неполадками, механическими и электрическими, вызвано теперешнее состояние Пая. Мы можем воспроизвести эту цепь случайных погрешностей и воздействий. Но вернуть ребенка в наше измерение — это уже совсем другое дело. Возможно, пока мы добьемся нужного сочетания, придется провести миллион неудачных опытов. Сочетание, которое ввергло его в чужое пространство, было случайностью, но, по счастью, мы заметили и проследили ее, у нас есть показания приборов. А вот как вернуть его оттуда — таких данных у нас нет. Приходится действовать наугад. Поэтому гораздо легче переправить вас в четвертое измерение, чем вернуть Пая в наше.

— Если я перейду в его измерение, я увижу моего ребенка таким, какой он на самом деле? — просто и серьезно спросила Полли.

Уолкот кивнул.

— Тогда я хочу туда,— сказала Полли.

— Подожди,— вмешался Питер.— Мы пробыли здесь только пять минут, а ты уже перечеркиваешь всю свою жизнь.

— Пускай. Я иду к моему настоящему ребенку.

— Доктор Уолкот, а как будет там, по ту сторону?

— Сами вы не заметите никаких перемен. Будете видеть друг друга такими же, как прежде,— тот же рост, тот же облик. А вот пирамидка станет для вас ребенком. Вы обретете еще одно чувство и станете иначе воспринимать все, что увидите.

— А может быть, мы обратимся в какие-нибудь цилиндры или пирамиды? И вы, доктор, покажетесь нам уже не человеком, а какой-нибудь геометрической фигурой?

— Если слепой прозреет, разве он утратит способность слышать и осязать?

— Нет.

— Ну так вот. Перестаньте рассуждать при помощи вычитания. Думайте путем сложения. Вы кое-что приобретаете. И ничего не теряете. Вы знаете, как выглядит человек, а у Пая, когда он смотрит на нас из своего измерения, этого преимущества нет. Прибыв туда, вы сможете увидеть доктора Уолкота, как пожелаете,— и геометрической фигурой, и человеком. Наверно, на этом вы заделаетесь заправским философом. Но тут есть еще одно...

— Что же?

— Для всего света вы, ваша жена и ребенок будете выглядеть абстрактными фигурами. Малыш — треугольником, ваша жена, возможно, прямоугольником. Сами вы — массивным шестигранником. Потрясение ждет всех, кроме вас.

— Мы окажемся выродками.

— Да. Но не почувствуете себя выродками. Только придется жить замкнуто и уединенно.

— До тех пор, пока вы не найдете способ вернуть нас всех троих?

— Вот именно. Может пройти и десять лет, и двадцать. Я бы вам не советовал. Пожалуй, вы оба сойдете с ума от одиночества, от сознания, что вы не такие, как все. Если в вас есть хоть малое зернышко шизофрении, она разовьется. Но, понятно, решайте сами.

Питер Хорн посмотрел на жену, она ответила прямым, серьезным взглядом.

— Мы идем,— сказал Питер.

— В измерение Пая? — переспросил Уолкот.

— В измерение Пая.

Они поднялись.

— Мы не утратим никаких способностей, доктор, вы уверены? Поймете ли вы нас, когда мы станем с вами говорить? Ведь Пая понять невозможно.

— Пай говорит так потому, что так звучит для него наша речь, когда она проникает в его измерение. И он повторяет то, что слышит. А вы, оказавшись там, будете говорить со мной превосходным человеческим языком, потому что вы это умеете. Измерения не отменяют чувств и способностей, времени и знаний.

— А что будет с Паем? Когда мы попадем в его измерение, мы прямо у него на глазах обратимся в людей?

Вдруг это будет для него слишком сильным потрясением? Не опасно это?

— Он еще совсем кроха. Его представления о мире не вполне сложились. Конечно, он будет поражен, но от вас будет пахнуть по-прежнему, и голоса останутся прежние, хорошо знакомые, и вы будете все такими же ласковыми и любящими, а это главное. Нет, вы с ним прекрасно поймете друг друга.

Хорн медленно почесал в затылке.

— Да, не самый простой и короткий путь к цели...— Он вздохнул: — Вот был бы у нас еще ребенок, тогда про этого можно бы и забыть...

— Но ведь речь именно о нем. Смею думать, вашей жене нужен только этот малыш и никакой другой, правда, Полли?

— Этот, только этот,— сказала Полли.

Уолкот многозначительно посмотрел на Хорна. И Питер понял. *Этот* ребенок — не то Полли потеряна. *Этот* ребенок — не то Полли до конца жизни просидит где-то в тишине, в четырех стенах, уставясь в пространство невидящими глазами.

Все вместе они направились к машине.

— Что ж, если она это выдержит, так выдержу и я,— сказал Хорн и взял жену за руку.— Столько лет я работал в полную силу, не худо и отдохнуть, примем для разнообразия абстрактную форму.

— По совести, я вам завидую,— сказал Уолкот, нажимая какие-то кнопки на большой непонятной машине.— И еще вам скажу: вот поживете там — и, пожалуй, напишете такой философский трактат, что Дьюи, Бергсон, Гегель и прочие лопнули бы от зависти. Может, и я как-нибудь соберусь к вам в гости.

— Милости просим. Что нам понадобится для путешествия?

— Ничего. Просто ложитесь на стол и лежите смирно.

Комната наполнилась гуденьем. Это звучали мощь, энергия и тепло.

Полли и Питер Хорн лежали на сдвинутых вплотную столах, взявшись за руки. Их накрыли двойным черным колпаком. И они очутились в темноте. Откуда-то донесся бой часов — далеко в глубине здания металлический голосок прозвенел: «Тик-ки, так-ки, ровно

семь, пусть известно будет всем...» — и постепенно замер.

Низкое гуденье звучало все громче. Машина дышала затаенной, пружинно сжатой нарастающей мощью.

— Это опасно? — крикнул Питер Хорн.

— Нисколько!

Мощь прорвалась воплем. Кажется, все атомы в комнате разделились на два чуждых, враждебных лагеря. И борются — чья возьмет. Хорн раскрыл рот — закричать бы... Все его существо сотрясали ужасающие электрические разряды, перекраивали по неведомым граням и диагоналям. Он чувствовал — тело раздирает какая-то сила, тянет, засасывает, властно чего-то требует. Жадная, неотступная, напористая, она распирает комнату. Черный колпак над ним растягивался, все плоскости и линии дико, непостижимо исказились. Пот струился по лицу — нет, не пот, а соки, выжатые из него тисками враждующих измерений. Казалось, руки и ноги что-то выворачивает, раскидывает, колет, и вот зажало. И весь он тает, плавится, как воск.

Негромко щелкнуло.

Мысль Хорна работала стремительно, но спокойно. «Как будет потом, когда мы с Полли и Паем окажемся дома и придут друзья посидеть и выпить? Как все это будет?»

И вдруг он понял, как оно будет, и разом ощутил благоговейный трепет, и безоглядное доверие, и всю надежность времени. Они по-прежнему будут жить в своем белом доме, на том же тихом зеленом холме, только вокруг поднимется высокая ограда, чтобы не докучали любопытные. И доктор Уолкот будет их навещать — поставит свою букашку во дворе и поднимется на крыльцо, а в дверях его встретит стройный Белый четырехгранник с коктейлем в змееподобной руке.

А в кресле в глубине комнаты солидный Белый цилиндр будет читать Ницше и покуривать трубку. И тут же будет бегать Пай. И завяжется беседа, придут еще друзья, Белый цилиндр и Белый четырехгранник будут смеяться, и шутить, и угощать всех крохотными сандвичами и вином, и вечер пройдет славно, весело и непринужденно.

Вот как это будет.

Щелк!

Гуденье прекратилось.

С Хорна сняли колпак.

Все кончилось.

Они уже в другом измерении.

Он услышал, как вскрикнула Полли. Было очень светло. Хорн соскользнул со стола и остановился, озираясь. По комнате бежала Полли. Наклонилась, подхватила что-то на руки...

Вот он, сын Питера Хорна. Живой, розовощекий, голубоглазый мальчуган лежит в объятиях матери, растерянно озирается и захлебывается плачем.

Пирамидки словно не бывало. Полли плакала от счастья.

Весь дрожа, но силясь улыбнуться, Питер Хорн пошел к ним — обнять наконец и Полли и малыша разом и заплакать вместе с ними.

— Ну вот,— стоя поодаль, промолвил Уолкот.

Он долго стоял не шевелясь. Стоял и неотрывно смотрел в другой конец комнаты, на Белый цилиндр и стройный Белый четырехгранник с Голубой пирамидкой в объятиях.

Дверь отворилась, вошел ассистент.

— Шш-ш! — Уолкот приложил палец к губам.— Им надо побыть одним. Пойдемте.

Он взял ассистента за локоть и на цыпочках двинулся к выходу. Дверь затворилась за ними, а Белый четырехгранник и Белый цилиндр даже не оглянулись.

ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО

Идея была такая гениальная, такая немыслимо восхитительная, что я, катя по Америке, от радости уже не соображал ничего.

Не знаю почему, но в голову мне она пришла на сорок восьмой день моего рождения. Почему на сорок восьмой, а не на тридцатый или сороковой, сказать трудно. Может, потому, что те годы были хорошими и я проплыл сквозь них, не замечая ни времени и часов, ни инея, оседающего у меня на висках, ни львиного взгляда знаменитости, который у меня появился...

Так или иначе, но в свой сорок восьмой день рождения, когда я рядом со спящей женой лежал ночью в постели, а мои дети спали во всех остальных тихих и залитых лунным светом комнатах моего дома, я подумал: встану, поеду и убью Ральфа Андерхилла.

Ральфа Андерхилла?! Бог мой, да кто он такой есть? Убить его спустя тридцать шесть лет? За что?..

Как за что? За то, что он со мною делал, когда мне было двенадцать лет.

Через час, услышав что-то, проснулась моя жена.

— Это ты, Дуг? — подала она голос.— Что ты делаешь?

— Собираюсь в дорогу,— ответил я.— Я еду.

— А-а,— пробормотала она, перевернулась на другой бок и уснула.

Скорей!

— Посадка заканчивается! — громко закричал проводник.

Поезд дернулся и лязгнул.

— Пока! — крикнул я, вскакивая на подножку.

— Хоть бы когда-нибудь,— закричала жена,— полетел!

Полетел? И лишил себя возможности всю долгую дорогу обдумывать убийство? Возможности смазывать не спеша пистолет, заряжать его и думать о том, какое лицо будет у Ральфа Андерхилла, когда, через тридцать шесть лет, я возникну перед ним, чтобы свести старые счеты? Полетел? Да я скорей пойду пешком через всю страну и, останавливаясь на ночлег, буду разжигать костры и поджаривать на них свою желчь и прокислую слюну, и буду опять есть свои старые, высохшие, как мумии, но все еще живые обиды и трогать синяки, которые не зажили до сих пор. Полетел!

Поезд тронулся. Моя жена исчезла.

Я ехал в Прошлое.

На вторую ночь, проезжая через Канзас, мы попали в потрясающую грозу. Я не ложился до четырех утра, слушал, как беснуются громы и ветры. Когда стихии разбушевались дальше некуда, я увидел свое лицо — негатив его — на холодном стекле окна и подумал: куда едет этот дурак?

Убивать Ральфа Андерхилла.

За что? А за то! Помнишь, как он бил меня? До синяков. Обе мои руки были в синяках от самого плеча; в синих синяках, черных в крапинку, каких-то странных желтых.

Ударит — и убежит, таков он был, этот Ральф. Ударит — и убежит...

И, однако, ты любил его?

Да, как мальчики любят мальчиков, когда мальчикам восемь, десять, двенадцать и мир невинен, а мальчики злее злого, ибо не ведают, что творят, но творят все равно. И видно, где-то в потаенных глубинах души мне было обязательно нужно, чтобы мне причиняли боль. Мы, «закадычные друзья», нуждались друг в друге, ему нужно было бить. Мне — быть битым. Мои шрамы были эмблемой нашей любви.

За что еще хочешь ты убить Ральфа через столько лет?

Резко закричал паровозный гудок. Ночная страна бежала мимо.

И я вспомнил, как одной весной пришел в школу в новом костюмчике из твида и Ральф сбил меня с ног и вывалял в буром месиве грязи и снега. И он смеялся, а я, готовый провалиться сквозь землю, перепачканный с головы до ног, напуганный предстоящей взбучкой, побрел домой переодеться в сухое.

Вот так! А еще что?

Помнишь те глиняные фигурки персонажей из радиопьесы о Тарзане, которые тебе так хотелось иметь? Тарзан, обезьяна Кала, лев Нума — любая фигурка стоила всего двадцать пять центов! Да-да! Они были неописуемо прекрасны! О, вспомнить только, как где-то вдалеке, в зеленых джунглях, путешествуя по деревьям, завывал обезьяночеловек! Но у кого в самый разгар Большой Депрессии нашлось бы двадцать пять центов? Ни у кого.

Кроме Ральфа Андерхилла.

И однажды Ральф спросил тебя, не хочешь ли ты получить одну из этих фигурок.

«Хочу ли! — воскликнул ты.— Конечно, конечно!»

Это было в ту самую неделю, когда твой брат в странном приступе любви, смешанной с презрением, отдал тебе свою старую, но дорогую бейсбольную перчатку.

«Ну, что ж,— сказал Ральф,— я дам тебе лишнюю фигурку Тарзана, если ты отдашь мне бейсбольную перчатку».

«Ну и дурак же ты! — сказал я себе.— Фигурка стоит двадцать пять центов. Перчатка — целых два доллара! Это нечестный обмен! Не меняйся!»

Но все равно я помчался с перчаткой назад домой к Ральфу и отдал ее ему, а он, улыбаясь еще презрительней, чем мой брат, протянул мне глиняного Тарзана, и я, переполненный радостью, побежал домой.

Брат узнал про бейсбольную перчатку и глиняного Тарзана только через две недели. И когда узнал, бросил меня одного за городом, среди фермерских полей, куда мы с ним отправились на прогулку, и ушел — бросил за то, что я такой остолоп. «Фигурки Тарзанов ему понадобились, бейсбольные перчатки! — бушевал он.— Больше ты не получишь от меня ничего и никогда!»

И где-то на сельской дороге я бросился на землю и разрыдался: мне хотелось умереть, чтобы вместе с рвотой меня покинула и моя несчастная душа.

Снова забормотал гром.

На холодные окна пульмана падал дождь.

Что еще? Или список закончен?

Нет. Еще одно, последнее, страшней всего остального.

За все те годы, когда в шесть утра Четвертого Июля ты прибегал к дому Ральфа бросить камешки в его окно, покрытое каплями росы, или в конце июля или августа звал его в холодную утреннюю голубизну станции смотреть, как прибывает на рассвете цирк,— за все эти годы он, Ральф, ни разу не прибежал к т в о е м у дому.

Ни разу ни он и никто другой не доказал своей дружбы тем, что пришел к тебе. Ни разу никто не постучался в твою дверь. Окно твоей комнаты ни разу не вздрогнуло и не зазвенело глуховато от брошенного в стекло конфетти из комочков сухой земли и мелких камешков.

И ты твердо знал, что в тот день, когда ты перестанешь бегать к дому Ральфа, встречаться с ним на заре, ваша дружба кончится.

Однажды ты решил проверить. Не приходил целую неделю. Ральф ни разу не пришел к тебе. Было так, как если бы ты умер и никто не пришел к тебе на похороны.

Вы с Ральфом виделись в школе — и никакого удивления, ни вопроса. Самой маленькой шерстинки не хотело снять с твоего пиджака его любопытство. «Где ты был, Дуг? Ведь должен я кого-нибудь бить! Где ты пропадал, Дуг? Мне некого было щипать!»

Сложи все эти грехи вместе. Но особенно задумайся над тем, последним.

Он ни разу не пришел ко мне. Ни разу не послал ранним утром песни к моей постели, не швырнул в чистые стекла свадебный рис гравия, вызывая меня на улицу, в радость летнего дня.

И за это последнее, Ральф Андерхилл, думал я, сидя в вагоне поезда в четыре часа утра, когда гроза стихла, а у себя на глазах я почувствовал слезы, за это последнее и переполнившее чашу я завтра вечером тебя уничтожу.

Убью, подумал я, через тридцать шесть лет. О господи, да я безумней, помешанней Ахава!

Поезд надрывно завопил. Мы неслись по равнине, как механическая, на колесах, греческая Судьба, увлекаемая черной металлической римской Фурией.

Говорят, что вернуться в Прошлое нельзя.

Это ложь.

Если тебе посчастливилось и ты рассчитал все правильно, ты прибудешь на закате, когда старый городок полон золотого света.

Я сошел с поезда и зашагал по Гринтауну, потом остановился перед административным зданием; оно полыхало пламенем заката. Деревья были увешаны дублонами. Крыши, карнизы и лепка были чистейшая медь и старое золото.

Я сел на скамейку в сквере перед административным зданием, среди собак и стариков, и сидел там, пока не зашло солнце и в Гринтауне не стало темно. Я хотел насладиться смертью Ральфа Андерхилла сполна.

Такого преступления не совершал еще никто.

Я побуду здесь, совершу убийство и уеду, чужой среди чужих.

Кто, увидев тело Ральфа Андерхилла на пороге его дома, посмеет предположить, что какой-то двенадцатилетний мальчик, которого послало в дорогу немыслимое презрение к себе, прибыл сюда не то на поезде, не то на машине времени и выстрелил в Прошлое? Такое представить себе невозможно! Само мое безумие было мне наилучшей защитой.

Наконец в восемь часов тридцать минут этого прохладного октябрьского вечера я встал и отправился на другой конец городка, через овраг.

Я ни на миг не усомнился в том, что Ральф по-прежнему здесь.

Ведь вообще-то случается, что люди и переезжают...

Я свернул на Парковую улицу, прошел двести ярдов до одинокого фонарного столба и посмотрел напротив, на другую сторону. Белый двухэтажный викторианский дом Ральфа Андерхилла ждал меня.

И я чувствовал, что Ральф Андерхилл в этом доме.

Он был там, сорокавосьмилетний, точно так же как здесь был я, сорокавосьмилетний и полный старой, усталой и себя самое пожирающей отваги.

Я шагнул в тень, открыл чемодан, переложил пистолет в правый карман пальто, запер чемодан и спрятал в кустах, чтобы потом, позднее, подхватить его, спуститься в овраг и через городок вернуться на станцию.

Я перешел улицу и остановился перед домом. Это был тот же самый дом, перед которым я много раз стоял тридцать шесть лет тому назад. Вот окна, в которые, самоотреченно любя, я, как букеты весенних цветов, швырял камешки. Вот тротуары с пятнами от шутих, сгоревших в незапамятно древние Четвертые Июля, когда мы с Ральфом, ликующе визжа, взрывали к черту весь этот проклятый мир.

Я поднялся на крыльцо и увидел на почтовом ящике надпись мелкими буквами: «А н д е р х и л л».

Нет, подумал я, он сам, собственной персоной, неотвратимо, как в греческой трагедии, откроет дверь, примет выстрел и, почти благодарный, умрет за старые преступления и меньшие грехи, каким-то образом тоже ставшие преступлениями.

Я позвонил.

Узнает ли он меня через столько лет? За миг до первого выстрела назови, о б я з а т е л ь н о назови ему свое имя. Нужно, чтобы он знал.

Молчание.

Я позвонил снова.

Дверная ручка заскрипела.

Я дотронулся до пистолета в кармане, но его не вынул: сердце мое билось гулко-гулко.

Дверь отворилась.

За ней стоял Ральф Андерхилл.

Он заморгал, вглядываясь в меня.

— Ральф? — сказал я.

— Да...— сказал он.

Мы простояли друг против друга не больше пяти секунд. Но боже мой! За эти пять молниеносных секунд произошло очень многое.

Я увидел Ральфа Андерхилла.

Увидел его совсем ясно.

А не видел я его с тех пор, как мне исполнилось двенадцать лет.

Тогда он высился надо мною башней, молотил меня кулаками, избивал меня и на меня орал.

Теперь это был маленький старичок.

Мой рост — пять футов одиннадцать дюймов.

Но Ральф Андерхилл со своих двенадцати лет почти не вырос.

Человек, который стоял передо мной, был не выше пяти футов двух дюймов.

Теперь я возвышался башней над ним.

Я ахнул. Вгляделся. Я увидел больше.

Мне было сорок восемь.

Но у Ральфа Андерхилла, тоже в сорок восемь, половина волос выпала, а те, седые и черные, что оставались, были совсем редкие. Выглядел он на все шестьдесят, а то и шестьдесят пять.

Я был здоров.

Ральф Андерхилл был бледен, как воск. По его лицу было видно: уж он-то хорошо знает, что такое болезнь. Он будто побывал в какой-то стране, где никогда не светит солнце. Лицо у него было изможденное, глаза и щеки впалые. Дыхание отдавало запахом погребальных цветов.

Когда я это увидел, молнии и громы прошедшей ночи будто слились в один слепящий удар. Мы с ним стояли посередине взрыва.

Так вот ради чего я пришел, подумал я. Вот, значит, какова истина! Ради этого страшного мгновенья. Не ради того, чтобы вытащить оружие. Не ради того, чтобы убить. О, вовсе нет! А только чтобы...

Увидеть Ральфа Андерхилла таким, каким он теперь стал.

Вот и все.

Просто побыть, постоять и посмотреть на него такого, какой он есть.

В немом удивлении Ральф Андерхилл поднял руку. Его губы задрожали. Взгляд заметался по мне вверх-вниз, вверх-вниз, разум мерил этого великана, чья тень легла на его дверь. Наконец послышался голос, тихий, надтреснутый:

— Это... Дуг?

Я отпрянул назад.

— Дуг? — От изумления он разинул рот.— Ты?

Этого я не ждал. Ведь люди не помнят! Не могут помнить! Через столько лет? К чему ему ломать себе голову, вспоминать, узнавать, называть по имени?

Мне вдруг пришла в голову безумная мысль: жизнь Ральфа Андерхилла пошла под откос с моим отъездом. Я был сердцевиной его мира, был словно создан для того, чтобы меня били, тузили, колошматили, награждали синяками. Вся жизнь его расползлась по швам просто оттого, что тридцать шесть лет тому назад я встал и от него ушел.

Чушь! И, однако, какая-то крохотная полоумная мышка мудрости носилась в моем мозгу и пищала: «Ральф был нужен, но еще больше ты был нужен ему! И ты совершил единственный непростительный, убийственно жестокий поступок! Ты исчез».

— Дуг? — сказал он снова, ибо я — на крыльце — безмолвствовал и руки мои висели как плети вдоль тела.— Это ты?

Ради этого мгновения я и приехал.

Своею кровью, где-то глубоко-глубоко, я всегда знал, что не воспользуюсь оружием. Да, оно со мной, это верно, но Время опередило меня и прибыло раньше, и не только оно, но и возраст, и меньшие, более страшные смерти...

Бах!..

Шесть выстрелов в сердце.

Но пистолетом я не воспользовался. Только губы мои прошептали звук выстрелов. С каждым выстрелом лицо Ральфа Андерхилла старело на десять лет. Когда мне оставалось выстрелить в последний раз, ему было уже сто десять.

— Бах,— шептал я.— Бах. Бах. Бах. Бах. Бах.

Каждый выстрел встряхивал его тело.

— Ты убит. О боже, Ральф, ты убит!

Я повернулся, сошел с крыльца и оказался на тротуаре, и только тогда он подал голос:

— Дуг, это ты?

Я уходил, не отвечая.

— Ответь, а? — Голос его дребезжал.— Дуг! Дуг Сполдинг, это ты? Кто это? Кто вы?

Я отыскал в кустах чемодан, спустился в полную стрекота кузнечиков ночь и темноту оврага, а потом зашагал через мост, вверх по лестнице и дальше.

— Кто это? — донесся до меня в последний раз его рыдающий голос.

И только отойдя далеко, я оглянулся.

Все окна в доме Ральфа Андерхилла были ярко освещены. Похоже было, что после моего ухода он обошел все комнаты и везде зажег свет.

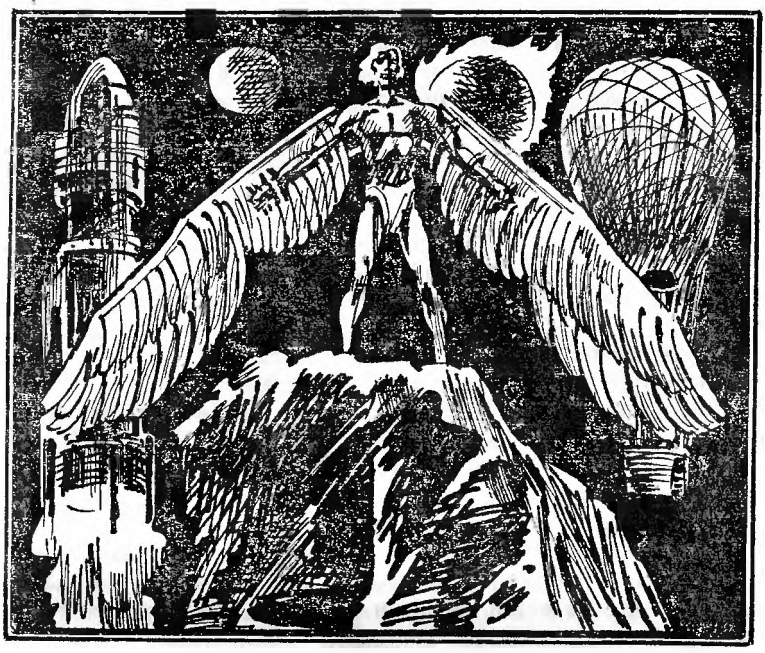
Поднявшись из оврага на другой стороне, я остановился на лужайке перед домом, где родился.

А потом поднял несколько камешков и сделал то, чего не сделал никто, ни единого раза, за всю мою жизнь.

Я бросил эти камешки в окно, за которым лежал все утра первых моих двенадцати лет. Я прокричал свое имя. Голосом друга я позвал себя выйти играть в долгом лете, которое осталось в прошлом.

Я простоял ровно столько времени, сколько другому, иному мне потребовалось, чтобы вылезти из окна и ко мне присоединиться.

Потом быстро, опережая зарю, мы выбежали из Гринтауна и помчались — благодарение Господу, помчались назад, в Сегодня и Сейчас, чтобы пребыть там до последних дней моей жизни.



ИКАР МОНГОЛЬФЬЕ РАЙТ

Он лежал в постели, а ветер задувал в окно, касался ушей и полуоткрытых губ и что-то нашептывал ему во сне. Казалось, это ветер времени повеял из Дельфийских пещер, чтобы сказать ему все, что должно быть сказано про вчера, сегодня и завтра. Где-то в глубине его существа порой звучали голоса — один, два или десять, а быть может, это говорил весь род людской, но слова, что срывались с его губ, были одни и те же:

— Смотрите, смотрите, мы победили!

Ибо во сне он, они, сразу многие вдруг устремлялись ввысь и летели. Теплое, ласковое воздушное море простиралось под ним, и он плыл, удивляясь и не веря.

— Смотрите, смотрите! Победа!

Но он вовсе не просил весь мир дивиться ему; он только жадно, всем существом смотрел, впивал, вдыхал, осязал

этот воздух, и ветер, и восходящую луну. Совсем один он плыл в небесах. Земля уже не сковывала его своей тяжестью.

Но постойте, думал он, подождите!

Сегодня — что же это за ночь?

Разумеется, это канун. Завтра впервые полетит ракета на Луну. За стенами этой комнаты, среди прокаленной солнцем пустыни, в сотне шагов отсюда меня ждет ракета.

Полно, так ли? Есть ли там ракета?

Постой-ка, подумал он, и передернулся, и, плотно сомкнув веки, обливаясь потом, обернулся к стене и яростно зашептал:

Надо наверняка! Прежде всего кто ты такой?

Кто я? — подумал он.— Как мое имя?

Джедедия Прентис, родился в 1938-м, окончил колледж в 1959-м, право управлять ракетой получил в 1965-м. Джедедия Прентис... Джедедия Прентис...

Ветер подхватил его имя и унес прочь. С воплем спящий пытался его удержать.

Потом он затих и стал ждать, пока ветер вернет ему имя. Ждал долго, но была тишина, тысячу раз гулко ударило сердце — и лишь тогда он ощутил в воздухе какое-то движение.

Небо раскрылось, точно нежный голубой цветок. Вдали Эгейское море покачивало белые опахала пены над пурпурными волнами прибоя.

В шорохе волн, набегающих на берег, он расслышал свое имя:

И к а р.

И снова шепотом, легким, как дыхание:

И к а р.

Кто-то потряс его за плечо — это отец звал его, хотел вырвать из ночи. А он, еще мальчишка, лежал, свернувшись, лицом к окну, за окном виднелись берег внизу и бездонное небо, и первый утренний ветерок пошевелил скрепленные янтарным воском золотые перья, что лежали возле его детской постели. Золотые крылья словно ожили в руках отца, и, когда сын взглянул на эти крылья и потом за окно, на утес, он ощутил, что и у него самого на плечах, трепеща, прорастают первые перышки.

— Как ветер, отец?

— Мне хватит, но для тебя слишком слаб.

— Не тревожься, отец. Сейчас крылья кажутся неуклюжими, но от моих костей перья станут крепче, от моей крови оживет воск.

— И от моей крови тоже, и от моих костей. Не забудь: каждый человек отдает детям свою плоть, а они должны обращаться с нею бережно и разумно. Обещай не подниматься слишком высоко, Икар. Жар солнца может растопить твои крылья, сын, но их может погубить и твое пылкое сердце. Будь осторожен!

И они вынесли великолепные золотые крылья навстречу утру, и крылья зашуршали, зашептали его имя, а быть может, иное... Чье-то имя взлетело, завертелось, поплыло в воздухе, словно перышко.

Монгольфье.

Его ладони касались жгучего каната, яркой простеганной ткани, каждая ниточка нагрелась и обжигала, как лето. Он подбрасывал охапки шерсти и соломы в жарко дышащее пламя.

Монгольфье.

Он поднял глаза — высоко над головой вздувалась, и покачивалась на ветру, и взмывала, точно подхваченная волнами океана, огромная серебристая груша, наполнялась мерцающим током разогретого воздуха, восходившего над костром. Безмолвно, подобная дремлющему божеству, склонилась над полями Франции эта легкая оболочка, и все расправляется, ширится, полнясь раскаленным воздухом, и уже скоро вырвется на волю. И с нею вознесется в голубые тихие просторы его мысль и мысль его брата и поплывет, безмолвная, безмятежная, среди облачных островов, где спят еще не приученные молнии. Там, в пучинах, не отмеченных ни на одной карте, в бездне, куда не донесется ни птичья песня, ни человеческий крик, этот шар обретет покой. Быть может, в этом плавании он, Монгольфье, и с ним все люди услышат непостижимое дыхание Бога и торжественную поступь вечности.

Он вздохнул, пошевелился, и зашевелилась толпа, на которую пала тень нагретого аэростата.

— Все готово, все хорошо.

Хорошо. Его губы дрогнули во сне. Хорошо. Шелест, шорох, трепет, взлет. Хорошо.

Из отцовских ладоней игрушка рванулась к потолку, закружилась, подхваченная вихрем, который сама же под-

няла, и повисла в воздухе, и они с братом не сводят с нее глаз, а она трепещет над головой, и шуршит, и шелестит, и шепчет их имена.

Р а й т.

И шепот: ветер, небеса, облака, просторы, крылья, полет.

— Уилбур? Орвил? Постой, как же так?

Он вздыхает во сне.

Игрушечный геликоптер жужжит, ударяется в потолок — шумящий крылами орел, ворон, воробей, малиновка, ястреб. Шелестящий крылами орел, шелестящий крылами ворон, и наконец слетает к ним в руки ветер, дохнувший из лета, что еще не настало,— в последний раз трепещет и замирает шелестящими крылами ястреб.

Во сне он улыбался.

Он устремился в эгейское небо, далеко внизу остались облака.

Он чувствовал, как, точно пьяный, покачивается огромный аэростат, готовый отдаться во власть ветра.

Он ощущал шуршание песков — они спасут его, упади он, неумелый птенец, на мягкие дюны Атлантического побережья. Планки и распорки легкого каркаса звенели, точно струны арфы, и его тоже захватила эта мелодия.

За стенами комнаты, чувствует он, по каленой глади пустыни скользит готовая к пуску ракета, огненные крылья еще сложены, она еще сдерживает свое огненное дыхание, но скоро ее голосом заговорят три миллиарда людей. Скоро он проснется и неторопливо направится к ракете.

И станет на краю утеса.

Станет в прохладной тени нагретого аэростата.

Станет на берегу, под вихрем песка, что стучит по ястребиным крыльям «Китти Хоук».

И натянет на мальчишеские плечи и руки, до самых кончиков пальцев, золотые крылья, скрепленные золотым воском.

В последний раз коснется тонкой, прочно сшитой оболочки — в ней заключено дыхание людей, жаркий вздох изумления и испуга, с нею вознесутся в небо их мечты.

Искрой он пробудит к жизни бензиновый мотор.

И, стоя над бездной, даст отцу руку на счастье — да будут послушны ему в полете гибкие крылья!

А потом взмахнет руками и прыгнет.

Перережет веревки и даст свободу огромному аэростату.

Запустит мотор, поднимет аэроплан в воздух.

И, нажав кнопку, воспламенит горючее ракеты.

И все вместе, прыжком, рывком, стремительно возносясь, плавно скользя, разрывая, взрезая, пронизывая воздух, обратив лицо к солнцу, к луне и звездам, они понесутся над Атлантикой и Средиземным морем, над полями, пустынями, селеньями и городами; в безмолвии газа, в шелесте перьев, в звоне и дрожи туго обтянутого тканью легкого каркаса, в грохоте, напоминающем извержение вулкана, в приглушенном торопливом рокоте — порыв, миг потрясения, колебания, а потом все выше, упрямо, неодолимо, вольно, чудесно, и каждый засмеется и во весь голос крикнет свое имя. Или другие имена — тех, кто еще не родился, или тех, что давно умерли, тех, кого подхватил и унес ветер, пьянящий, как вино, или соленый морской ветер, или безмолвный ветер, плененный в аэростате, или ветер, рожденный химическим пламенем. И каждый чувствует, как прорастают из плоти крылья, и раскрываются за плечами, и шумят, сверкая ярким оперением. И каждый оставляет за собою эхо полета, и отзвук, подхваченный всеми ветрами, опять и опять обегает земной шар, и в иные времена его услышат их сыновья и сыновья сыновей, во сне внемля тревожному полуночному небу.

Ввысь и еще ввысь, выше, выше! Весенний разлив, летний поток, нескончаемая река крыльев!

Негромко прозвенел звонок.

— Сейчас,— прошептал он,— сейчас я проснусь. Еще минуту...

Эгейское море за окном скользнуло прочь; пески Атлантического побережья, равнины Франции обернулись пустыней Нью-Мехико. В комнате, возле его детской постели, не всколыхнулись перья, скрепленные золотым воском. За окном не качается наполненная жарким ветром серебристая груша, не позванивает на ветру машина-бабочка с тугими перепончатыми крыльями. Там, за окном, только ракета — мечта, готовая воспламениться,— ждет одного прикосновения его руки, чтобы взлететь.

В последний миг сна кто-то спросил его имя.

Он ответил спокойно то, что слышал все эти часы, начиная с полуночи:

— Икар Монгольфье Райт.

Он повторил это медленно, внятно — пусть тот, кто спросил, запомнит порядок, и не перепутает, и запишет все до последней неправдоподобной буквы:

— Икар Монгольфье Райт.

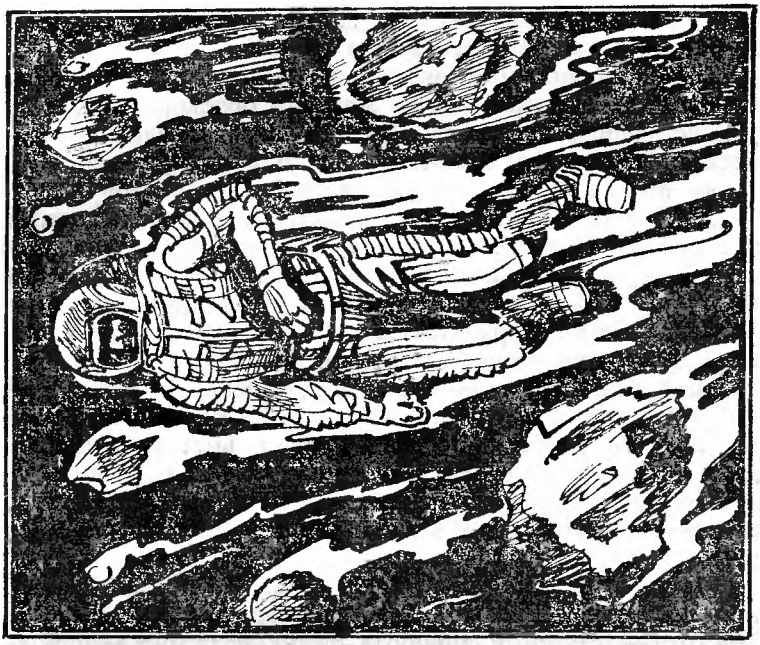
Родился — за девятьсот лет до рождества Христова. Начальную школу окончил в Париже в 1783-м. Средняя школа, колледж — «Китти Хоук», 1903. Окончил курс Земли, переведен на Луну с божьей помощью сего дня, 1 августа 1970-го. Умер и похоронен, если посчастливится, на Марсе, в лето 1999-е нашей эры.

Вот теперь можно и проснуться.

Немногие минуты спустя он шагал через пустынное летное поле и вдруг услышал — кто-то зовет, окликает опять и опять.

Он не мог понять, был ли кто-то позади или никого там не было. Один ли голос звал или многие голоса, молодые или старые, вблизи или издалека, нарастал ли зов или стихал, шептал или громко повторял все три его славных новых имени,— этого он тоже не знал. И не оглянулся.

Ибо поднимался ветер — и он дал ветру набрать силу, и подхватить его, и пронести дальше, через пустыню, до самой ракеты, что ждала его там, впереди.



КАЛЕЙДОСКОП

Ракету тряхнуло, и она разверзлась, точно бок ей вспорол гигантский консервный нож. Люди, выброшенные наружу, бились в пустоте десятком серебристых рыбешек. Их разметало в море тьмы, а корабль, разбитый вдребезги, продолжал свой путь — миллион осколков, стая метеоритов, устремившаяся на поиски безвозвратно потерянного Солнца.

— Баркли, где ты, Баркли?

Голоса перекликались, как дети, что заблудились в холодную зимнюю ночь.

— Вуд! Вуд!

— Капитан!

— Холлис, Холлис, это я, Стоун!

— Стоун, это я, Холлис! Где ты?

— Не знаю. Откуда мне знать? Где верх, где низ? Я падаю. Боже милостивый, я падаю!

Они падали. Падали, словно камешки в колодец. Словно их разметало одним мощным броском. Они были уже не люди, только голоса — очень разные голоса, бестелесные, трепетные, полные ужаса или покорности.

— Мы разлетаемся в разные стороны.

Да, правда. Холлис, летя кувырком в пустоте, понял: это правда. Понял и как-то отупело смирился. Они расстаются, у каждого своя дорога, и ничто уже не соединит их вновь. Все они в герметических скафандрах, бледные лица закрыты прозрачными шлемами, но никто не успел нацепить энергоприбор. С энергоприбором за плечами каждый стал бы в пространстве маленькой спасательной шлюпкой, тогда можно бы спастись самому и прийти на помощь другим, собраться всем вместе, отыскать друг друга; они стали бы человеческим островком и что-нибудь придумали бы. А так они просто метеориты, и каждый бессмысленно несется навстречу своей неотвратимой судьбе.

Прошло, должно быть, минут десять, пока утих первый приступ ужаса и всех сковало оцепенелое спокойствие. Пустота — огромный мрачный ткацкий станок — принялась ткать странные нити, голоса сходились, расходились, перекрещивались, определялся четкий узор.

— Холлис, я — Стоун. Сколько времени мы сможем переговариваться по радио?

— Смотря с какой скоростью ты летишь в свою сторону, а я в свою. Думаю, еще с час.

— Да, пожалуй,— бесстрастно, отрешенно отозвался Стоун.— А что произошло? — спросил он минуту спустя.

— Наша ракета взорвалась, только и всего. С ракетами это бывает.

— Ты в какую сторону летишь?

— Похоже, врежусь в Луну.

— А я в Землю. Возвращаюсь к матушке-Земле со скоростью десять тысяч миль в час. Сгорю, как спичка.

Холлис подумал об этом с поразительной отрешенностью. Будто отделился от собственного тела и смотрел, как оно падает, падает в пустоте, смотрел равнодушно, со стороны, как когда-то, в незапамятные времена, зимой — на первые падающие снежинки.

...Остальные молчали и думали о том, что с ними случилось, и падали, падали — и ничего не могли изменить. Даже капитан притих, ибо не знал такой команды, такого плана действий, что могли бы исправить случившееся.

— Ох, как далеко падать! Как далеко падать, далеко, далеко...— раздался чей-то голос.— Я не хочу умирать, не хочу умирать, как далеко падать...

— Кто это?

— Не знаю.

— Наверно, Стимсон. Стимсон, ты?

— Далеко, далеко, не хочу я так. Ох, Господи, не хочу я так!

— Стимсон, это я, Холлис. Стимсон, ты меня слышишь?

Молчание, они падают поодиночке, кто куда.

— Стимсон!

— Да?

Наконец-то отозвался.

— Не расстраивайся, Стимсон. Все мы одинаково влипли.

— Не нравится мне тут. Я хочу отсюда выбраться.

— Может, нас еще найдут.

— Пускай меня найдут, пускай найдут,— сказал Стимсон.— Неправда, не верю, не могло такое случиться.

— Ну да, это просто дурной сон,— вставил кто-то.

— Заткнись! — сказал Холлис.

— Поди сюда и заткни мне глотку,— предложил тот же голос. Это был Эплгейт. Он засмеялся — даже весело, как ни в чем не бывало: — Поди-ка заткни мне глотку!

И Холлис впервые ощутил, как невообразимо он бессилен. Слепая ярость переполняла его, больше всего на свете хотелось добраться до Эплгейта. Многие годы мечтал он до него добраться, и вот слишком поздно. Теперь Эплгейт — лишь голос в шлемофоне.

Падаешь, падаешь, падаешь...

И вдруг, словно только теперь им открылся весь ужас случившегося, двое из уносящихся в пространство разразились отчаянным воплем. Как в кошмаре, Холлис увидел: один проплывает совсем рядом и вопит, вопит...

— Перестань!

Казалось, до кричащего можно дотянуться рукой, он исходил безумным, нечеловеческим криком. Никогда он не перестанет. Этот вопль будет доноситься за миллионы миль, сколько достигают радиоволны, и всем вымотает душу, и они не смогут переговариваться между собой.

Холлис протянул руки. Так будет лучше. Еще одно усилие — и он коснулся кричащего. Ухватил за щиколотку, подтянулся, вот они уже лицом к лицу. Тот вопит, цепляется за него бессмысленно и дико, точно утопающий. Безумный вопль заполняет Вселенную.

«Так ли, эдак ли,— думает Холлис,— все равно его убьет Луна, либо Земля, либо метеориты. Так почему бы не сейчас?»

Он обрушил железный кулак на прозрачный шлем безумного. Вопль оборвался. Холлис отталкивается от трупа — и тот, кружась, улетает прочь и падает.

И Холлис падает, падает в пустоту, и остальные тоже уносятся в долгом вихре нескончаемого, безмолвного падения.

— Холлис, ты еще жив?

Холлис не откликается, но лицо его обдает жаром.

— Это опять я, Эплгейт.

— Слышу.

— Давай поговорим. Все равно делать нечего.

Его перебивает капитан:

— Довольно болтать. Надо подумать, как быть дальше.

— А может, вы заткнетесь, капитан? — спрашивает Эплгейт.

— Что-о?

— Вы отлично меня слышали, капитан. Не стращайте меня своим чином и званием, вы теперь от меня за десять тысяч миль, и нечего комедию ломать. Как выражается Стимсон, нам далеко падать.

— Послушайте, Эплгейт!

— Отвяжись ты. Я поднимаю бунт. Мне терять нечего, черт возьми. Корабль у тебя был никудышный, и капитан ты был никудышный, и желаю тебе врезаться в Луну и сломать себе шею.

— Приказываю вам замолчать.

— Валяй приказывай.— За десять тысяч миль Эплгейт усмехнулся. Капитан молчал.— О чем бишь мы толковали,

Холлис?— продолжал Эплгейт.— А, да, вспомнил. Тебя я тоже ненавижу. Да ты и сам это знаешь. Давным-давно знаешь.

Холлис беспомощно сжал кулаки.

— Сейчас я тебе кое-что расскажу. Можешь радоваться. Это я тебя провалил, когда ты пять лет назад добивался места в Ракетной компании.

Рядом сверкнул метеорит. Холлис опустил глаза — кисть левой руки срезало, как ножом. Хлещет кровь. Из скафандра мигом улетучился воздух. Но, задержав дыхание, он правой рукой затянул застежку у локтя левой, перехватил рукав и восстановил герметичность. Все случилось мгновенно, он и удивиться не успел. Его уже ничто не могло удивить. Течь остановлена, скафандр тотчас опять наполнился воздухом. Холлис перетянул рукав еще туже, как жгутом, и кровь, только что хлеставшая, точно из шланга, остановилась.

За эти страшные секунды с губ его не сорвалось ни звука. А остальные все время переговаривались. Один — Леспир — болтал без умолку: у него, мол, на Марсе жена, а на Венере другая, и еще на Юпитере жена, и денег куры не клюют, и здорово он на своем веку повеселился — пил, играл, жил в свое удовольствие. Они падали, а он все трещал и трещал языком. Падал навстречу смерти и предавался воспоминаниям о прошлых счастливых днях.

Так странно все. Пустота, тысячи миль пустоты, а в самой ее сердцевине трепещут голоса. Никого не видно, ни души, только радиоволны дрожат, колеблются, пытаясь взволновать и людей.

— Злишься, Холлис?

— Нет.

И правда, он не злился. Им опять овладело равнодушие, он был точно бесчувственный камень, нескончаемо падающий в ничто.

— Ты всю жизнь старался выдвинуться, Холлис. И не понимал, почему тебе вечно не везет. А это я внес тебя в черный список, перед тем как меня самого вышвырнули за дверь.

— Это все равно,— сказал Холлис.

Ему и правда стало все равно. Все это позади. Когда

жизнь кончена, она словно яркий фильм, промелькнувший на экране,— все предрассудки, все страсти вспыхнули на миг перед глазами, и не успеешь крикнуть: «Вот был счастливый день, а вот несчастный, вот милое лицо, а вот ненавистное», как пленка уже сгорела дотла и экран погас.

Жизнь осталась позади, и, оглядываясь назад, он жалел только об одном: еще хотелось жить и жить. Неужто перед смертью со всеми так: умираешь, а кажется, будто и не жил? Неужто жизнь так коротка — вздохнуть не успел, а уже все кончено? Неужто всем она кажется такой немыслимо краткой? Или только ему здесь, в пустоте, когда считанные часы остались на то, чтобы все продумать и осмыслить?

А Леспир знай болтает свое:

— Что ж, я пожил на славу: на Марсе жена, и на Венсре жена, и на Юпитере. И у всех у них были деньги, и все уж так меня ублажали. Пил я сколько хотел, а один раз проиграл в карты двадцать тысяч долларов.

«А сейчас ты влип,— думает Холлис.— Вот у меня ничего этого не было. Пока я был жив, я тебе завидовал, Леспир. Пока у меня было что-то впереди, я завидовал твоим любовным похождениям и твоему веселому житью. Женщины меня пугали, и я сбежал в космос, но все время думал о женщинах и завидовал, что у тебя их много и денег много и живешь ты бесшабашно и весело. А сейчас все кончено, и мы падаем, и я больше не завидую, ведь и для тебя сейчас все кончено, будто ничего и не было».

Холлис вытянул шею и закричал в микрофон:

— Все кончено, Леспир!

Молчание.

— Будто ничего и не было, Леспир!

— Кто это? — дрогнувшим голосом спросил Леспир.

— Это я, Холлис.

Он поступал подло. Он чувствовал, что это подло, бессмысленно и подло — умирать. Эплгейт сделал ему больно, теперь хочется сделать больно другому. Эплгейт и пустота — оба жестоко ранили его.

— Ты влип, как все мы, Леспир. Все кончено. Как будто никакой жизни и не было, верно?

— Неправда.

— Когда все кончено — это все равно как если б

ничего и не было. Чем сейчас твоя жизнь лучше моей? Сейчас, сию минуту,— вот что важно. А сейчас тебе разве лучше, чем мне? Лучше, а?

— Да, лучше.

— Чем это?

— А вот тем! Мне есть что вспомнить! — сердито крикнул издалека Леспир, обеими руками цепляясь за милые сердцу воспоминания.

И он был прав. Холлиса точно ледяной водой окатило, и он понял: Леспир прав. Воспоминания и мечты — совсем не одно и то же. Он всегда только мечтал, только хотел всего, чего Леспир добился и о чем теперь вспоминает. Да, так. Мысль эта терзала неторопливо, безжалостно, резала по самому больному месту.

— Ну а сейчас, сейчас что тебе от этого за радость? — крикнул он Леспиру.— Если что прошло и кончено, какая от этого радость? Тебе сейчас не лучше, чем мне.

— Я помираю спокойно,— отозвался Леспир.— Был и на моей улице праздник. Я не стал перед смертью подлецом, как ты.

— Подлецом? — повторил Холлис, будто пробуя это слово на вкус.

Сколько он себя помнил, никогда в жизни ему не случалось сделать подлость. Он просто не смел. Должно быть, всё, что было в нем подлого и низкого, копилось впрок для такого вот часа. «Подлец» — он загнал это слово в самый дальний угол сознания. Слезы навернулись на глаза, покатились по щекам. Наверно, кто-то услыхал, как у него захватило дух.

— Не расстраивайся, Холлис.

Конечно, это просто смешно. Всего лишь несколько минут назад он давал советы другим, Стимсону; он казался себе самым настоящим храбрецом, а выходит, никакое это не мужество, просто он оцепенел — так бывает от сильного потрясения, от шока. А вот теперь он пытается в короткие оставшиеся минуты втиснуть волнение, которое подавлял в себе всю жизнь.

— Я понимаю, каково тебе, Холлис, — слабо донесся голос Леспира. Теперь их разделяло уже двадцать тысяч миль.— Я на тебя не в обиде.

«Но разве мы с Леспиром не равны? — спрашивал себя Холлис.— Здесь, сейчас — разве у нас не одна судьба? Что

прошло, то кончено раз и навсегда — и какая от него радость? Так и так помирать».

Но он и сам понимал, что рассуждения эти пустопорожние, будто стараешься определить, в чем разница между живым человеком и покойником. В одном есть какая-то искра, что-то таинственное, неуловимое, а в другом — нет.

Вот и Леспир не такой, как он: Леспир жил полной жизнью — и сейчас он совсем другой, а сам он, Холлис, уже долгие годы все равно что мертвый. Они шли к смерти разными дорогами, и если смерть не для всех одинакова, то, надо думать, его смерть и смерть Леспира будут совсем разные, точно день и ночь. Видно, умирать, как и жить, можно на тысячу ладов, и если ты однажды уже умер, что хорошего можно ждать от последней и окончательной смерти?

А через секунду ему срезало правую ступню. Он чуть не расхохотался. Из скафандра опять вышел весь воздух. Холлис быстро наклонился — хлестала кровь, метеорит оторвал ногу и костюм по щиколотку. Да, забавная это штука — смерть в межпланетном пространстве. Она рубит тебя в куски, точно невидимый злобный мясник. Холлис туго завернул клапан у колена, от боли кружилась голова, он силился не потерять сознание; наконец-то клапан завернут до отказа, кровь остановилась, воздух опять наполнил скафандр; и он выпрямился и снова падает, падает, ему только это и остается — падать.

— Эй, Холлис!

Холлис сонно кивнул, он уже устал ждать.

— Это опять я, Эплгейт,— сказал тот же голос.

— Ну?

— Я тут поразмыслил. Послушал, что ты говоришь. Нехорошо все это. Мы становимся скверные. Скверно так помирать. Срываешь зло на других. Ты меня слушаешь, Холлис?

— Да.

— Я соврал тебе раньше. Соврал. Ничего я тебя не проваливал. Сам не знаю, почему я это ляпнул. Наверно, чтоб тебе досадить. Что-то в тебе есть такое, всегда хотелось тебе досадить. Мы ведь всегда не ладили. Наверно, это я так быстро старею, вот и спешу покаяться. Слушал я, как подло ты говорил с Леспиром, и стыдно мне, что ли, стало. В общем, неважно, только ты знай, я тоже валял

дурака. Все, что я раньше наболтал, сплошное вранье. И катись к чертям.

Холлис почувствовал, что сердце его снова забилось. Кажется, долгих пять минут оно не билось вовсе, а сейчас опять кровь побежала по жилам. Первое потрясение миновало, а теперь откатывались и волны гнева, ужаса, одиночества. Будто вышел поутру из-под холодного душа, готовый позавтракать и начать новый день.

— Спасибо, Эплгейт.

— Не стоит благодарности. Не вешай носа, сукин ты сын!

— Эй! — Голос Стоуна.

— Это ты? — на всю Вселенную заорал Холлис.

Стоун — один из всех — настоящий друг!

— Меня занесло в метеоритный рой, тут куча мелких астероидов.

— Что за метеориты?

— Думаю, группы Мирмидонян, они проходят мимо Марса к Земле раз в пять лет. Я угодил в самую середку. Похоже на большущий калейдоскоп. Металлические осколки всех цветов, самой разной формы и величины. Ох и красота же!

Молчание.

Потом опять голос Стоуна:

— Лечу с ними. Они меня утащили. Ах, черт меня подери!

Он засмеялся.

Холлис напрягал зрение, но так ничего и не увидел. Только огромные алмазы, и сапфиры, и изумрудные туманы, и чернильный бархат пустоты, и среди хрустальных искр слышится голос Бога. Как странно, поразительно представить себе: вот Стоун летит с метеоритным роем прочь, за орбиту Марса, летит годами, и каждые пять лет возвращается к Земле, мелькнет на земном небосклоне и вновь исчезнет, и так сотни и миллионы лет. Без конца, во веки веков Стоун и рой Мирмидонян будут лететь, образуя все новые и новые узоры, точно пестрые стеклышки в калейдоскопе, которыми любовался мальчонкой, глядя на Солнце, опять и опять встряхивая картонную трубку.

— До скорого, Холлис, — чуть слышно донесся голос Стоуна.— До скорого!

— Счастливо! — за тридцать тысяч миль крикнул Холлис.

— Не смеши,— сказал Стоун и исчез.

Звезды сомкнулись вокруг.

Теперь все голоса угасали, каждый уносился все дальше по своей кривой — одни к Марсу, другие за пределы Солнечной системы. А он, Холлис... Он поглядел себе под ноги. Из всех только он один возвращается на Землю.

— До скорого!

— Не расстраивайся!

— До скорого, Холлис...— Голос Эплгейта.

Еще и еще прощания. Короткие, без лишних слов. И вот огромный мозг, не замкнутый больше в единстве, распадается на части.

Все они так слаженно, с таким блеском работали, пока их объединяла черепная коробка пронизывающей пространство ракеты, а теперь один за другим они умирают; разрушается смысл их общего бытия. И как живое существо погибает, едва выйдет из строя мозг, так теперь погибал самый дух корабля, и долгие дни, прожитые бок о бок, и все, что люди значили друг для друга. Эплгейт теперь всего лишь оторванный от тела палец, уже незачем его презирать, противиться ему. Мозг взорвался — и бессмысленные, бесполезные обломки разлетелись во все стороны. Голоса замерли, и вот пустота нема. Холлис один, он падает.

Каждый остался один. Голоса их сгинули, как будто Бог обронил несколько слов — и недолгое эхо дрогнуло и затерялось в звездной бездне. Вот капитан уносится к Луне; вот Стоун среди роя метеоритов; а там Стимсон; а там Эплгейт улетает к Плутону; и Смит, Тёрнер, Андервуд, и все остальные — стеклышки калейдоскопа, они так долго складывались в переменчивый мыслящий узор, а теперь их раскидало всех врозь, поодиночке.

А я? — думает Холлис.— Что мне делать? Как, чем теперь искупить ужасную, пустую жизнь? Хоть одним добрым делом искупить бы свою подлость, она столько лет во мне копилась, а я и не подозревал! Но теперь никого нет рядом, я один — что можно сделать хорошего, когда ты совсем один? Ничего не сделаешь. А завтра вечером я врежусь в земную атмосферу.

И сгорю,— подумал он,— и развеюсь прахом над всеми

материками. Вот и польза от меня. Самая малость, а все-таки прах есть, и он соединится с Землей.

Он падал стремительно, точно пуля, точно камешек, точно гирька, спокойный теперь, совсем спокойный, не ощущая ни печали, ни радости — ничего; только одного ему хотелось: сделать бы что-нибудь хорошее теперь, когда все кончено, сделать хоть что-то хорошее и знать: я это сделал. Когда я врежусь в воздух, я вспыхну, как метеор.

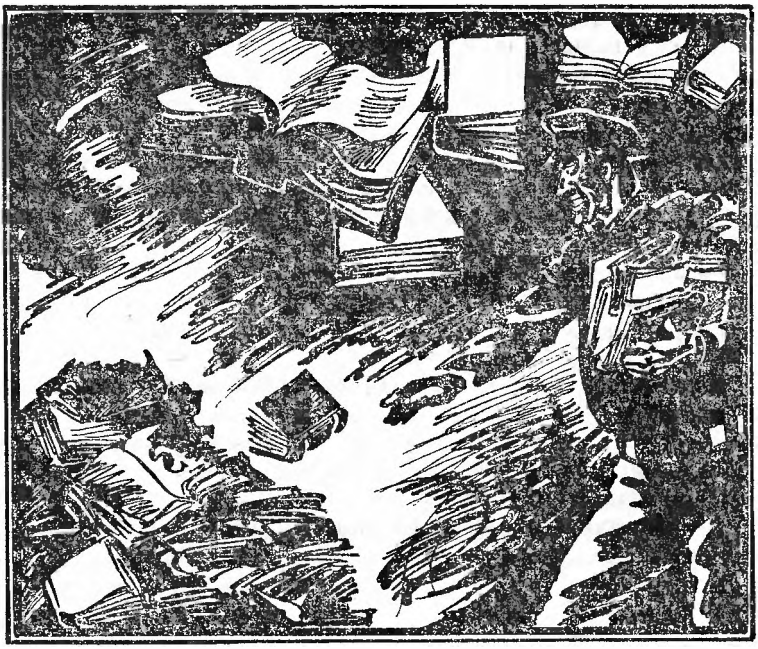
— Хотел бы я знать,— сказал он вслух,— увидит меня кто-нибудь?

Маленький мальчик на проселочной дороге поднял голову и закричал:

— Мама, смотри, смотри! Падучая звезда!

Ослепительно яркая звезда прочертила небо и канула в сумерки над Иллинойсом.

— Загадай желание,— сказала мать.— Загадай скорее желание!



ЛУЧЕЗАРНЫЙ ФЕНИКС

Однажды в апреле две тысячи двадцать второго тяжелая дверь библиотеки оглушительно хлопнула. Грянул гром.

Ну вот,— подумал я.

У подножия лестницы, подняв свирепые глаза к моему столу, в мундире Объединенного легиона (мундир теперь сидел на нем отнюдь не так ловко, как двадцать лет назад) возник Джонатан Барнс.

Хоть он и храбрился, но мгновенье помешкал, и я вспомнил десять тысяч речей, которые он извергал, как фонтан, на митингах ветеранов, и несчетные парады под развернутыми знаменами, где он гонял нас до седьмого пота, и патриотические обеды с застывшими в жиру цыплятами под зеленым горошком — обеды, которые он

поистине сам стряпал,— все мертворожденные кампании, которые затевал сей рьяный политикан.

И вот Джонатан Барнс топает вверх по парадной лестнице и до скрипа давит на каждую ступеньку всем своим весом, всей мощью и только что обретенной властью. Но должно быть, эхо тяжких шагов, отброшенное высокими сводами, ошеломило даже его самого и напомнило о кое-каких правилах приличия, ибо, подойдя к моему столу и жарко дохнув мне в лицо перегаром, заговорил он все же шепотом:

— Я пришел за книгами, Том.

Я небрежно повернулся, заглянул в картотеку.

— Когда они будут готовы, мы вас известим.

— Погоди,— сказал он.— Постой...

— Ты хочешь забрать все книги, пожертвованные в Фонд ветеранов для раздачи в госпитале?

— Нет, нет! — крикнул он.— Я заберу *все* книги.

Я посмотрел на него в упор.

— Ну, *почти* все,— поправился он.

— Почти все? — Я мельком глянул на него, наклонился и стал перебирать карточки.— В одни руки за один раз выдается не больше десяти. Сейчас посмотрим. А-а, вот. Позволь, да ведь срок твоего абонемента истек тридцать лет назад, ты его не возобновлял с тех пор, как тебе минуло двадцать. Видишь? — Я поднял карточку и показал ему.

Барнс оперся обеими руками о мой стол и навис над ним всей своей громадой.

— Я вижу, ты оказываешь сопротивление! — Лицо его наливалось кровью, дыхание становилось шумным и хриплым.— *Мне* для *моей* работы никакие карточки не нужны!

Он прохрипел это так громко, что мириады белых страниц перестали трепетать мотыльковыми крыльями под зелеными абажурами в просторных мраморных залах. Несколько книг еле слышно захлопнулись.

Читатели подняли головы, обратили к нам отрешенные лица. Таково было время и самый здешний воздух, что все смотрели глазами антилопы, молящей, чтобы вернулась тишина, ведь она непременно возвращается, когда тигр приходит напиться к роднику и вновь уходит, а здесь, конечно же, утоляли жажду у излюбленного родника. Я смотрел на поднятые от книг кроткие лица и думал про

все сорок лет, что я жил, работал, даже спал здесь, среди потаенных жизней и хранимых бумажными листами безмолвных людей, созданных воображением. Сейчас, как всегда, моя библиотека мне казалась прохладной пещерой, а быть может, вечно молодым и растущим лесом, где укрываешься на час от дневного зноя и лихорадочной суеты, чтобы освежиться телом и омыться духом при свете, смягченном зелеными, как трава, абажурами, под шорох ветерков, возникающих, когда опять и опять листаются светлые, нежные страницы. Тогда мысли вновь становятся ясней и отчетливей, тело — раскованней, и снова находишь силы выйти в пекло действительности, в полуденный зной, навстречу уличной сутолоке, неправдоподобной старости, неизбежной смерти. У меня на глазах тысячи изголодавшихся еле добирались сюда в изнеможении и уходили насытясь. Я видел, как те, кто себя потерял, вновь обретали себя. Я знавал трезвых реалистов, которые здесь предавались мечтам, и мечтателей, что пробуждались в этом мраморном убежище, где закладкой в каждой книге была тишина.

— Да,— сказал я наконец.— Но записаться заново — минутное дело. Вот, заполни новую карточку. Найди двух надежных поручителей...

— Чтобы жечь книги, мне поручители ни к чему! — сказал Барнс.

— Напротив,— сказал я,— для этого тебе еще много чего нужно.

— Мои люди — вот мои поручители. Они ждут книг на улице. Они опасны.

— Такие люди всегда опасны.

— Да нет же, болван, я про книги. Книги — вот что опасно. Каждая дудит в свою дуду. Путаница, разнобой, ни черта не поймешь. Сплошной треп и сопли-вопли. Нет, мы это все обстрогаем. Чтоб все просто и ясно и никаких загогулин. Нам надо...

— Надо это обсудить,— сказал я и прихватил под мышку томик Демосфена.— Мне пора обедать. Будь добр, составь компанию...

Я был уже на полпути к двери, но тут Барнс, который сперва только вытаращил глаза, вдруг вспомнил про серебряный свисток, висевший у него на груди, ткнул его в свой слюнявый рот и пронзительно свистнул.

Двери с улицы распахнулись настежь. Вверх по лестнице громыхающим потоком хлынули люди в угольно-черной форме.

Я негромко их окликнул.

Они удивленно остановились.

— Тише,— сказал я.

Барнс схватил меня за плечо:

— Ты что, сопротивляешься закону?

— Нет,— сказал я.— Я даже не стану спрашивать у тебя ордер на это вторжение. Я хочу только, чтобы вы соблюдали тишину.

Услыхав грохот шагов, читатели вскочили. Я слегка помахал рукой. Все опять уселись и уже не поднимали глаз, зато люди, втиснутые в черную, перепачканную сажей форму пялили на меня глаза, словно не могли поверить моим предупреждениям. Барнс кивнул. И они тихонько, на цыпочках двинулись по просторным залам библиотеки. С величайшей осторожностью, всячески стараясь не шуметь, подняли оконные рамы. Неслышно ступая, переговариваясь шепотом, снимали книги с полок и швыряли вниз, в вечереющий двор. То и дело они злобно косились на тех, кто по-прежнему невозмутимо перелистывал страницы, однако не пытались вырвать книги у них из рук и лишь продолжали опустошать полки.

— Хорошо,— сказал я.

— Хорошо? — переспросил Барнс.

— Твои люди справляются и без тебя. Можешь позволить себе маленькую передышку.

И я вышел в сумерки таким быстрым шагом, что Барнсу, которого распирало от незаданных вопросов, оставалось только поспевать за мной. Мы пересекли зеленую лужайку, здесь уже разинула жадную пасть огромная походная Адская топка — приземистая, обмазанная смолой черная печь, из которой рвались красно-рыжие и пронзительно-синие языки огня; а из окон библиотеки неслись драгоценные стаи вольных птиц, наши дикие голуби взмывали в безумном полете и падали наземь с перебитыми крыльями; люди Барнса обливали их керосином, сгребали лопатами и совали в алчное жерло. Мы прошли мимо этой разрушительной, хоть и красочной техники, и Джонатан Барнс озадаченно заметил:

— Забавно. Такое дело, должен бы собраться народ... А народу нет. Отчего это, по-твоему?

Я пошел прочь. Ему пришлось догонять меня бегом.

В маленьком кафе через дорогу мы заняли столик, и Джонатан Барнс (он и сам не мог бы объяснить, почему злится) закричал:

— Поживей там! Меня ждет работа!

Подошел Уолтер, хозяин, с потрепанным меню в руках. Поглядел на меня. Я ему подмигнул.

Уолтер поглядел на Барнса.

— «Приди ко мне, о мой любимый, с тобой все радости вкусим мы»,— сказал Уолтер.

Барнс захлопал глазами:

— Что такое?

— «Зови меня Измаилом»,— сказал Уолтер.

— Для начала дай нам кофе, Измаил,— сказал я.

Уолтер пошел и принес кофе.

— «Тигр, о тигр, светло горящий в глубине полночной чащи!» — сказал он и преспокойно пошел прочь.

Барнс круглыми глазами посмотрел ему вслед.

— Чего это он? Чокнутый, что ли?

— Нет,— сказал я.— Так ты договори, что начал в библиотеке. Объясни.

— Объяснить? — повторил Барнс.— До чего ж вы все обожаете рассуждать! Ладно, объясню. Это грандиозный эксперимент. Взяли город на пробу. Если удастся сжечь здесь, так удастся повсюду. И мы не всё подряд жжем, ничего подобного. Ты заметил? Мои люди очищают только некоторые полки, некоторые отделы. Мы выпотрошим примерно сорок девять процентов и две десятых. И потом доложим о наших успехах Высшей правительственной комиссии...

— Великолепно,— сказал я.

Барнс уставился на меня:

— С чего это ты радуешься?

— Для всякой библиотеки головоломная задача — где разместить книги,— сказал я.— А ты мне помог ее решить.

— Я думал, ты... испугаешься.

— Я весь век прожил среди Мусорщиков.

— Как ты сказал?!

— Жечь — значит жечь. Кто этим занимается, тот Мусорщик.

— Я Главный Блюститель города Гринтауна, штат Иллинойс, черт подери!

Появилось новое лицо — официант с дымящимся кофейником.

— Привет, Китс,— сказал я.

— «Пора туманов, зрелости полей»,— отозвался официант.

— Китс? — переспросил Главный Блюститель.— Его фамилия не Китс.

— Как глупо с моей стороны,— сказал я.— Это же греческий ресторан. Верно, Платон?

Официант налил мне еще кофе.

— «У народов всегда находится какой-нибудь герой, которого они поднимают над собою и возводят в великие... Таков единственный корень, из коего произрастает тиран; вначале же он предстает как защитник».

Барнс подался вперед и подозрительно поглядел на официанта, но тот не шелохнулся. Тогда Барнс принялся усердно дуть на кофе.

— Я так считаю, наш план прост, как дважды два,— сказал он.

— «Я еще не встречал математика, способного рассуждать здраво»,— промолвил официант.

— К чертям! — Со стуком Барнс отставил чашку.— Никакого покоя нет! Убирайся отсюда, пока мы не поели, как тебя — Китс, Платон, Холдридж... Ага, вспомнил! Холдридж — вот как твоя фамилия!.. А что еще он тут болтал?

— Так,— сказал я.— Фантазия. Просто выдумки.

— К чертям фантазию, к дьяволу выдумки, можешь есть один, я ухожу, хватит с меня этого сумасшедшего дома!

И он залпом допил кофе, официант и хозяин смотрели, как он пьет, и я тоже смотрел, а напротив, через дорогу, в чреве чудовищной топки полыхало неистовое пламя. Мы молчали, только смотрели, и под нашими взглядами Барнс наконец застыл с чашкой в руке, по его подбородку стекали капли кофе.

— Ну чего вы? Почему не подняли крик? Почему не деретесь со мной?

— А я дерусь,— сказал я и взял томик Демосфена. Вырвал страницу, показал Барнсу имя автора, свернул

листок наподобие лучшей гаванской сигары, зажег, пустил струю дыма и сказал: — «Если даже человек избегнул всех других опасностей, никогда ему не избежать всецело людей, которые не желают, чтобы жили на свете подобные ему».

Барнс с воплем вскочил, и вот в мгновение ока сигара выхвачена у меня изо рта и растоптана, и Главный Блюститель уже за дверью.

Мне оставалось только последовать за ним.

На тротуаре он столкнулся со стариком, который собирался войти в кафе. Старик едва не упал. Я поддержал его под руку.

— Здравствуйте, профессор Эйнштейн,— сказал я.

— Здравствуйте, мистер Шекспир,— отозвался он.

Барнс сбежал.

Я нашел его на лужайке подле старинного прекрасного здания нашей библиотеки; черные люди, от которых при каждом движении исходил керосиновый дух, все еще собирали здесь обильную жатву: лужайку устилали подстреленные на лету книги-голуби, умирающие книги-фазаны, щедрое осеннее золото и серебро, осыпавшееся с высоких окон. Но... их собирали без шума. И пока длилась эта тихая, почти безмятежная пантомима, Барнс исходил беззвучным воплем; он стиснул этот вопль зубами, зажал губами, языком, затолкал за щеки, вбил себе поглубже в глотку, чтобы никто не услышал. Но вопль рвался вспышками из его бешеных глаз, копился в узловатых кулаках — дадут ли наконец разрядиться? — прорывался краской в лицо, и оно поминутно бледнело и вновь багровело, когда он бросал свирепые взгляды то на меня, но на кафе, на проклятого хозяина и наводящего ужас официанта, который в ответ приветливо махнул ему рукой. Огненное идолище, урча, пожирало свою пищу и пятнало гаснущими искрами лужайку. Барнс не мигая глядел прямо в это слепое желто-красное солнце, в ненасытную утробу чудовища.

— Послушайте, вы! — непринужденно окликнул я, и люди в черном приостановились.— По распоряжению муниципалитета библиотека закрывается ровно в девять. Попрошу к этому времени кончить. Мне не хотелось

бы нарушать закон... Добрый вечер, мистер Линкольн.

— «Восемьдесят семь лет...»[1] — сказал, проходя, тот, к кому я обращался.

— Линкольн? — Главный Блюститель медленно обернулся.— Это Боумен, Чарли Боумен. Я тебя знаю, Чарли, поди сюда! Чарли! Чак!

Но тот уже скрылся из виду; в печи пылали всё новые книги; мимо проезжали машины, порой кто-нибудь меня окликал, и я отзывался; и звучало ли «мистер По» или просто «привет» или какой-нибудь хмурый маленький иностранец оборачивался, к примеру, на имя Фрейд — всякий раз, как я весело окликал их и они отвечали, Барнса передергивало, будто еще одна стрела глубоко вонзалась в эту трясущуюся тушу и он медленно умирал, втайне истекая огнем и безысходной злостью. А толпа так и не собралась, никого не привлекла необычная суматоха.

Внезапно, без всякой видимой причины, Барнс крепко зажмурился, разинул рот, набрал побольше воздуха и заорал:

— Стойте!

Люди в черном перестали швырять книги из окна.

— Но ведь закрывать еще рано,— сказал я.

— Пора закрывать! Выходите все!

Глаза Джонатана Барнса зияли пустотой. Зрачки стали словно бездонные ямы. Он хватал руками воздух. Судорожно дернул ими книзу. И все оконные рамы со стуком опустились, точно нож гильотины, только стекла зазвенели.

Черные люди в совершенном недоумении вышли из библиотеки.

— Вот, Главный Блюститель,— сказал я и протянул ему ключ; он не хотел брать, и я насильно сунул ключ ему в руку.— Приходите опять завтра с утра, соблюдайте тишину и заканчивайте свое дело.

Глаза Главного Блюстителя, пустые, словно пробитые пулями дыры, шарили вокруг и не видели меня.

— И давно... давно это тянется?

---

[1] Из речи Линкольна в Геттисберге 19 ноября 1863 года: «Восемьдесят семь лет тому назад наши отцы основали на этом континенте новое государство, рожденное свободным и опирающимся на убеждение, что все люди созданы равными...»

— Что *это?*

— Это... и всё... и *они.*

Он тщетно пытался кивком показать на кафе, на скользящие мимо автомобили, на спокойных читателей, которые уже выходили из теплых залов библиотеки, кивали мне на прощанье и скрывались в холодном вечернем сумраке, все до единого — друзья. Его пустой взгляд, взгляд слепца, незряче пронизывал меня. С трудом зашевелился окоченелый язык:

— Может, вы все надеетесь меня провести? Меня? Меня?!

Я не ответил.

— Почем ты знаешь,— продолжал он,— может, я и людей стану жечь, не одни книги?

Я не ответил.

Я ушел и оставил его в темноте.

В зале я стал принимать последние книги у читателей, они уже расходились, ведь наступил вечер и всюду сгустились тени; огромный механический идол изрыгал клубы дыма, огонь его угасал в весенней траве, а Главный Блюститель стоял рядом, точно истукан из цемента, и не замечал, как отъезжают его люди. Внезапно он вскинул кулак. Что-то блеснуло, взлетело вверх, со звоном треснуло стекло входной двери. Барнс повернулся и зашагал вслед за походной печью, она уже тяжело катила прочь — приземистая черная погребальная урна, что тянула за собою длинные развевающиеся ленты плотного черного дыма, полосы быстро тающего траурного крепа.

Я сидел и слушал.

В дальних комнатах, налитых мягким зеленым светом, точно лесная чаща, так славно, по-осеннему шуршат листы, пронесется еле слышный вздох, мелькнет еле уловимая усмешка, слабое движение руки, блеснет кольцо, понимающе, по-беличьи зорко глянет чей-то глаз. Меж наполовину опустевших полок пройдет запоздалый путник. В невозмутимой фарфоровой белизне туалетной комнаты потекут воды к далекому тихому морю. Мои люди, мои друзья один за другим уходят из прохладных мраморных стен, от зеленых прогалин — в ночь; и эта ночь много лучше, чем мы могли надеяться.

В девять я вышел из библиотеки и подобрал брошенный ключ. Со мною вышел последний читатель, старый чело-

век; пока я запирал дверь, он глубоко вдохнул вечернюю свежесть, посмотрел на город, на почерневшую пятнами от погасших искр лужайку и спросил:

— Могут они прийти опять?

— Пускай приходят. Мы к этому готовы, не так ли?

Старик взял меня за руку.

— «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе...»[1]

Мы спустились с крыльца.

— Добрый вечер, Исайя,— сказал я.

— Спокойной ночи, мистер Сократ,— сказал он.

И в темноте каждый пошел своей дорогой.

---

[1] Ветхий Завет, кн. пророка Исайи, гл. II, ст. 6.

МАШИНА ДО КИЛИМАНДЖАРО

Я приехал на грузовике ранним-ранним утром. Гнал всю ночь. В мотеле все равно не уснуть, вот я и решил — лучше уж не останавливаться, и прикатил в горы близ Кетчума и Солнечной долины как раз к восходу солнца, и рад был, что веду машину и ни о чем больше думать недосуг.

В городок я въехал, ни разу не поглядев на ту гору. Боялся, что, если погляжу, это будет ошибка. Главное — не смотреть на могилу. По крайней мере, так мне казалось. А тут уж надо полагаться на свое чутье.

Я поставил грузовик перед старым кабачком и пошел бродить по городку. И поговорил с разными людьми, и подышал здешним воздухом, свежим и чистым. Нашел одного молодого охотника, но он был не то, что надо, я

поговорил с ним всего несколько минут и понял: не то. Потом нашел очень старого старика, но этот был не лучше. А потом я нашел охотника лет пятидесяти, и он оказался в самый раз. Он мигом понял или, может, почуял, что мне надо.

Я угостил его нивом, и мы толковали о всякой всячине, потом я спросил еще пива и понемногу подвел разговор к тому, что я тут делаю и почему хотел с ним потолковать. Мы замолчали, и я ждал, стараясь не выдать нетерпение, чтобы охотник сам завел речь о прошлом, о тех днях, три года тому назад, и о том, как бы выбрать время и съездить к Солнечной долине, и о том, видел ли он человека, который когда-то сидел здесь, в баре, и пил пиво, и говорил об охоте, и ходил отсюда на охоту,— и рассказал бы все, что знает про этого человека.

И наконец, глядя куда-то в стену так, словно то была не стена, а дорога и горы, охотник собрался с духом и негромко заговорил.

— Тот старик,— сказал он.— Да, старик на дороге. Да-да, бедняга.

Я ждал.

— Никак не могу забыть того старика на дороге,— сказал он и понурясь уставился на свое пиво.

Я отхлебнул еще из своей кружки — стало не по себе, я почувствовал, что и сам очень стар и устал.

Молчание затягивалось, тогда я достал карту здешних мест и разложил ее на дощатом столе. В баре было тихо. В эту утреннюю пору мы тут были совсем одни.

— Это здесь вы его видели чаще всего? — спросил я.

Охотник трижды коснулся карты.

— Я часто видал, как он проходил вот тут. И вон там. А тут срезáл наискосок. Бедный старикан. Я все хотел сказать ему, чтобы не ходил по дороге. Да только не хотелось его обидеть. Такого человека не станешь учить — это, мол, дорога, еще попадешь под колеса. Если уж он попадет под колеса, так тому и быть. Соображаешь, что это уж его дело, и едешь дальше. Но под конец и старый же он был...

— Да, верно,— сказал я, сложил карту и сунул в карман.

— А вы что, тоже из этих, из газетчиков? — спросил охотник.

— Из этих, да не совсем.

— Я ж не хотел валить вас с ними в одну кучу,— сказал он.

— Не стоит извиняться,— сказал я.— Скажем так: я один из его читателей.

— Ну, читателей-то у него хватало, самых разных. Я и то его читал. Вообще-то я круглый год книг в руки не беру. А его книги читал. Мне, пожалуй, больше всех мичиганские рассказы нравятся. Про рыбную ловлю. По-моему, про рыбную ловлю рассказы хороши. Я думаю, про это никто так не писал и, может, уж больше так не напишут. Конечно, про бой быков тоже написано неплохо. Но это от нас далековато. Хотя некоторым пастухам да скотоводам нравится: они-то весь век около этой животины. Бык — он бык и есть; уж верно, что здесь, что там — все едино. Один пастух, мой знакомец, в испанских рассказах старика только про быков и читал, сорок раз читал. Так он мог бы хоть сейчас туда поехать и драться с этими быками, вот честное слово.

— По-моему,— сказал я,— в молодости каждый из нас, прочитавши эти его испанские рассказы про быков, хоть раз да почувствовал, что может туда поехать и драться. Или уж, по крайней мере, пробежать рысцой впереди быков, когда их выпускают рано поутру, а в конце дорожки ждет добрая выпивка и твоя подружка с тобой на весь долгий праздник.

Я запнулся. И тихонько засмеялся. Потому что и сам не заметил, как заговорил в лад то ли речам старика, то ли его строчкам. Покачал я головой и замолчал.

— А у могилы вы уже побывали? — спросил охотник так, будто знал, что я отвечу: да, был.

— Нет,— сказал я.

Он очень удивился. Но постарался не выдать удивления.

— К могиле все ходят,— сказал он.

— К этой я не ходок.

Он пораскинул мозгами, как бы спросить повежливей.

— То есть...— сказал он.— А почему нет?

— Потому что это неправильная могила,— сказал я.

— Если вдуматься, так все могилы неправильные,— сказал он.

— Нет,— сказал я.— Есть могилы правильные и непра-

вильные, все равно как умереть можно вовремя и не вовремя.

Он согласно кивнул: я снова заговорил о вещах, в которых он разбирался или по крайней мере нюхом чуял, что тут есть правда.

— Ну, ясно,— сказал он.— Знавал я таких людей, отлично помирали. Тут всегда чувствуешь: вот это было хорошо. Знал я одного, сидел он за столом, дожидался ужина, а жена была в кухне; приходит она с миской супа, а он эдак чинно сидит за столом мертвый — и все тут. Для нее-то, конечно, худо, а для него плохо ли? Никаких болезней, ничего такого. Просто сидел, ждал ужина да так и не узнал, принесли ему ужинать, нет ли. А то еще с одним приятелем вышло. Был у него старый пес. Четырнадцати лет от роду. Дряхлый уже, почти слепой. Под конец приятель решил свезти его к ветеринару и усыпить. Усадил он старого, дряхлого, слепого пса в машину рядом с собой, на переднее сиденье. Пес разок лизнул ему руку. У приятеля аж все перевернулось внутри. Поехали. А по дороге пес без звука кончился. Так и помер на переднем сиденье, будто знал, что к чему, и выбрал способ получше, просто испустил дух — и все тут. Вы ведь про это говорите, верно?

Я кивнул.

— Стало быть, по-вашему, та могила на горе — неправильная могила для правильного человека. Так, что ли?

— Примерно так,— сказал я.

— По-вашему, для всех нас на пути есть разные могилы, что ли?

— Очень может быть,— сказал я.

— И коли мы бы могли увидать всю свою жизнь с начала до конца, всяк выбрал бы себе, которая получше? — сказал охотник.— В конце оглянешься и скажешь: «Черт подери, вот он был, подходящий год и подходящее место,— не другой, на который оно пришлось, и не другое место, а вот только тогда и только там надо было помирать». Так, что ли?

— Раз уж только и остается выбирать, не то все равно выставят вон, выходит, что так,— сказал я.

— Неплохо придумано,— сказал охотник.— Только у многих ли достало бы ума? У большинства ведь не хватает

соображения убраться с пирушки, когда выпивка на исходе. Все мы норовим засидеться подольше.

— Норовим засидеться,— подтвердил я.— Стыд и срам.

Мы спросили еще пива.

Охотник разом выпил полкружки и утер рот.

— Ну а что можно поделать, коли могила неправильная? — спросил он.

— Не замечать, будто ее и нет,— сказал я.— Может, тогда она исчезнет, как дурной сон.

Охотник коротко засмеялся, словно всхлипнул:

— Рехнулся, брат! Ну ничего, я люблю слушать, которые рехнулись. Давай болтай еще.

— Больше ничего,— сказал я.

— Может, ты есть воскресение и жизнь?

— Нет.

— Может, ты велишь Лазарю встать из гроба?

— Нет.

— Тогда чего ж?

— Просто я хочу, чтоб можно было под самый конец выбрать правильное место, правильное время и правильную могилу.

— Вот выпей-ка,— сказал охотник.— Тебе полезно. И откуда ты такой взялся?

— От самого себя. И от моих друзей. Мы собрались вдесятером и выбрали одного. Купили в складчину грузовик — вон он стоит,— и я покатил через всю страну. По дороге много охотился и ловил рыбу, чтоб настроиться, как надо. В прошлом году побывал на Кубе. В позапрошлом провел лето в Испании. А еще перед тем съездил летом в Африку. Накопилось вдоволь о чем поразмыслить. Потому меня и выбрали.

— Для чего выбрали, черт подери, для чего? — напористо, чуть не с яростью спросил охотник и покачал головой.— Ничего тут не поделаешь. Все уже кончено.

— Все, да не совсем,— сказал я.— Пошли.

И шагнул к двери. Охотник остался сидеть. Потом вгляделся мне в лицо — оно все горело от этих моих речей,— ворча поднялся, догнал меня, и мы вышли.

Я показал на обочину, и мы оба поглядели на грузовик, который я там оставил.

— Я такие видал,— сказал охотник.— В кино показы-

вали. С таких стреляют носорогов, верно? Львов и все такое? В общем, на них разъезжают по Африке, верно?

— Правильно.

— У нас тут львы не водятся,— сказал он.— И носороги тоже, и буйволы, ничего такого нету.

— Нету? — переспросил я.

Он не ответил.

Я подошел к открытой машине, коснулся борта.

— Знаешь, что это за штука?

— Ничего я больше не знаю,— сказал охотник.— Считай меня круглым дураком. Так что это у тебя?

Долгую минуту я поглаживал крыло. Потом сказал:

— Машина Времени.

Он вытаращил глаза, потом прищурился, отхлебнул пива (он прихватил с собой кружку, зажав ее в широкой ладони). И кивнул мне — валяй, мол, дальше.

— Машина Времени,— повторил я.

— Слышу, не глухой,— сказал он.

Он прошел вдоль борта, отступил на середину улицы и стал разглядывать машину — да, с такими и правда охотятся в Африке. На меня он не смотрел. Обошел ее всю кругом, вновь остановился на тротуаре и уставился на крышку бензобака.

— Сколько миль из нее можно выжать? — спросил он.

— Пока не знаю.

— Ничего ты не знаешь,— сказал он.

— Первый раз еду,— сказал я.— Съезжу до места, тогда узнаю.

— И чем же такую штуку заправлять?

Я промолчал.

— Какое ей нужно горючее? — опять спросил он.

Я мог бы ответить: надо читать до поздней ночи, читать по ночам год за годом, чуть не до утра, читать в горах, где лежит снег, и в полдень в Памплоне, читать сидя у ручья или в лодке где-нибудь у берегов Флориды. А еще я мог сказать: все мы приложили руку к этой машине, все мы думали о ней, и купили ее, и касались ее, и вложили в нее нашу любовь и память о том, что сделали с нами его слова двадцать, двадцать пять или тридцать лет тому назад. В нее вложена уйма жизни, и памяти, и любви — это и есть бензин, горючее, топливо, называй как хочешь; дождь в Париже, солнце в Мадриде, снег на вершинах Альп, дымки

ружейных выстрелов в Тироле, солнечные блики на Гольфстриме, взрывы бомб и водяные взрывы, когда выскакивает из реки рыбина,— вот он, потребный тут бензин, горючее, топливо; так я мог бы сказать, так подумал, но говорить не стал.

Должно быть, охотник почуял, о чем я думаю,— глаза его сузились, долгие годы в лесу научили его читать чужие мысли,— и он принялся ворочать в голове мою затею.

Потом подошел и... Вот уж этого трудно было ждать! Он протянул руку... и коснулся моей машины.

Он положил ладонь на капот и так и стоял, словно прислушивался, есть ли там жизнь, и рад был тому, что́ ощутил под ладонью. Долго он так стоял.

Потом без единого слова повернулся и, не взглянув на меня, ушел обратно в бар — и сел пить в одиночестве, спиной к двери.

И мне не захотелось нарушать молчание. Похоже, вот она, самая подходящая минута поехать, попытать счастья.

Я сел в машину и включил зажигание.

Сколько миль из нее можно выжать? Какое ей нужно горючее? — подумал я. И покатил.

Я катил по шоссе, не глядя ни направо, ни налево, так и ездил добрый час взад и вперед и порой на секунду-другую зажмуривался, так что запросто мог съехать с дороги и перевернуться, а то и разбиться насмерть.

А потом, около полудня, солнце затянуло облаками, и вдруг я почувствовал: все хорошо.

Я поднял глаза, глянул на гору и чуть не заорал.

Могила исчезла.

Я как раз спустился в неглубокую ложбинку, а впереди на дороге одиноко брел старик в толстом свитере.

Я сбросил скорость, и когда нагнал пешехода, машина моя поползла с ним вровень. На нем были очки в стальной оправе; довольно долго мы двигались бок о бок, словно не замечая друг друга, а потом я окликнул его по имени.

Он чуть поколебался, потом зашагал дальше.

Я нагнал его на своей машине и опять сказал:

— Папа.

Он остановился, выжидая.

Я затормозил и сидел, не снимая рук с баранки.

— Папа,— повторил я.

Он подошел, остановился у дверцы.

— Разве я вас знаю?

— Нет. Зато я знаю вас.

Он поглядел мне в глаза, всмотрелся в лицо, в губы.

— Да, похоже, что знаете.

— Я вас увидал на дороге. Думаю, нам с вами по пути. Хотите, подвезу?

— Нет, спасибо,— сказал он.— В этот час хорошо пройтись пешком.

— Вы только послушайте, куда я еду.

Он двинулся было дальше, но приостановился и, не глядя на меня, спросил:

— Куда же?

— Путь долгий.

— Похоже, что долгий, по тому, как вы это сказали. А покороче вам нельзя?

— Нет,— отвечал я.— Путь долгий. Примерно две тысячи шестьсот дней, да прибавить или убавить денек-другой и еще полдня.

Он вернулся ко мне и заглянул в машину.

— Значит, вон в какую даль вы собрались?

— Да, в такую даль.

— В какую же сторону? Вперед?

— А вы не хотите вперед?

Он поглядел на небо.

— Не знаю. Не уверен.

— Я не вперед еду,— сказал я.— Еду назад.

Глаза его стали другого цвета. Мгновенная, едва уловимая перемена, словно в обычный день человек вышел из тени дерева на солнечный свет.

— Назад...

— Где-то посредине между двух и трех тысяч дней, день пополам, плюс-минус час, прибавить или отнять минуту, поторгуемся из-за секунды,— сказал я.

— Язык у вас ловко подвешен,— сказал он.

— Так уж приходится,— сказал я.

— Писатель из вас никудышный,— сказал он.— Кто умеет писать, тот говорить не мастер.

— Это уж моя забота,— сказал я.

— Назад? — Он пробовал это слово на вес.

— Разворачиваю машину,— сказал я.— И возвращаюсь вспять.

— Не по милям, а по дням?

— Не по милям, а по дням.

— А машина подходящая?

— Для того и построена.

— Стало быть, вы изобретатель?

— Просто читатель, но так вышло, что изобрел.

— Если ваша машина действует, так это всем машинам машина.

— К вашим услугам,— сказал я.

— А когда вы доедете до места...— начал старик, взялся за дверцу, нагнулся, сам того не замечая, и вдруг спохватился, отнял руку, выпрямился во весь рост и тогда только договорил: — Куда вы попадете?

— В десятое января тысяча девятьсот пятьдесят четвертого.

— Памятный день,— сказал он.

— Был и есть. А может стать еще памятней.

Он не шевельнулся, но света в глазах прибавилось, будто он еще шагнул из тени на солнце.

— И где же вы будете в этот день?

— В Африке,— сказал я.

Он промолчал. Бровью не повел. Не дрогнули губы.

— Неподалеку от Найроби,— сказал я.

Он медленно кивнул. Повторил:

— В Африке, неподалеку от Найроби.

Я ждал.

— И если поедем — попадем туда. А дальше что? — спросил он.

— Я вас там оставлю.

— А потом?

— Вы там останетесь.

— А потом?

— Это все.

— Все?

— Навсегда,— сказал я.

Старик глубоко вздохнул, провел ладонью по краю дверцы.

— И эта машина где-то на полпути обратится в самолет? — спросил он.

— Не знаю,— сказал я.

— Где-то на полпути вы станете моим пилотом?

— Может быть. Никогда раньше на ней не ездил.

— Но хотите попробовать?

Я кивнул.

— А почему? — спросил он, нагнулся и посмотрел мне прямо в глаза, в упор грозным, спокойным, яростно-пристальным взглядом.— Почему?

«Старик,— подумал я,— не могу я тебе ответить. Не спрашивай».

Он отодвинулся — почувствовал, что перехватил.

— Я этого не говорил,— сказал он.

— Вы этого не говорили,— повторил я.

— И когда вы пойдете на вынужденную посадку,— сказал он,— вы на этот раз приземлитесь немного по-другому?

— Да, по-другому.

— Немного пожестче?

— Погляжу, что тут можно сделать.

— И меня швырнет за борт, а больше никто не пострадает?

— По всей вероятности.

Он поднял глаза, поглядел на горный склон — никакой могилы там не было. Я тоже посмотрел на эту гору. И наверно, он догадался, что однажды могилу там вырыли.

Он оглянулся на дорогу, на горы и на море, которого не видно было за горами, и на материк, что лежал за морем.

— Хороший день вы вспомнили.

— Самый лучший.

— И хороший час, и хороший миг.

— Право, лучше не сыскать.

— Об этом стоит подумать.

Рука его лежала на дверце машины — не опираясь, нет, испытующе: пробовала, ощупывала, трепетная, нерешительная. Но глаза смотрели прямо в сияние африканского полдня.

— Да.

— Да? — переспросил я.

— Идет,— сказал он.— Ловлю вас на слове, подвезите меня.

Я выждал мгновение — только раз успело ударить сердце,— дотянулся и распахнул дверцу.

Он молча поднялся в машину, сел рядом со мной, бесшумно, не хлопнув, закрыл дверцу. Он сидел рядом, очень старый, очень усталый. Я ждал.

— Поехали,— сказал он.

Я включил зажигание и мягко взял с места.

— Разверните́сь,— сказал он.

Я развернул машину в обратную сторону.

— Это правда такая машина, как надо? — спросил он.

— Правда. Такая самая.

Он поглядел на луг, на горы, на дом в отдалении.

Я ждал, мотор работал вхолостую.

— Я кое о чем вас попрошу,— начал он,— когда приедем на место, не забудете?

— Постараюсь.

— Там есть гора,— сказал он и умолк — и сидел молча, с его сомкнутых губ не слетело больше ни слова.

Но я докончил за него. Есть в Африке гора по имени Килиманджаро, подумал я. И на западном ее склоне нашли однажды иссохший, мерзлый труп леопарда. Что понадобилось леопарду на такой высоте, никто объяснить не может.

На этом склоне мы тебя и положим, думал я, на склоне Килиманджаро, по соседству с леопардом, и напишем твое имя, а под ним еще: «Никто не знал, что он делал здесь, так высоко, но он здесь». И напишем даты рожденья и смерти, и уйдем вниз, к жарким летним травам, и пусть могилу эту знают лишь темнокожие воины, да белые охотники, да быстроногие окапи.

Заслонив глаза от солнца, старик из-под ладони смотрел, как вьется в предгорьях дорога. Потом кивнул:

— Поехали.

— Да, Папа,— сказал я.

И мы двинулись не торопясь — я за рулем, старик рядом со мной,— спустились с косогора, поднялись на новую вершину. И тут выкатилось солнце и ветер дохнул жаром. Машина мчалась, точно лев в высокой траве. Мелькали, уносились назад реки и ручьи. Вот бы нам остановиться на час, думал я, побродить по колено в воде, половить рыбу, а потом изжарить ее, полежать на берегу и потолковать, а может, помолчать. Но если остановимся, вдруг не удастся продолжать путь? И я дал полный газ. Мотор взревел неистовым рыком какого-то чудо-зверя. Старик улыбнулся.

— Отличный будет день! — крикнул он.

— Отличный.

Позади дорога, думал я. Как там на ней сейчас? Ведь сейчас мы исчезаем? Вот исчезли, нас там больше нет? И дорога пуста. И Солнечная долина безмятежна в солнечных лучах. Как там сейчас, когда нас там больше нет?

Я еще поддал газу, машина рванулась — девяносто миль в час.

Мы оба заорали, как мальчишки.

Уж не знаю, что было дальше.

— Ей-богу,— сказал под конец старик,— знаете, мне кажется... мы летим?

МОЖЕТ БЫТЬ, МЫ УЖЕ УХОДИМ

Это было что-то странное, и описать это было невозможно. Он уже просыпался, когда оно коснулось его волос на затылке. Не открывая глаз, он вдавил ладони в мягкую глину.

Может, это земля, ворочаясь во сне, пересыпает непогасший жар под своей корой?

Может, это бизоны бьют по дерну копытами, как черная буря надвигаясь по пыльным прериям, через свистящую траву?

Нет.

Что же тогда? Что?

Он открыл глаза и снова стал мальчиком Хо-Ави из племени, называющегося именем птицы, около Холмов Совиных Теней, близ океана, в день, сулящий беду безо всякой на то причины.

Взгляд Хо-Ави остановился на нижних углах шкуры, закрывающей выход,— они дрожали, как огромный зверь, вспоминающий зимние холода.

Скажите мне, подумал он, это страшное — откуда оно? Кого оно убьет?

Он поднял нижний угол шкуры и вышел в деревню.

Он не спеша огляделся — мальчик, чьи темные скулы были как треугольники летящих птичек. Карие глаза увидели небо, полное богов и туч, ухо с приставленной ладонью услышало, как бьет в барабаны войны чертополох, но еще большая тайна по-прежнему влекла его на край деревни.

Отсюда, говорила легенда, начинается земля и катится волной до другого моря. Между этими морями ее столько же, сколько звезд на ночном небе. Где-то на этой земле траву пожирают смерчи черных бизонов. И отсюда смотрит сейчас он, Хо-Ави, у которого внутри все сжалось в кулак, смотрит, удивляется, ищет, боится, ждет.

«Ты тоже?» — спросила тень ястреба.

Хо-Ави обернулся.

Это была тень руки его деда — это она писала на ветре.

Нет. Дед сделал знак, чтобы он молчал. Язык деда мягко двигался в беззубом рту. Глаза деда были как ручейки, бегущие по высохшим руслам плоти, потрескавшимся песчаным отмелям его лица.

Они стояли на краю дня, и неведомое притягивало их друг к другу.

И теперь Старик сделал то же, что сделал мальчик. Повернулось сухое, как у мумии, ухо, дернулись ноздри. Старику тоже хотелось услышать глухое ворчанье, все равно откуда, которое сказало бы им, что ничего не случилось, просто непогода падает буреломом с далеких небес. Но ветер не давал ответа — разговаривал только с самим собой.

Старик сделал знак, который говорил: наступило время идти на Большую Охоту. Сегодня, сказали его руки, день для молодых кроликов и для старых птиц, потерявших перья. Пусть не идут с ними воины. Заяц и умирающий орел должны промышлять вместе, ибо только совсем молодые видят жизнь впереди и только совсем старые видят жизнь позади; остальные, те, что между ними, так заняты жизнью, что не видят ничего.

Старик, поворачиваясь медленно, посмотрел во все стороны.

Да! Он знает, он не сомневается, он уверен! Неведение новорожденных нужно, чтобы найти это, появившееся из мрака, и нужно неведение слепых, чтобы ясно все увидеть.

«Пойдем!» — сказали дрожащие пальцы.

«Оттуда»,— сказал наконец Старик.

И в сумерках они посмотрели вниз, на великие воды востока, уходящие за край мира, где еще никогда никто не бывал.

Вон оно. Пальцы Старика сжались в кулак, и рука вытянулась. Вон.

Вдали, на морском берегу, горел одинокий огонек.

Луна поднималась, а Старик и похожий на кролика мальчик пошли, увязая в песке, прислушиваясь к странным голосам, доносящимся с моря, нюхая едкий дымок костра, вдруг оказавшегося совсем близко.

Они поползли на животе. Не вставая, стали рассматривать то, что было у костра.

И чем дольше смотрел Хо-Ави, тем холодней ему становилось, и наконец он понял, что все, что сказал Старик, правда.

Этот костер из щепок и мха, ярко полыхавший в вечернем ветерке, сейчас, в разгар лета, вдруг повеявшем прохладой, окружали существа, подобных которым он никогда не видел.

Это были мужчины с лицами цвета раскаленных добела углей, и глаза на некоторых из этих лиц были голубые, как небо. На подбородках и на щеках у них росли блестящие волосы, сходившиеся внизу клином. Один стоял и в поднятой руке держал молнию, а на голове у него сияла большая луна, похожая на лицо рыбы. У остальных грудь облегало что-то сверкающее, звякавшее при движении. Хо-Ави увидел, как некоторые из этих людей снимают сверкающее и звонкое со своих голов, сдирают слепящие крабьи панцири, черепашьи щиты с рук, ног, груди и бросают эти ставшие им ненужными оболочки на песок. Странные существа смеялись, а дальше, в бухте, на воде, черной глыбой высилась огромная темная пирога, и на шестах над ней висело что-то похожее на разорванные облака.

Старик и мальчик долго глядели, затаив дыхание, а потом поплелись прочь.

На одном из холмов они повернулись и снова стали смотреть на огонь — теперь он был не больше звезды. Мигни — и исчезнет. Закрой глаза — и его уже нет.

И все равно он был.

— Это и есть,— спросил мальчик,— то великое, что случилось?

Лицо Старика было лицом падающего орла, было наполнено страшными годами и нежеланной мудростью. Глаза ярко сверкали и переливались, будто из них била холодная, кристально чистая вода, и в этой воде можно было увидеть все как в реке, которая пьет небо и землю и это знает, которая безмолвно принимает в себя, не отвергая ничего, пыль, время, форму, звук и судьбу.

Старик кивнул — только раз.

Это и была несущая ужас непогода. Это и был конец лета. От этого и мчались на юг птицы, не бросая теней на оплакивающую себя землю.

Изможденные руки замерли. Время вопросов кончилось.

Там, вдалеке, взметнулось пламя. Одно из существ зашевелилось. Черепаший панцирь на его теле блеснул — будто стрела вонзилась в ночь.

Мальчик исчез во тьме вслед за орлом и ястребом, жившим в каменном теле его деда.

Внизу море поднялось на дыбы и выплеснуло еще одну огромную соленую волну, разбившуюся на миллиарды осколков, которые градом свистящих ножей обрушились на берег континента.

МОРСКАЯ РАКОВИНА

Ему хотелось выскочить из дома и побежать, прыгать через изгороди, гонять консервные банки, звать через открытые окна ребят. Солнце стояло высоко, в небе ни облачка, а он должен был лежать под простынями и одеялами, потеть, хмуриться и сердиться.

Шмыгнув носом, Джонни Бишоп приподнялся и сел. В толстой палке из солнечных лучей, ударившей, чтобы их согреть, по пальцам его ног, висели апельсиновый сок, микстура от кашля и запах духов его матери, которая только что ушла из комнаты. Нижняя половина одеяла из лоскутков, красных, зеленых, лиловых и голубых, была похожа на цирковое знамя. Их пестрота и яркость били в глаза, как в уши бьет крик. Джонни нетерпеливо заерзал.

— Хочу на улицу,— тихо пожаловался он сам себе.— Черт бы все побрал.

Рассыпая прозрачными крыльями сухое стаккато и жужжа, об оконное стекло билась муха.

Он посмотрел на нее с пониманием: неудивительно, что ей тоже хочется на улицу! Потом покашлял и пришел к выводу: дряхлые старики так не кашляют, так может кашлять только одиннадцатилетний молодой человек, который через неделю снова будет рвать тайком яблоки в чужих садах и стрелять жеваной бумагой в учителей.

В коридоре быстро и весело застучали по свеженатертому полу каблучки, дверь отворилась, и вошла мать.

— Почему это ты не лежишь, мой друг? — сказала она.— Ложись сейчас же.

— Мне уже лучше. Честное слово.

— Доктор сказал: еще два дня.

— Два?! — Нужно было показать, как он потрясен.— Это обязательно — болеть так долго?

Мать рассмеялась:

— Нет, не болеть... но в постели оставаться.— Она легонько шлепнула рукой по его левой щеке.— Хочешь еще апельсинового сока?

— С лекарствами или без?

Мать сделала удивленное лицо:

— С лекарством? Каким?

— Я тебя знаю! Подкладываешь лекарство в апельсиновый сок, чтобы я не заметил. Но я все равно его чувствую.

Мать засмеялась:

— На этот раз без лекарства.

— А что у тебя в руке?

— А, это? — Мать протянула ему что-то гладкое, переливающееся в лучах солнца, скрученное в спираль.

Он взял. Предмет был твердый, блестящий... и красивый.

— Оставил тебе доктор Гулль, он заходил несколько минут назад. Дал, чтобы ты немного развлекся.

Он посмотрел на эту штуковину с некоторым сомнением. Потом погладил ее своей маленькой рукой.

— Как же я развлекусь? Я не знаю даже, что это такое.

Мать улыбнулась — словно солнце засияло в комнате.

— Это, Джонни, морская раковина. Доктор Гулль нашел ее в прошлом году на берегу Тихого океана.

— А, понятно. А откуда она там взялась?

— О, я не знаю. Возможно, очень давно она служила домом для какой-то формы морской жизни.

Его брови поднялись.

— Домом? Значит, кто-то в ней жил?

— Да.

— Нет, правда?

Она повернула раковину в его руке.

— Если не веришь, приложи вот этим концом к уху.

— Вот так? — Он поднес раковину к розовому ушку и крепко прижал ее.— А теперь что делать?

Мать улыбнулась:

— А теперь, если помолчишь и прислушаешься, ты кое-что услышишь.

Он прислушался. Неощутимо открылось его ухо — так раскрывается навстречу свету цветок.

На каменистый берег набежала и разбилась титаническая волна.

— Море шумит! — закричал Джонни.— Ой, мама! Океан! Волны! Море!

Волны накатывались на далекий скалистый берег. Джонни зажмурился и улыбнулся, его личико стало от этого вдвое шире. Грохочущие волны с ревом врывались в маленькое жадное ушко.

— Да, Джонни,— сказала мать.— Ты слышишь море.

День подходил к концу. Джонни лежал на спине, утонув головой в подушке; в ладонях у него, как в колыбели, лежала раковина, и он поглядывал, улыбаясь, в большое окно справа от постели. Был виден весь пустырь на другой стороне улицы. По нему, как потревоженные жуки, носились мальчишки, и было слышно, как они кричат: «Это я убил тебя первый!» — «А сейчас я тебя!» Или: «Так нечестно!» Или: «Теперь командиром буду я, а то не играю!»

Казалось, эти голоса звучат где-то вдалеке и, словно качаясь на волнах солнечного света, то приближаются, то удаляются. Солнечный свет был как глубокая, сияющая золотая вода, эта вода лизала берег лета и грозила залить его. Медленная, ленивая, теплая, почти неподвижная. Мир отражался в ней вверх ногами, и все в нем было замед-

ленно. Медленней тикали часы. Медленно-медленно прокатился по улице пышущий жаром металл трамвая. Будто смотришь кино и у тебя на глазах кадры замедляются и стихает постепенно звук. Все стало мягче и расплывчатей. И ничто больше не имело значения.

До чего хочется выйти и поиграть! Он не сводил с ребят глаз — смотрел, как они в неподвижном зное залезают на заборы, играют в мяч, бегают на роликах. Голова все тяжелела, тяжелела, тяжелела. Веки, как занавес, опускались все ниже, ниже. Морская раковина лежала на подушке около его уха. Он снова прижал ее.

Бух-х — разбивались волны. Тр-рр — рассыпались на песке. На желтом песке берега. А когда откатывались назад, на песке оставались пузыри пены, похожие на те, что падают из медвежьей пасти. Пузыри лопались и исчезали, как сновиденья. И снова волны, и снова пена. И, переворачиваясь в ряби отступающих волн, омытые соленой влагой, разбегались в разные стороны коричневые пятна — песчаные крабы. Буханье холодной зеленой воды, прохладный песок. Звук создавал картины; маленькое тело Джонни овевал легкий бриз. И внезапно жаркий день перестал быть давящим и жарким. Часы затикали быстрей. Скорее залязгал металл трамваев. Глухие удары волн о невидимый сверкающий пляж подстегнули медлительный мир лета, и он ожил и задвигался.

Да, теперь он понял: лучше этой раковины ничего нет на свете. В любой долгий и скучный день только приложи ее к уху — и ты уже проводишь каникулы на далеком, обдуваемом всеми ветрами берегу.

«Четыре тридцать»,— сказали часы. «Время принимать лекарство»,— сказали быстрые, звонкие шаги матери в сверкающем коридоре.

Она поднесла к его рту серебряную ложку с лекарством. Вкус, увы, был... какой бывает у лекарства. Джонни скорчил гримасу, заготовленную специально для таких случаев. Чтобы скорее перестать чувствовать этот вкус, он запил молоком, а потом посмотрел вверх, на доброе, светлое лицо матери, и спросил:

— Можем мы когда-нибудь поехать на море, мам?

— Конечно. Может быть, на Четвертое Июля[1] — если

[1] День Независимости, национальный праздник США.— *Примеч. пер.*

твой отец получит свой двухнедельный отпуск в это время. За два дня доедем на машине до берега, проведем там неделю и вернемся.

Джонни сел поудобней; глаза у него были какие-то чудные.

— Я никогда не видел настоящего моря, а только в кино. Готов поспорить, оно и пахнет по-другому, и вид у него другой, чем у нашего Лисьего озера. Оно огромное и в тысячу раз лучше. Так обидно, что нельзя прямо сейчас туда отправиться!

— Ждать не долго, сынок. Вы, дети, такие нетерпеливые.

— Очень хочется.

Она села на кровать и взяла его за руку. Не все, что она сказала, было понятно, но кое-что он все же понял.

— Если бы мне пришлось писать книгу о философии детства, я бы, наверно, назвала ее «Нетерпение». Нетерпение во всем. Вынь да положь — и так всегда. Завтра кажется далеким-далеким, вчера — словно не было. Племя Омаров Хайямов — вот вы кто. Живете минутой. Станешь старше — поймешь, что способность быть терпеливым, ждать, заранее рассчитывать говорит о зрелости, то есть о том, что ты стал взрослым.

— Не хочу быть терпеливым. Не хочу лежать в постели. Хочу на морской берег.

— А на прошлой неделе ты хотел бейсбольную перчатку, сейчас — и ни минутой позже! «Пожалуйста, ну пожалуйста! — просил ты.— Ой, какая она красивая, ты только на нее посмотри! И последняя в магазине, на полке больше ни одной не осталось!»

Какая же все-таки она странная, эта мама!

А мать продолжала между тем:

— Помню, однажды, когда я еще была маленькой девочкой, я увидела в магазине куклу. Я показала на нее маме, сказала, что эта последняя, все остальные проданы и эту тоже продадут, если ее не купить сейчас же. На самом деле на полке было не меньше десятка таких кукол. Просто у меня не было сил ждать. Мне тоже не хватало терпения.

Джонни повернулся на бок. Глаза его стали широкие-широкие и были полны теперь голубого света.

— Но я не хочу ждать! Если я буду слишком долго ждать, я вырасту, и мне уже не будет интересно.

На это она не сказала ни слова. Она сидела в той же позе, но пальцы ее рук теперь судорожно сжимались, а глаза стали влажными — может быть, из-за того, о чем она думала. Она зажмурила глаза, открыла снова и сказала:

— Иногда мне... кажется, что дети знают о жизни больше, чем мы, взрослые. Кажется, что ты... прав. Но я не решаюсь тебе об этом сказать. Это... как бы не по правилам.

— Каким, мама?

— Цивилизации. Радуйся жизни, Джонни. Радуйся, пока ты ребенок.

Она произнесла это громко, и голос был не такой, как всегда.

Джонни прижал раковину к уху.

— Мама! Знаешь, чего бы мне хотелось? Оказаться прямо сейчас на берегу моря, бежать к воде, держаться за нос и кричать: «Кто последний — обезьяна!» — И он весело рассмеялся.

Внизу, на первом этаже, зазвонил телефон. Мать пошла взять трубку.

Джонни лежал и слушал раковину.

Еще целых два дня впереди. Он опять поднес к уху раковину и вздохнул. Целых два дня! В комнате было темно. В больших квадратах окна томились пойманные звезды. Ветер покачивал деревья. На тротуаре внизу взвизгивали, раскатываясь, ролики.

Он закрыл глаза. Снизу, из столовой, доносился стук ножей и вилок. Отец с матерью ужинали. Вот отец рассмеялся своим звучным смехом.

Волны по-прежнему разбивались одна за другой о берег внутри морской раковины. И... что-то еще слышно...

— Там, где катятся валы, где играет с волной волна, где криком чаек полны утро и вечер дня...

— Что?!

Он замер. Прислушался. Удивленно заморгал.

И еще, чуть слышно:

— ...Солнце на волнах, море без дна, э-гей, э-гей, налягте, друзья...

Будто сотня, а то и больше голосов пели под скрип уключин.

— ...Придите к морю, где паруса...

И другой голос, совсем отдельный, едва различимый сквозь шум волн и океанского ветра:

— Прииди же к морю-циркачу, что за валом бросает вал; к сверканью соли на берегу, по тропе, которой не знал...

Он отнял раковину от уха, изумленно на нее посмотрел. Потом прижал снова.

— ...Ты хочешь ли к морю, мой маленький друг, хочешь ли к морю прийти? Так возьми меня за руку, маленький друг, возьми меня за руку, маленький друг, и вместе со мной иди!

Дрожа, он крепче прижал раковину, приподнялся и сел в постели, часто-часто задышал. Сердце прыгало и билось о стенку его груди.

Волны глухо ударялись о далекий берег и рассыпались брызгами.

— ...Ты когда-нибудь раковину видал? Перламутровый штопор морей, широкий вначале, сходит на нет, вот здесь он вьется, вот тут его нет, но, мой мальчик, конец у него все же есть — там, где камни от пены белей!

Маленькие пальцы вжались в спираль раковины. Да, все правильно. Раковина закручивается, закручивается, закручивается — а потом вдруг ничего нет.

Он закусил губу. Что... что такое говорила мама? Про детей. Про какую-то... философию детей? Про нетерпение. Нетерпение! Да, правда, он нетерпелив! Ну и что в этом плохого? Его свободная рука, сжавшись в твердый белый кулачок, ударила по стеганому одеялу.

— Джонни!

Молниеносным движением Джонни отнял раковину от уха, сунул под простыню. По коридору от лестницы к двери его комнаты приближались шаги отца.

— Спокойной ночи, сынок.

— Спокойной ночи, пап!

Мать и отец крепко спали. Было далеко за полночь. Тихо. Он вытащил бесценную раковину из-под простыней и поднес к уху.

Да, все как было. По-прежнему шумят волны. И вдалеке — скрип уключин, щелканье раздуваемого ветром паруса, слова песни, чуть слышные в порывах соленого морского ветра.

В коридоре застучали каблуки матери. Шаги остановились, она открыла дверь и вошла.

— Доброе утро, сынок! Ты все еще спишь?

Постель была пуста. В комнате — только тишина и солнечный свет. Этот свет лежал в постели, как лучезарный больной, и на подушке покоилась его сотканная из лучей голова. Стеганое одеяло, это красно-голубое цирковое знамя, было откинуто. Смятая постель была как бледное старческое лицо в морщинах и казалась пустей пустого.

Мать нахмурилась и громко топнула.

— Вот шалун! — воскликнула она.— Наверняка убежал играть с соседскими головорезами! Ну, погоди! Потом...— Она умолкла и улыбнулась.— Шалунишка узнает, как крепко я его люблю. Дети так... нетерпеливы.

Она подошла к постели и начала приводить ее в порядок, и вдруг рука наткнулась под простынями на какой-то твердый предмет. Мать вытащила на свет что-то гладкое и блестящее.

Она опять улыбнулась. Это была раковина.

Мать сжала ее в руке и поднесла к уху — просто так. Глаза у нее стали совсем круглые. Рот приоткрылся.

Комната завертелась вокруг нее застекленной каруселью с яркими стегаными знаменами.

Раковина ревела ей в ухо.

Волны с грохотом разбивались о далекий берег. Откатывались, оставляя холодную пену на неведомом пляже.

Потом — топот бегущих по песку детских ног. Тонкий мальчишеский голос прокричал:

— Эй, ребята, скорее! Кто последний — обезьяна!

И — звук маленького тела, бултыхнувшегося в эти волны...

НОЧЬ

Ты ребенок в небольшом городке. Тебе, если быть точным, восемь лет, и скоро наступит ночь, время уже позднее. Позднее для тебя, привыкшего ложиться к половине десятого; только изредка ты просишь мать или отца разрешить тебе лечь попозже, а сейчас — дать послушать Сэма и Генри из диковины, которая называется «радио» и которая так популярна в этом тысяча девятьсот двадцать седьмом году. Но обычно ты в это время уже в постели, и тебе очень уютно.

Сейчас теплый летний вечер. Ты живешь в небольшом домике на небольшой улочке на окраине, и уличных фонарей здесь мало. Торгует только одна лавка, в квартале от нас — та, хозяйка которой миссис Зингер. В этот жаркий вечер мать гладит белье, выстиранное в понедельник, а ты

то клянчишь на мороженое, то вглядываешься в сгущающиеся сумерки.

Вы с матерью одни в доме в теплой тьме лета. Наконец, когда миссис Зингер уже вот-вот должна закрыть свою лавку, мать смягчается и говорит:

— Сбегай возьми пинту мороженого, пусть она его только хорошо упакует.

Ты спрашиваешь мать, можно ли попросить миссис Зингер, чтобы та положила наверх шоколадного мороженого, потому что ванильное ты не любишь, и мать разрешает. Ты хватаешь деньги и во всю прыть несешься босиком под дубами и яблонями по теплому асфальту тротуара к лавке. Городок кажется далеким и тихим, слышен только стрекот сверчков из просторов за раскаленными деревьями цвета индиго, за листвой которых не видно звезд.

Твои босые ноги громко шлепают по мостовой, ты бежишь через улицу, и вот ты уже у миссис Зингер, которая, напевая еврейские песни, переваливаясь, ходит по своей лавке.

— Пинту мороженого? — переспрашивает она.— Наверх шоколадного? Пожалуйста!

Ты смотришь, как она снимает крышку с металлической банки, а потом большой ложкой, уже почти набив картонную пинту мороженым, кладет наверх «шоколадного? Пожалуйста!». Ты платишь деньги, получаешь морозную, холодную как лед коробку и, проводя ею по щекам и лбу, смеясь, топая босыми ногами, бежишь домой. Свет в одинокой маленькой лавке позади гаснет, мигнув, и только уличный фонарь на углу мерцает, и кажется, будто город уже уснул...

Открыв затянутую сеткой дверь, ты видишь, что мама до сих пор гладит. Ей жарко, она устала, но все равно улыбается.

— Когда придет папа? — спрашиваешь ты.

— В полдвенадцатого или в двенадцать,— говорит мать.

Она несет мороженое на кухню, делит его. Отдавая тебе твое шоколадное, она немножко кладет себе, а остальное убирает.

— Для Попрыгунчика и твоего отца, когда они вернутся.

Попрыгунчик — это твой брат. Он старше тебя. Ему двенадцать лет, и он пышет здоровьем, лицо у него красное, нос крючковатый, волосы каштановые, плечи для его лет широкие, и он всегда бежит. Ему разрешают ложиться позже, чем тебе. Не намного позже, но достаточно, чтобы он чувствовал: он выиграл от того, что родился первым. В этот вечер он гоняет на другом конце городка жестяную банку и скоро должен вернуться. Уже несколько часов он и другие мальчики орут, бегают, веселятся. Скоро он шумно войдет, от него будет пахнуть потом и травой, на которую он падал коленями, и вообще будет пахнуть как от капитана команды, и это вполне естественно.

Ты сидишь и с наслаждением уплетаешь мороженое. Ты в самой глубине этой бездонной тихой летней ночи. Ничего нет на свете, только твоя мать и ты, и еще ночь вокруг этого небольшого домика на этой небольшой улочке. Каждый раз, взяв ложкой мороженое, ты облизываешь ее дочиста, а сейчас мать убирает гладильную доску и кладет в коробку еще не совсем остывший утюг, а потом, усевшись в кресло возле патефона, начинает есть свой десерт и говорит:

— Господи, ну и жаркий же день был! И до сих пор жарко. Земля вбирает эту жару, а ночью ее отдает. Заснуть будет трудно.

Вы сидите и прислушиваетесь к безмолвной летней ночи. Окна и двери наступают на тьму, никаких звуков, радио не работает, потому что нужно менять батарейки, и ты сыт по горло пластинками квартета «Панталончики», Эла Джолсона и «Двух черных ворон», поэтому ты садишься на деревянный пол у входной двери и вглядываешься в эту темную-претемную тьму, прижимая нос к сетке двери с такой силой, что крохотные черные квадратики сетки отпечатываются на его кончике.

— Где же твой брат? — говорит через некоторое время мать. Она выскребает ложкой тарелку.— Должен бы уже быть дома. Сейчас почти полдесятого.

— Он придет,— говоришь ты, ничуть не сомневаясь в том, что он придет обязательно.

Вместе с матерью ты идешь мыть посуду. Тишина пышущего жаром вечера усиливает каждый звук, каждое звяканье тарелки или ложки. Закончив, вы молча переходите в гостиную, снимаете с дивана подушки, расклады-

ваете его, и он превращается в двуспальную кровать, тем самым являя миру свое скрытое назначение. Мать расстилает постель, взбивает аккуратно подушки, чтобы твоей голове было мягко. Ты начинаешь расстегивать рубашку, и вдруг она говорит:

— Подожди, Дуг.

— Почему?

— Потому. Не раздевайся, и все.

— У тебя какой-то чудной вид, мам.

Мать садится, тут же встает, идет к двери и начинает звать Попрыгунчика. Ты слушаешь, как она снова и снова кричит:

— Попрыгунчик, Попрыгунчик, По-пры-гу-у-ун-чи-и-и-ик!

Крик ее уходит в летнюю теплую тьму и оттуда не возвращается. Не отзывается даже эхо.

Попрыгунчик. Попрыгунчик. Попрыгунчик.

П о п р ы г у н ч и к!

И тебя, сидящего на полу, пронизывает холод, но не тот, который от мороженого, и не тот, который бывает зимой, и не тот, что живет бок о бок с летним зноем. Ты замечаешь, как растерянно мечутся, моргают глаза матери, как она стоит в нерешительности, как нервничает. Замечаешь все это разом.

Она открывает затянутую сеткой дверь. Шагнув в ночь, спускается по ступенькам веранды и проходит по тротуару перед домом под нависшим кустом сирени. Ты прислушиваешься к ее шагам.

Она зовет брата снова. Молчание.

Она еще два раза зовет его. Ты сидишь в комнате. Вот-вот Попрыгунчик откликнется с дальнего конца улицы: «Я иду, мам! Иду, мама! Я здесь!»

Но его не слышно. И минуты две ты сидишь и смотришь на расстеленную постель, на молчащее радио, на молчащий патефон, на люстру с ее мирно поблескивающими стеклышками, на ковер с алыми и фиолетовыми завитками на нем. Ты ударяешь пальцем ноги по кровати, чтобы проверить, больно это или нет. Оказывается, больно.

Визжа, открывается затянутая сеткой дверь, и мать говорит:

— Пойдем, Коротыш. Прогуляемся.

— Где?

— По нашей улице. Пойдем. Только надо обуться. А то простудишься.

— Не простужусь. Со мной ничего не будет.

Ты берешь ее за руку. Вы вместе идете по Сент-Джеймс-стрит. Ты чувствуешь запах цветущих роз, яблок, которые валяются, раздавленные, в высокой траве. Асфальт под ногами по-прежнему теплый, а стрекот сверчков звучит громче на фоне тьмы. Вы доходите до угла, огибаете его и идете к оврагу.

Где-то проезжает машина, свет ее фар вспыхнул и погас вдалеке. Жизнь, движение, свет — все исчезло. С той стороны, откуда вы идете, в тех домах, где люди еще не улеглись, неярко светятся квадратики окон. Но большинство домов темные и уже спят, как спят их хозяева, а в некоторых, где нет света, те, кто в них живет, еще не спят, сидят в темноте на веранде и ведут неторопливые, тихие беседы. Ты слышишь, проходя мимо, как на одной такой веранде поскрипывают качели.

— Хоть бы отец был дома,— говорит мать. Ее большая рука крепче сжимает твою маленькую ладошку.— Ну и попадет же от меня этому дрянному мальчишке! Выпорю так, что всю жизнь будет помнить!

Для этого в кухне висит ремень, на котором отец правит бритву. Ты думаешь об этом ремне, вспоминаешь случаи, когда отец складывал его вдвое и, следя за тем, чтобы ремень тебя не коснулся, размахивал им над твоими обезумело бьющими воздух руками и ногами. Ты не веришь, что мать осуществит угрозу.

Вот вы прошли еще квартал и стоите перед исполненным благочестия черным силуэтом немецкого баптистского молельного дома на углу улиц Чэпел-стрит и Глен-Рок. По ту сторону маленького дома, в ста ярдах отсюда, овраг. Ты чувствуешь его запах. В овраге темная сточная канава, гнилая листва, густой зеленый дух. Городок разрезан надвое зигзагами этого оврага, который днем — непроходимые заросли, почью — место, от которого надо держаться подальше.

Близость баптистского молельного дома должна бы придать тебе смелости, но этого не происходит, потому что дом не освещен, и сейчас он такой же холодный и бесполезный, как груда развалин неподалеку, на самом краю обрыва.

Тебе только восемь лет, ты мало знаешь о смерти, об ужасах, о страшном. Смерть — это восковая маска в гробу, когда тебе шесть лет и дедушка скончался; он похож в гробу на огромного упавшего на землю грифа, безмолвный, ушедший в себя; никогда больше не будет он объяснять, что значит быть хорошим мальчиком, никогда больше не будет бросать, как он это делал, коротких фраз о политике. Смерть — это твоя маленькая сестренка однажды утром, когда ты, семилетний, просыпаешься, заглядываешь в ее кроватку и видишь, как она смотрит на тебя слепым голубым остановившимся взглядом, а потом приходят люди с небольшой плетеной корзиной и сестренку уносят. Смерть — это когда, четырьмя неделями позже, ты стоишь у ее высокого стула и до тебя вдруг доходит, что сестренка никогда больше не будет на нем сидеть, не будет смеяться и плакать и вызывать ревность тем, что появилась на свет. Это и есть смерть.

Но то, что сейчас, бездонней смерти. Бездонна эта летняя ночь, бредущая через время, и звезды, и душную вечность. Будто в тебя втекает сейчас разом суть всего, что ты в своей жизни еще почувствуешь, увидишь и услышишь.

Ты сходишь с тротуара и идешь по протоптанной, посыпанной галькой, бегущей между сорняками тропинке к оврагу. Сверчки стрекочут теперь так оглушительно, что мертвый проснется. Ты послушно шагаешь следом за мамой; она, защитница всей Вселенной, замечательная, смелая, большая. То, что она идет впереди, придает смелости и тебе, и, отстав немного, ты спешишь тут же ее догнать. Вы одновременно останавливаетесь, вытягиваете вперед головы и замираете над самым краем цивилизации.

Над оврагом.

И теперь там, внизу, в черных зарослях этой пропасти, внезапно оказывается все зло, которое тебе когда-либо придется узнать. Зло, которое ты никогда не поймешь. Там всё, чему нет названия. Позднее, когда вырастешь, название всему этому ты узнаешь. Бессмысленные звуки, которыми обозначают подстерегающее свои жертвы ничто. Внизу, в затаившемся черном мраке, среди толстых деревьев и лоз дикого винограда, живет запах разложения. Здесь, в этом самом месте, кончается царство разума и начинаются владения вселенского зла.

Ты осознаешь, что вы одни. Ты и твоя мать. Ее рука дрожит.

Ее рука д р о ж и т.

Твоя вера в твой личный маленький мирок дает трещину. Мама дрожит! Почему? Может, и ее одолевают сомнения? Но ведь она большая, сильная, умная! Может, и она чувствует эту угрозу, эту выползающую слепую тьму, эту готовящуюся к прыжку пагубу? Так что же, значит, взрослый не обязательно силен? Не обязательно спокоен? Не обязательно в безопасности? Не обязательно защищен от карабкающихся вверх полуночей? Тебя переполняют сомнения. В горле, желудке, позвоночнике, руках, ногах снова оживает мороженое; и вдруг ты становишься холодным, как декабрьский ветер.

Ты осознаешь, что таковы все. Каждый одинок. Кругом люди, но все равно человеку страшно. Так же, как страшно мне, который сейчас здесь стоит. Кричи, зови на помощь — никто не поможет.

Ты так близко к оврагу, что за короткий промежуток времени с момента, когда твой крик услышат, до мгновения, когда прибегут к тебе на помощь, случиться может очень многое.

Поднимется и проглотит, и в один цепенящий душу и тело миг все будет кончено. Кончено еще задолго до рассвета, задолго до того, как полицейские начнут ощупывать потревоженную тропинку лучами фонариков, задолго до того, как зашуршит галька под ногами людей с дрожащим от страха мозгом, которые прибегут тебе помочь. Даже будь они всего в пятистах ярдах (а так оно на самом деле и есть), за какие-нибудь три секунды поднимется темная волна и отнимет у тебя твою восьмилетнюю жизнь...

Твое дрожащее тело сокрушено тяжестью одиночества. Мама одинока тоже. Сейчас она не ищет для себя опоры ни в святости брака, ни в любящей ее семье, ни в конституции Соединенных Штатов, ни у городской полиции — нигде, кроме собственного сердца, но и там она найдет только засасывающий, как трясина, страх.

Ты с трудом проглатываешь комок в горле, крепче прижимаешься к маме. «О боже, не дай ей умереть! — думаешь ты.— Не делай нам ничего плохого. Через час отец придет с собрания ложи, и если он увидит, что в доме никого нет...»

Мать начинает спускаться вниз по тропинке в первобытные заросли.

— Мам,— говоришь ты дрожащим голосом.— С Попрыгунчиком ничего не случилось. С Попрыгунчиком ничего не случилось. С ним ничего не случилось. С Попрыгунчиком ничего не случилось.

— Он всегда приходит с этой стороны,— говорит мать напряженным, высоким голосом.— Все время твержу ему, чтобы не ходил этой дорогой, но разве эти противные мальчишки когда-нибудь тебя послушают? Пойдет однажды вечером — и не вернется...

Не вернется. Это может означать что угодно. Бродяг. Преступников. Темноту. Несчастный случай. И даже смерть.

Один во Вселенной.

Миллион таких маленьких городков рассыпан по всему свету. Ночью каждый из них такой же темный, одинокий, удаленный от других городов. Так же дрожит от сомнений и страхов. Пронзительное пение минорных скрипок — вот музыка маленьких городков, и нет там фонарей, зато много мрака. О, катящийся через них вал одиночества! О, промозглость их скрытых от глаз оврагов! Кошмар — вот что такое жизнь в этих городках по ночам, когда со всех сторон рассудку, браку, детям, счастью грозит людоед, которому имя Смерть.

Мать посылает голос во тьму.

— Прыгун! Попрыгунчик! — кричит она.— Прыгун! Попрыгунчик!

И внезапно вы с ней осознаете: что-то не так. Определенно не так. Вы прислушиваетесь и осознаете, что именно.

Замолчали сверчки.

Мертвая тишина.

Никогда не было в вашей жизни такой тишины. Такой мертвой тишины. Отчего замолчали сверчки? Какая этому причина? Никогда прежде не замолкали они. Никогда.

Это может значить только одно. Только одно...

Что-то с л у ч и л о с ь.

Овраг будто напрягся, стянул вместе свои черные нити, через которые, на многие мили во все стороны, вбирает в себя энергию спящей округи. Из лесов, долин, пологих холмов, откуда собаки, задрав голову, смотрят на полную

луну,— из этого всего великая тишина переливается в некий центр, в котором сейчас находишься ты. Еще десять секунд — и что-то случится, случится... Сверчки по-прежнему соблюдают объявленное ими с тишиной перемирие, звезды так низко, что, кажется, подпрыгни — и ты рукой дотронешься до их фольги. Они горячие, с острыми зубчиками, и их несметное множество.

Все растет и растет тишина. Все растет и растет напряжение. О, как темно, как далеко от всего на свете! О боже!

И вдруг с той стороны оврага, из дальних далей:

— Все в порядке, мам! Сейчас буду!

И снова:

— Привет, мам! Сейчас буду!

А потом приглушенный топот ног в теннисных туфлях на дне оврага, и вот уже мы видим троих мальчишек. Твоего брата Попрыгунчика, Чака Редмена и Оджи Бартца. Бегут и смеются.

Как ошпаренные рóжки десятка миллионов улиток втягиваются в себя звезды.

Снова застрекотали сверчки!

Испуганная, растерянная, обозленная, темнота отступает. Отступает, теряя аппетит: ведь она совсем уже было собралась наесться, а еду у нее отняли, и так грубо! Тьма откатывается, как волна от берега, и остаются только трое смеющихся мальчишек.

— Привет, мам! Привет, Коротыш! Это я!

И правда, пахнет Попрыгунчиком. Пóтом, травой и кожаной бейсбольной перчаткой.

— Молодой человек, придется вас выпороть,— объявляет мама.

Страха ее как не бывало. Ты понимаешь, что она уже никогда в жизни никому о нем не расскажет. Однако он навсегда останется в глубине ее сердца и твоего.

Сквозь летнюю ночь ты идешь домой, спать. Ты рад, что Попрыгунчик жив. Ведь был миг, когда ты подумал, что...

Вдалеке, за виадуком, хоть и освещенный луной, но отсюда невидимый, проносится по долине поезд и свистит, похожий на железного зверя, безымянного и бегущего невесть куда. Дрожа, ты ложишься в постель рядом с братом, прислушиваешься к свистку паровоза и думаешь о

брате двоюродном, который жил не слишком далеко отсюда, там, где сейчас проезжает этот поезд; о двоюродном брате, который умер от пневмонии поздно ночью несколько лет тому назад... Рядом с тобой пахнет пóтом Попрыгунчика. Этот запах волшебный. Теперь ты уже не дрожишь. Мама выключает свет, и тут ты слышишь шаги на тротуаре перед домом. Кто-то знакомо откашливается.

Мама говорит:

— Это отец.

И правда, это он.

О СКИТАНЬЯХ ВЕЧНЫХ И О ЗЕМЛЕ

Семьдесят лет кряду Генри Уильям Филд писал рассказы, которых никто никогда не печатал, и вот однажды в половине двенадцатого ночи он поднялся и сжег десять миллионов слов. Отнес все рукописи в подвал своего мрачного старого особняка, в котельную, и швырнул в печь.

— Вот и все,— сказал он и, раздумывая о своих напрасных трудах и загубленной жизни, вернулся в спальню, полную всяческих антикварных диковинок, и лег в постель.— Зря я пытался изобразить наш безумный мир, это была ошибка. Год 2257-й, ракеты, атомные чудеса, странствия к чужим планетам и двойным солнцам. Кому же это под силу! Пробовали-то все. И ни у одного современного автора ничего не вышло.

Космос слишком необъятен, думал он. Межзвездные корабли слишком быстры, открытия атомной науки сли-

шком внезапны. Но другие с грехом пополам все же печатались, а он, богатый и праздный, всю жизнь потратил впустую.

Целый час он терзался такими мыслями, а потом побрел через ночные комнаты в библиотеку и зажег фонарь. Среди книг, к которым полвека никто не прикасался, он наудачу выбрал одну. Книге минуло три столетия, ветхие страницы пожелтели, но он впился в эту книгу и жадно читал до самого рассвета...

В девять утра Генри Уильям Филд выбежал из библиотеки, кликнул слуг, вызвал по телевизору юристов, друзей, ученых, литераторов.

— Приезжайте сейчас же! — кричал он.

Не прошло и часу, как у него собралось человек двенадцать; Генри Уильям Филд ждал в кабинете — встрепанный, небритый, до неприличия взбудораженный, переполненный каким-то непонятным лихорадочным весельем. Высохшими руками он сжимал толстую книгу и, когда с ним здоровались, только смеялся в ответ.

— Смотрите,— сказал он наконец,— вот книга, ее написал исполин, который родился в Эшвилле, штат Северная Каролина, в тысяча девятисотом году. Он давно уже обратился в прах, а когда-то написал четыре огромных романа. Он был как ураган. Он вздымал горы и вбирал в себя вихри. Пятнадцатого сентября тысяча девятьсот тридцать восьмого года он умер в Балтиморе, в больнице Джона Хопкинса, от древней страшной болезни — пневмонии, и после него остался чемодан, набитый рукописями, и все карандашом.

Собравшиеся посмотрели на книгу.

«Взгляни на дом свой, ангел».

Старик Филд выложил на стол еще три книги. «О времени и о реке», «Паутина и скала», «Домой возврата нет».

— Их написал Томас Вулф,— сказал он.— Три столетия он покоится в земле Северной Каролины.

— Неужели же вы созвали нас только затем, чтобы показать книги какого-то мертвеца? — изумились друзья.

— Нет, не только! Я созвал вас, потому что понял: Том Вулф — вот кто нам нужен! Вот человек, созданный для того, чтобы писать о великом, о Времени и Пространстве, о галактиках и космической войне, о метеорах и планетах.

Он любил и описывал все вот в таком роде, величественное и грозное. Просто он родился слишком рано. Ему нужен был материал поистине грандиозный, а на Земле он ничего такого не нашел. Ему следовало родиться не сто тысяч дней назад, а сегодня.

— А вы, боюсь, немного опоздали,— заметил профессор Боултон.

— Ну нет! — отрезал старик.— Я-то не дам действительности меня обокрасть. Вы, профессор, ставите опыты с путешествиями во времени. Надеюсь, вы уже в этом месяце достроите свою машину. Вот вам чек, сумму проставьте сами. Если понадобятся еще деньги, скажите только слово. Вы ведь уже путешествовали в прошлое, так?

— Да, на несколько лет назад, но не на столетия...

— А мы добьемся столетий! И вы все,— он обвел присутствующих неистовым сверкающим взором,— будете помогать Боултону. Мне необходим Томас Вулф.

Все ахнули.

— Да-да,— подтвердил старик.— Вот что я задумал. Вы доставите мне Вулфа. Сообща мы выполним великую задачу, полет с Земли на Марс будет описан так, как способен это сделать один лишь Томас Вулф.

И все ушли, а Филд остался со своими книгами, он листал ветхие страницы и, кивая, бормотал про себя:

— Да, да, конечно! Том — вот кто нам нужен. Том — самый подходящий парень для этого дела.

Медленно влачился месяц. Дни упорно не желали расставаться с календарем, нескончаемо тянулись недели, и Генри Уильям Филд готов был взвыть от отчаяния.

На исходе месяца он однажды проснулся в полночь. Трезвонил телефон. В темноте Филд протянул руку.

— Слушаю.

— Говорит профессор Боултон.

— Что скажете?

— Я отбываю через час.

— Отбываете? Куда? Вы что, бросаете работу? Это невозможно!

— Позвольте, мистер Филд. Отбываю — это значит отбываю.

— Так вы и вправду отправляетесь?

— Через час.

— В тысяча девятьсот тридцать восьмой? Пятнадцатое сентября?

— Да.

— Вы точно записали дату? Вдруг вы прибудете, когда он уже умрет? Смотрите не опоздайте! Постарайтесь попасть туда загодя — скажем, за час до его смерти.

— Хорошо.

— Я так волнуюсь, насилу держу трубку в руках. Счастливо, Боултон! Доставьте его сюда в целости и сохранности.

— Спасибо, сэр. До свидания.

В трубке щелкнуло.

Генри Уильям Филд лежал без сна, ночь отсчитывала минуты. Он думал о Томе Вулфе как о давно потерянном брате, которого надо поднять невредимым из-под холодного могильного камня, возвратить ему плоть и кровь, горение и слово. И всякий раз он трепетал при мысли о Боултоне — о том, кого ветер Времени уносит вспять, к иным календарям, к иным лицам.

«Том,— в полудреме думал он с бессильной нежностью, словно старик отец, взывающий к любимому, давно потерянному сыну.— Том, где ты сейчас? Приходи, мы тебе поможем, ты непременно должен прийти, ты нам так нужен! Мне это не под силу, Том, и никому из нас, теперешних, не под силу. Раз уж я сам не могу с этим справиться, так хоть помогу тебе. У нас ты можешь шутя играть ракетами, Том, вот тебе звезды — пригоршни цветных стеклышек. Бери все, что душе угодно, у нас все есть. Тебе придутся по вкусу наше горение и наши странствия — они созданы для тебя. Мы, нынешние,— жалкие писаки, Том, я всех перечел, и ни один тебя не стоит. Я одолел многое множество их сочинений, Том, и нигде ни на миг не ощутил Пространства — для этого нужен ты! Дай же старику то, к чему он стремился всю жизнь, ведь, бог свидетель, я всегда ждал, что сам ли я или кто другой напишет наконец поистине великую книгу о звездах,— и ждал напрасно. Каков ты ни есть сегодня ночью, Том Вулф, покажи, на что ты способен. Эту книгу ты готовился создать. Критики говорят, эта прекрасная книга уже сложилась у тебя в голове, но тут жизнь твоя оборвалась. И вот выпал случай,

Том, ты ведь его не упустишь? Ты ведь послушаешься и придешь к нам, придешь сегодня ночью и будешь здесь утром, когда я проснусь? Правда, Том?»

Веки Филда смежились; смолк язык, лихорадочно лепетавший все ту же настойчивую мольбу; уснули губы.

Часы пробили четыре.

Он пробудился ясным трезвым утром и ощутил в груди нарастающий прилив волнения. Он боялся мигнуть — вдруг то, что ждет его где-то в доме, кинется бежать, хлопнет дверью и исчезнет навеки! Он прижал руки к худой старческой груди.

Вдалеке... шаги...

Одна за другой отворялись и затворялись двери. В спальню вошли двое.

Филд слышал их дыхание. И уже различал походку. У одного мелкие, аккуратные шажки, точно у паука,— это Боултон. Поступь второго выдает человека рослого, крупного, грузного.

— Том? — вскрикнул старик. Он все еще не открывал глаз.

— Да,— услышал он наконец.

Едва Филд увидел Тома Вулфа, образ, созданный его воображением, лопнул по всем швам, как слишком тесная одежка на большом не по возрасту ребенке.

— Дай я на тебя погляжу, Том Вулф! — снова и снова твердил Филд, неуклюже вылезая из постели. Его трясло.— Да поднимите же шторы, дайте на него посмотреть! Том Вулф, неужели это ты?

Огромный, плотный Том Вулф смотрел на него сверху вниз, растопырив тяжелые руки, чтобы не потерять равновесие в этом незнакомом мире. Он посмотрел на старика, обвел глазами комнату, губы его дрожали.

— Ты совсем такой, как тебя описывали, Том, только больше.

Томас Вулф засмеялся, захохотал во все горло — решил, должно быть, что сошел с ума или видит какой-то нелепый сон; шагнул к старику, дотронулся до него, оглянулся на профессора Боултона, ощупал свои плечи, ноги, осторожно покашлял, приложил ладонь ко лбу.

— Жара больше нет,— сказал он.— Я здоров.

— Конечно, здоров, Том!

— Ну и ночка! — сказал Томас Вулф.— Тяжко мне пришлось. Я думал, ни одному больному на свете не бывало так худо. Вдруг чувствую — плыву. И подумал: ну и жар у меня! Чувствую, меня куда-то несет. И подумал: все, умираю. Подходит ко мне человек. Я подумал — гонец господень. Взял он меня за руки. Чую — электричеством пахнет. Взлетел я куда-то вверх, вижу — медный город. Ну, думаю, прибыл. Вот оно, царство небесное, а вот и врата! Окоченел я с головы до ног, будто меня держали в снегу. Смех разбирает, надо мне что-то делать, а то я окончательно решу, что спятил. Вы ведь не господь бог, а? С виду что-то не похоже.

Старик рассмеялся:

— Нет-нет, Том, я не бог, только прикидываюсь. Я Филд.— Он опять засмеялся.— Надо же! Я так говорю, как будто он может знать, кто такой Филд. Том, я Филд, финансовый туз,— кланяйся пониже, целуй руку. Я Генри Филд, мне нравятся твои книги. Я перенес тебя сюда. Подойди-ка.

И он потащил Вулфа к широченному зеркальному окну.

— Видишь в небе огни, Том?

— Да, сэр.

— Фейерверк видишь?

— Вижу.

— Это совсем не то, что ты думаешь, сынок. Нынче не Четвертое Июля. Не как в твое время. Теперь у нас каждый день — праздник независимости. Человек объявил, что он свободен от Земли. Власть земного притяжения давным-давно свергнута. Человечество победило. Вон та зеленая «римская свеча» летит на Марс. А тот красный огонек — ракета с Венеры. И еще... видишь, сколько их? Желтые, голубые... Это межпланетные корабли.

Томас Вулф смотрел во все глаза, точно ребенок-великан, завороженный многоцветными огненными чудесами, что сверкают, и кружат в июльских сумерках, и вспыхивают, и разрываются с оглушительным треском.

— Какой теперь год?

— Год ракеты. Смотри!

Старик коснулся каких-то растений, и у него под рукой они вдруг расцвели. Цветы были точно белое и голубое пламя. Они пламенели, искрились прохладными удлинен-

ными лепестками. Венчики их были два фута в поперечнике и холодно голубели, словно осенняя луна.

— Это лунные цветы,— сказал Филд.— С обратной стороны Луны.— Он чуть коснулся их, и они осыпались серебряным дождем, брызнули белые искры и растаяли в воздухе.— Год ракеты. Вот тебе подходящее название, Том. Вот почему мы перенесли тебя сюда: ты нам нужен. Ты единственный человек, способный совладать с Солнцем и не обратиться в жалкую горсточку золы. Мы хотим, чтобы ты играл Солнцем, как мячом,— Солнцем и звездами. И всем, что увидишь по пути на Марс.

— На Марс? — Томас Вулф сбернулся, схватил старика за плечо, наклонился, недоверчиво всматриваясь ему в лицо.

— Да. Ты летишь сегодня в шесть.

Старик поднял затрепетавший в воздухе розовый билетик и ждал, когда Том догадается его взять.

Было пять часов.

— Да-да, конечно, я очень ценю все, что вы сделали! — воскликнул Томас Вулф.

— Сядь, Том. Перестань бегать из угла в угол.

— Дайте договорить, мистер Филд, дайте мне кончить, я должен высказать все до конца.

— Мы уже столько часов спорим,— в изнеможении взмолился Филд.

Они проговорили с утреннего завтрака до полудня и с полудня до вечернего чая, переходили из одной комнаты в другую (а их была дюжина) и от одного довода к другому (а их было десять дюжин); обоих бросало в жар и в холод. И снова в жар.

— Все сводится вот к чему,— сказал наконец Томас Вулф.— Не могу я здесь оставаться, мистер Филд. Я должен вернуться. Это не мое время. Вы не имели права вмешиваться...

— Но...

— Моя работа была в самом разгаре, а лучшую свою книгу я еще и не начал — и вдруг вы хватаете меня и переносите на три столетия вперед. Вызовите профессора Боултона, мистер Филд. Пускай он посадит меня в свою машину, какая она ни есть, и отправит обратно в тысяча

девятьсот тридцать восьмой, там мое время и мое место. Больше мне от вас ничего не надо.

— Неужели ты не хочешь увидеть Марс?

— Еще как хочу! Но я знаю, это не для меня. Вся моя работа пойдет прахом. На меня навалится груда ощущений, которые я не смогу вместить в мои книги, когда вернусь домой.

— Ты не понимаешь, Том, ты просто не понимаешь.

— Прекрасно понимаю, вы эгоист.

— Эгоист? — переспросил старик.— Да, конечно, и еще какой! Ради себя и ради других.

— Я хочу вернуться домой.

— Послушай, Том...

— Вызовите профессора Боултона!

— Том, я очень не хотел тебе говорить... Я надеялся, что не придется, что в этом не будет нужды. Но ты не оставляешь мне выбора.

Старик протянул руку к завешенной стене, отдернул занавес, открыв большой белый экран, и начал вращать диск, набирая какие-то цифры; экран замерцал, ожил, огни в комнате медленно померкли, и перед глазами возникло кладбище.

— Что вы делаете? — резко спросил Вулф, шагнул вперед и уставился на экран.

— Я совсем этого не хотел,— сказал старик.— Смотри.

Кладбище лежало перед ними в ярком свете летнего полдня. С экрана потянуло жарким запахом летней земли, разогретого гранита, свежестью журчащего по соседству ручья. В ветвях дерева свистела какая-то пичуга. Среди могильных камней кивали алые и желтые цветы, экран двигался, небо поворачивалось, старик вертел диск, увеличивая изображение... И вот посреди экрана выросла мрачная гранитная глыба — она растет, близится, заполняет все, они уже ничего больше не видят и не чувствуют, и в полутемной комнате Томас Вулф, подняв глаза, читает высеченные на граните слова — раз, другой, третий... И, задохнувшись, перечитывает вновь, ибо это его имя: ТОМАС ВУЛФ — и дата его рождения, и дата смерти, и в холодной комнате пахнет душистым зеленым папоротником.

— Выключите,— сказал он.

— Прости, Том.

— Выключите, ну! Не верю я этому.

— Это правда.

Экран почернел, и комнату накрыл полуночный небосвод, она стала склепом, едва чувствовалось последнее дыхание цветов.

— Значит, я уже не проснулся,— сказал Томас Вулф.

— Да. Ты умер тогда, в сентябре тысяча девятьсот тридцать восьмого.

— И не дописал книгу.

— Ее напечатали другие, они отнеслись к ней очень бережно, сделали за тебя все, что надо.

— Я не дописал свою книгу, не дописал!

— Не горюй так.

— Вам легко говорить!

Старик все не зажигал света. Ему не хотелось видеть Тома таким.

— Сядь, сынок.

Молчание.

— Том?

Никакого ответа.

— Сядь, сынок. Хочешь чего-нибудь выпить?

Вздох, потом сдавленное рычание, словно застонал раненый зверь.

— Это несправедливо, нечестно! Мне надо было еще столько сделать!

Он глухо зарыдал.

— Перестань,— сказал старик.— Слушай. Выслушай меня. Ты еще жив, так? Здесь, сейчас — ты живой? Ты дышишь и чувствуешь, верно?

Томас Вулф ответил не сразу:

— Верно.

— Так вот...— В темноте Филд подался вперед.— Я перенес тебя сюда, Том, я даю тебе еще одну возможность. Лишний месяц или около того. Думаешь, я тебя не оплакивал? Я прочел твои книги, а потом увидел надгробный камень, который триста лет точили ветер и дождь, и подумал: такого таланта не стало! Эта мысль меня просто убила, поверь. Просто убила! Я не жалел денег, лишь бы найти какой-то путь к тебе. Ты получил отсрочку — правда, короткую, очень короткую. Профессор Боултон говорит, если очень повезет, мы сумеем продержать каналы Времени открытыми два месяца. Он будет держать

их для тебя два месяца, но не дольше. За этот срок ты должен написать книгу, Том, ту книгу, которую мечтал написать,— нет-нет, сынок, не ту, которую ты писал для современников, они все умерли и обратились в прах, этого уже не изменить. Нет, теперь ты создашь книгу для нас, живущих, она нам очень-очень нужна. Ты оставишь ее нам ради себя же самого, она будет во всех отношениях выше и лучше твоих прежних книг... Ведь ты ее напишешь, Том? Можешь ты на два месяца забыть тот камень, больницу — и писать для нас? Ты напишешь, правда, Том?

Комнату медленно заполнил свет. Том Вулф стоял и смотрел в окно — большой, массивный, а лицо бледное, усталое. Он смотрел на ракеты, что проносились в неярком вечереющем небе.

— Я сперва не понял, что́ вы для меня сделали,— сказал он.— Вы мне даете еще немного времени, а время мне всего дороже и нужней, оно мне друг и враг, я всегда с ним воевал, и отблагодарить вас я, видно, могу только одним способом. Будь по-вашему.— Он запнулся.— А когда я кончу работу? Что тогда?

— Вернешься в больницу, Том, в тысяча девятьсот тридцать восьмой год.

— Иначе нельзя?

— Мы не можем изменить Время. Мы взяли тебя только на пять минут. И вернем тебя на больничную койку через пять минут после того, как ты ее оставил. Таким образом, мы ничего не нарушим. Все это уже история. Тем, что ты живешь сейчас с нами, в будущем, ты нам не повредишь. Но если ты откажешься вернуться, ты повредишь прошлому, а значит, и будущему, многое перевернется, будет хаос.

— Два месяца,— сказал Томас Вулф.

— Два месяца.

— А ракета на Марс летит через час?

— Да.

— Мне нужны бумага и карандаши.

— Вот они.

— Надо собираться. До свиданья, мистер Филд.

— Счастливо, Том.

Шесть часов. Заходит солнце. Небо алеет, как вино. В просторном доме тишина. Жарко, но старика знобит, и вот наконец появляется профессор Боултон.

— Ну как, Боултон? Как он себя чувствовал, как держался на космодроме? Да говорите же!

Профессор улыбается:

— Он просто чудище — такой великан, ни один скафандр ему не впору, пришлось спешно делать новый. Жаль, вы не видели, что это было: все-то он обошел, все ощупал, принюхивается, как большой пес, говорит без умолку, глаза круглые, ненасытные. И от всего приходит в восторг — прямо как мальчишка!

— Дай-то бог, дай бог! Боултон, а вы правда продержите его тут два месяца?

Профессор нахмурился.

— Вы же знаете, он не принадлежит нашему времени. Если энергия здесь хоть на миг ослабнет, Вулфа разом притянет обратно в прошлое, как бумажный мячик на резинке. Поверьте, мы всячески стараемся его удержать.

— Это необходимо, поймите! Нельзя, чтобы он вернулся, не докончив книгу! Вы должны...

— Смотрите! — прервал Боултон.

В небо взмыла серебряная ракета.

— Это он? — спросил старик.

— Да,— сказал профессор.— Это Вулф летит на Марс.

— Браво, Том! — завопил старик, потрясая кулаками над головой.— Задай им жару!

Ракета утонула в вышине, они проводили ее глазами.

К полуночи до них дошли первые страницы.

Генри Уильям Филд сидел у себя в библиотеке. Перед ним на столе гудел аппарат. Аппарат повторял слова, написанные далеко по ту сторону Луны. Он выводил их черным карандашом, в точности воспроизводя торопливые каракули Томаса Вулфа, нацарапанные за миллион миль отсюда. Насилу дождались, чтобы на стол легла стопка бумажных листов. Старик схватил их и принялся читать, а Боултон и слуги стояли и слушали. Он читал о Пространстве и Времени, и о полете, о большом человеке в большом пути, о долгой полночи и о холоде космоса, и о том, как изголодавшийся человек с жадностью поглощает все это и требует еще и еще. Он читал, и каждое слово полно было горения, и грома, и тайны.

«Космос — как осень»,— писал Томас Вулф. И говорил о пустынном мраке, об одиночестве, о том, как мал затерянный в космосе человек. Говорил о вечной, непреходя-

щей осени. И еще — о межпланетном корабле, о том, как пахнет металл и какой он на ощупь, и о чувстве высокой судьбы, о неистовом восторге, с каким наконец-то отрываешься от Земли, оставляешь позади все земные задачи и печали и стремишься к задаче куда более трудной, к печали куда более горькой. Да, это были прекрасные страницы, и они говорили то, что непременно надо было сказать о Вселенной и о человеке и о его крохотных ракетах, затерянных в космосе.

Старик читал, пока не охрип, за ним читал Боултон, потом остальные — до глубокой ночи, когда аппарат перестал писать и все поняли, что Том уже в постели там, в ракете, летящей на Марс... Наверно, он еще не спит. Нет, еще долго он не уснет, так и будет лежать без сна, словно мальчишка в канун открытия цирка; ему все не верится, что уже воздвигнут огромный, черный, весь в драгоценных каменьях балаган, и представление начинается, и десять миллиардов сверкающих акробатов качаются на туго натянутых проволоках, на незримых трапециях Пространства.

— Ну вот! — выдохнул старик, бережно откладывая последние страницы первой главы.— Что вы об этом скажете, Боултон?

— Это хорошо.

— Черта с два хорошо! — заорал Филд.— Это великолепно! Прочтите еще раз, сядьте и прочтите еще раз, черт вас побери!

Так оно и шло, день за днем, по десять часов кряду. На полу росла груда желтоватой исписанной бумаги — за неделю она стала огромной, за две недели — неправдоподобной, к концу месяца — совершенно немыслимой.

— Вы только послушайте! — кричал Филд и читал вслух.

— А это?! — говорил он.

— А вот еще глава, Боултон, а вот повесть, она только что передана, называется «Космическая война», целая повесть о том, каково это — воевать в космосе. Он говорил с разными людьми, расспрашивал солдат, офицеров, ветеранов Пространства. И обо всем написал. А вот еще глава, называется «Долгая полночь», а эта — о том, как негры заселили Марс, а вот очерк — портрет марсианина, ему просто цены нет!

Боултон откашлялся.

— Мистер Филд...

— После, после, не мешайте.

— Дурные новости, сэр.

Филд вскинул седую голову.

— Что такое? Что-нибудь с Элементом Времени?

— Передайте Вулфу, пускай поторопится,— мягко сказал Боултон.— Вероятно, на этой неделе связь с Прошлым оборвется.

— Я дам вам еще миллион долларов, только поддерживайте ее.

— Дело не в деньгах, мистер Филд. Сейчас все зависит от самой обыкновенной физики. Я сделаю все, что в моих силах. Но вы его предупредите на всякий случай.

Старик съежился в кресле, стал совсем крохотный.

— Неужели вы сейчас отнимете его у меня? Он так великолепно работает! Видели бы вы, какие эскизы он передал только час назад — рассказы, наброски. Вот, вот — это про космические течения, а это о метеоритах. А вот начало повести под названием «Пушинка и пламя»...

— Что поделаешь...

— Но если мы сейчас его лишимся, может быть, вы сумеете доставить его сюда еще раз?

— Неумеренное вмешательство в Прошлое слишком опасно.

Старик будто окаменел.

— Тогда вот что. Устройте так, чтобы Вулф не тратил ни минуты на канитель с карандашом и бумагой — пускай печатает на машинке либо диктует. Словом, позаботьтесь о какой-нибудь механизации. Непременно!

Аппарат стрекотал без устали — за полночь, и потом до рассвета, и весь день напролет. Старик Филд провел бессонную ночь; едва он смежит веки, аппарат вновь оживает — и он встрепенется, и снова космические просторы и странствия и необъятность бытия хлынут к нему, преображенные мыслью другого человека.

«...бескрайние звездные луга космоса...»

Аппарат запнулся, дрогнул.

— Давай, Том! Покажи им!

Старик застыл в ожидании.

Зазвонил телефон.

Голос Боултона:

— Мы больше не можем поддерживать связь, мистер

Филд. Еще минута — и контакт Времени сойдет на нет.

— Сделайте что-нибудь!

— Не могу.

Телетайп дрогнул. Словно околдованный, похолодев от ужаса, старик Филд следил, как складываются черные строчки:

«...марсианские города — изумительные, неправдоподобные, точно камни, снесенные с горных вершин какой-то стремительной, невероятной лавиной и застывшие наконец сверкающими россыпями...»

— Том! — вскрикнул старик.

— Всё,— прозвучал в телефонной трубке голос Боултона.

Телетайп помедлил, отстучал еще слово и умолк.

— Том!!! — отчаянно закричал Филд.

Он стал трясти телетайп.

— Бесполезно,— сказал голос в трубке.— Он исчез. Я отключаю Машину Времени.

— Нет! Погодите!

— Но...

— Слышали, что я сказал? Погодите выключать! Может быть, он еще здесь.

— Его больше нет. Это бесполезно, энергия уходит впустую.

— Пускай уходит!

Филд швырнул трубку.

И повернулся к телетайпу, к незаконченной фразе.

— Ну же, Том, не могут они вот так от тебя отделаться, не поддавайся, мальчик, ну же, продолжай! Докажи им, Том, ты же молодчина, ты больше, чем Время и Пространство и все эти треклятые маханизмы, у тебя такая силища, у тебя железная воля, Том, докажи им всем, не давай отправить тебя обратно!

Щелкнула клавиша телетайпа.

— Том, это ты? — вне себя забормотал старик.— Ты еще можешь писать? Пиши, Том, не сдавайся, пока ты не опустил рук, тебя не могут отослать обратно, не могут!!!

«В»,— стукнула машина.

— Еще, Том, еще!

«...дыхании...» — отстучала она.

— Ну, ну?!

«...Марса»,— напечатала машина и остановилась.

Короткая тишина. Щелчок. И машина начала сызнова, с новой строчки:

«В дыхании Марса ощущаешь запах корицы и холодных пряных ветров, тех ветров, что вздымают летучую пыль, и омывают истлевшие кости, и приносят пыльцу давным-давно отцветших цветов...»

— Том, ты еще жив!

Вместо ответа аппарат еще десять часов кряду взрывался лихорадочными приступами и отстучал шесть глав «Бегства от демонов».

— Сегодня уже полтора месяца, Боултон, целых полтора месяца, как Том полетел на Марс и на астероиды. Смотрите, вот рукописи. Десять тысяч слов в день, он не дает себе передышки, не знаю, когда он спит, успевает ли поесть, да это мне все равно, и ему тоже, ему одно важно: дописать. Он ведь знает, что время не ждет.

— Непостижимо,— сказал Боултон.— Наши реле не выдержали, энергия упала. Мы изготовили для главного канала новые реле, которые обеспечивают надежность Элемента Времени, но ведь на это ушло три дня — и все-таки Вулф продержался! Видно, это зависит еще и от его личности, тут действует что-то такое, чего мы не предусмотрели. Здесь, в нашем времени, Вулф живет — и оказывается, Прошлому не так-то легко его вернуть. Время не так податливо, как мы думали. Мы пользовались неправильным сравнением. Это не резинка. Это больше похоже на диффузию — взаимопроникновение жидких слоев. Прошлое как бы просачивается в Настоящее... Но все равно придется отослать его назад, мы не можем оставить его здесь: в Прошлом образуется пустота, все сместится и спутается. В сущности, Вулфа сейчас удерживает у нас только одно: он сам, его страсть, его работа. Дописав книгу, он ускользнет из нашего времени так же естественно, как выливается вода из стакана.

— Мне плевать, что, как и почему,— возразил Филд.— Я знаю одно: Том заканчивает свою книгу! У него все тот же талант и вдохновение и есть что-то еще, что-то новое, он ищет ценностей, которые превыше Пространства и Времени. Он написал психологический этюд о женщине, которая остается на Земле, когда отважные космонавты

устремляются в Неизвестность,— это прекрасно написано, правдиво и тонко; Том назвал свой этюд «День ракеты», он описал всего лишь один день самой обыкновенной провинциалки, она живет у себя в доме, как жили ее прабабки,— ведет хозяйство, растит детей... Невиданный расцвет науки, грохот космических ракет, а ее жизнь почти такая же, как была у женщин в каменном веке. Том правдиво, тщательно и проникновенно описал ее порывы и разочарования. Или вот еще рукопись, называется «Индейцы». Тут он пишет о марсианах: они — индейцы космоса, их вытеснили и уничтожили, как в старину индейские племена — чероков, ирокезов, чернопогих. Выпейте, Боултон, выпейте!

На исходе второго месяца Том Вулф возвратился на Землю.

Он вернулся в пламени, как в пламени улетал, шагами исполина он пересек космос и вступил в дом Генри Уильяма Филда, в библиотеку, где на полу громоздились кипы желтой бумаги, исчерканной карандашом либо покрытой строчками машинописи; груды эти предстояло разделить на шесть частей, они составляли шедевр, созданный с невероятной быстротой нечеловечески упорным трудом, в постоянном сознании неумолимо уходящих минут.

Том Вулф возвратился на Землю, он стоял в библиотеке Филда и смотрел на громады, рожденные его сердцем и его рукой.

— Хочешь все это прочесть, Том? — спросил старик.

Но он покачал массивной головой, широкой ладонью откинул назад гриву темных волос.

— Нет,— сказал он.— Боюсь начинать. Если начну, захочу взять все это с собой. А мне ведь нельзя это забрать домой, правда?

— Нельзя, Том.

— А очень хочется.

— Ничего не поделаешь, нельзя. В тот год ты не написал нового романа. Что написано здесь, должно здесь и остаться, что написано там, должно остаться там. Ничего нельзя изменить.

— Понимаю.— С тяжелым вздохом Вулф опустился в

кресло.— Устал я. Ужасно устал. Нелегко это было. Но и здорово! Который же сегодня день?

— Шестидесятый.

— Последний?

Старик кивнул, и долгие минуты оба молчали.

— Назад в тысяча девятьсот тридцать восьмой, на кладбище, под камень,— сказал Том Вулф, закрыв глаза.— Не хочется мне. Лучше бы я про это не знал, страшно знать такое...

Голос его замер, он уткнулся лицом в широкие ладони да так и застыл.

Дверь отворилась. Вошел Боултон со склянкой в руках и остановился за креслом Тома Вулфа.

— Что это у вас? — спросил старик Филд.

— Давно уничтоженный вирус,— ответил Боултон.— Пневмония. Очень древний и очень свирепый недуг. Когда мистер Вулф прибыл к нам, мне, разумеется, пришлось его вылечить, чтобы он мог справиться со своей работой; при нашей современной технике это было проще простого. Культуру микроба я сохранил. Теперь, когда мистер Вулф возвращается, надо будет заново привить ему пневмонию.

— А если не привить?

Том Вулф поднял голову.

— Если не привить, в тысяча девятьсот тридцать восьмом году он выздоровеет.

Том Вулф встал.

— То есть как? Выздоровею, встану на ноги — там, у себя,— буду здоров и натяну могильщикам нос?

— Совершенно верно.

Том Вулф уставился на склянку, рука его судорожно дернулась.

— Ну а если я уничтожу этот ваш вирус и не дамся вам?

— Этого никак нельзя!

— Ну... а если?

— Вы всё разрушите.

— Что всё?

— Связь вещей, ход событий, жизнь, всю систему того, что есть и что было, что мы не вправе изменить. Вы не можете все это нарушить. Безусловно одно: вы должны умереть, и я обязан об этом позаботиться.

Вулф поглядел на дверь.

— А если я убегу и вернусь без вашей помощи?

— Машина Времени у нас под контролем. Вам не выйти из этого дома. Я вынужден буду силой вернуть вас сюда и сделать прививку. Я предвидел, что под конец осложнений не миновать, и сейчас внизу наготове пять человек. Стоит мне крикнуть... Сами видите, это бесполезно. Ну вот, так-то лучше.

Вулф отступил, обернулся, поглядел на старика, в окно, обвел взглядом просторную комнату.

— Простите меня. Очень не хочется умирать. Ох, как не хочется!

Старик подошел, стиснул его руку.

— А ты смотри на это так: тебе удалось небывалое — выиграть у жизни два месяца сверх срока; и ты написал еще одну книгу — последнюю, новую книгу! Подумай об этом, и тебе станет легче.

— Спасибо вам за это,— серьезно сказал Томас Вулф.— Спасибо вам обоим. Я готов.— Он засучил рукава.— Давайте вашу прививку.

И пока Боултон делал свое дело, Вулф свободной рукой взял карандаш и на первом листе первой части рукописи вывел две строчки, потом вновь заговорил:

— В одной моей старой книге есть такое место...— Он нахмурился, вспоминая: — «...о скитаньях вечных и о Земле... Кто владеет Землей? И для чего нам Земля? Чтобы скитаться по ней? Для того ли нам Земля, чтобы не знать на ней покоя? Всякий, кому нужна Земля, обретет ее, останется на ней, успокоится на малом клочке и пребудет в тесном уголке ее вовеки...» — Вулф минуту помолчал.— Вот она, моя последняя книга,— сказал он потом и на чистом желтом листе огромными черными буквами, с силой нажимая карандашом, вывел: «ТОМАС ВУЛФ — О СКИТАНЬЯХ ВЕЧНЫХ И О ЗЕМЛЕ».— Он схватил кипу исписанных листов, на миг прижал к груди.— Хотел бы я забрать ее с собой. Точно расстаешься с родным сыном!

Отложил рукопись, хлопнул по ней ладонью, наскоро пожал руку Филда и зашагал к двери; Боултон двинулся за ним. На пороге Вулф остановился, озаренный предвечерним солнцем, огромный, величественный.

— Прощайте! — крикнул он.— Прощайте!

Хлопнула дверь. Том Вулф исчез.

Наконец его нашли, он брел по больничному коридору.

— Мистер Вулф!

— Да?

— Ну и напугали вы нас, мистер Вулф, мы уж думали, вы исчезли!

— Исчез?

— Где вы пропадали?

— Где? Где пропадал? (Его вели полуночными коридорами, он покорно шел.) Ого, если бы я и сказал вам где... Все равно вы не поверите.

— Вот и ваша кровать, напрасно вы встали.

И он спустился на белое смертное ложе, от которого исходило слабое чистое веяние уготованного ему конца, близкого конца, пахнущего больницей; он едва коснулся этого ложа — и оно поглотило его, окутало больничным запахом и холодной крахмальной белизной.

— Марс, Марс,— шептал исполин в тишине ночи.— Моя лучшая, самая лучшая, подлинно прекрасная книга, она еще будет написана, будет напечатана, в иной год, через три столетия...

— Вы слишком возбуждены.

— Вы думаете? — пробормотал Томас Вулф.— Так это был сон? Может быть... Хороший сон...

Его дыхание оборвалось. Томас Вулф был мертв.

Идут годы, на могиле Тома Вулфа опять и опять появляются цветы. И казалось бы, что тут странного, ведь немало народу приходит ему поклониться. Но эти цветы появляются каждую ночь. Будто с неба падают. Огромные, цвета осенней луны, они пламенеют, искрятся прохладными удлиненными лепестками, они словно белое и голубое пламя. А едва подует предрассветный ветер, они осыпаются серебряным дождем, брызжут белые искры и тают в воздухе. Прошло уже много-много лет с того дня, как умер Том Вулф, а цветы появляются вновь и вновь...

ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Роби Моррисон слонялся, не зная, куда себя деть, в тропическом зное, а с берега моря доносилось глухое и влажное грохотанье волн. В зелени Острова Ортопедии затаилось молчание.

Был год тысяча девятьсот девяносто седьмой, но Роби это нисколько не интересовало.

Его окружал сад, и он, уже девятилетний, рыскал по этому саду, как хищный зверь в поисках добычи. Был Час Размышлений. Снаружи к северной стене сада примыкали Апартаменты Вундеркиндов, где ночью в крохотных комнатках спали на специальных кроватях он и другие мальчики. По утрам они вылетали из своих постелей, как пробки из бутылок, кидались под душ, заглатывали еду, и вот они уже в цилиндрических кабинах, вакуумная под-

земка их всасывает, и снова на поверхности они вылетают посередине Острова, прямо к Школе Семантики. Оттуда — позднее — в Физиологию. После Физиологии вакуумная труба уносит Роби в обратном направлении, и через люк в толстой стене он выходит в сад, чтобы провести там этот глупый Час никому не нужных Размышлений, предписанных ему Психологами.

У Роби об этом часе было свое твердое мнение: черт знает до чего занудно.

Сегодня он был разъярен и бунтовал. Со злобной завистью он поглядывал на море: эх, если бы и он мог так же свободно приходить и уходить! Глаза Роби потемнели от гнева, щеки горели, маленькие руки не знали покоя.

Откуда-то послышался тихий звон. Целых пятнадцать минут еще размышлять — брр! А потом в Робот-Столовую, придать подобие жизни, набив его доверху, своему мертвеющему от голода желудку, как таксидермист, набивая чучело, придает подобие жизни птице.

А после научно обоснованного, очищенного от всех ненужных примесей обеда — по вакуумным трубам назад, на этот раз в Социологию. В зелени и духоте Главного Сада к вечеру, разумеется, будут игры. Игры, родившиеся не иначе как в страшных снах какого-нибудь страдающего разжижением мозгов психолога. Вот оно, будущее! Теперь, мой друг, ты живешь так, как тебе предсказали люди прошлого, еще в годы тысяча девятьсот двадцатый, тысяча девятьсот тридцатый и тысяча девятьсот сорок второй! Все свежее, похрустывающее, гигиеничное — чересчур свежее! Никаких тебе противных родителей и потому никаких комплексов! Все учтено, мой милый, все под контролем!

Чтобы по-настоящему воспринять что-нибудь из ряда вон выходящее, Роби следовало быть в самом лучшем расположении духа.

У него оно было сейчас совсем иное.

Когда, через несколько мгновений, с неба упала звезда, он разозлился еще больше, только и всего.

Оказалось, что на самом деле звезда имеет форму шара. Она ударилась о землю, прокатилась, оставляя горящий след, по зеленой траве и остановилась. Внезапно в ней со щелчком открылась маленькая дверца.

Это как-то смутно напомнило Роби сегодняшний сон.

Тот самый, который он наотрез отказался записать утром в свою Тетрадь Сновидений. Сон этот почти было вспомнился ему в то мгновение, когда в звезде настежь открылась дверца и оттуда появилось... нечто.

Непонятно что.

Юные глаза, когда видят какой-то новый предмет, обязательно ищут в нем черты чего-то уже знакомого. Роби не мог понять, что именно вышло из шара. И потому, наморщив лоб, подумал о том, на что это больше всего похоже.

И тотчас нечто стало чем-то определенным.

Хотя воздух был теплый, мальчика пробил озноб. Что-то замерцало, начало, будто плавясь, перестраиваться, меняться и обрело наконец вполне определенные очертания.

Возле металлической звезды стоял человек, высокий, худой и бледный; он был явно ошеломлен.

Глаза у человека были розоватые, полные ужаса.

— Так это ты? — Роби был разочарован.— Песочный Человек[1], только и всего?

— Пе... Песочный Человек?

Незнакомец переливался, как марево над кипящим металлом. Трясущиеся руки взметнулись вверх и стали судорожно ощупывать его же длинные, медного цвета волосы, словно он никогда не видел или не касался их раньше. Песочный Человек испуганно оглядывал свои руки, ноги, туловище, как будто ничего такого раньше у него не было.

— Пе... сочный Человек?

Оба слова он произнес с трудом. Похоже, что вообще говорить было для него делом новым. Казалось, он хочет убежать, но что-то удерживает его на месте.

— Конечно,— подтвердил Роби.— Ты мне спишься каждую ночь. О, я знаю, что ты думаешь. Семантически, говорят наши учителя, разные там духи, привидения, домовые, феи, и Песочный Человек тоже, всего лишь названия, слова, которым в действительности ничто не соответствует — ничего такого на самом деле просто нет. Но наплевать на то, что они говорят. Мы, дети, знаем обо всем этом

---

[1] Персонаж детской сказки; считается, что он приходит к детям, которые не хотят уснуть, и засыпает им песком глаза.— *Примеч. пер.*

больше учителей. Вот он ты, передо мной, а это значит, что учителя ошибаются. Ведь существуют все-таки Песочные Люди, правда?

— Не называй меня никак! — закричал вдруг Песочный Человек. Он будто что-то понял, и это вызвало в нем неописуемый страх. Он по-прежнему ощупывал, теребил, щипал свое только что обретенное длинное тело с таким видом, как если бы это было что-то ужасное.— Не надо мне никаких названий!

— Как это?

— Я нечто необозначенное! — взвизгнул Песочный Человек.— Никаких названий для меня, пожалуйста! Я нечто необозначенное и ничего больше! Отпусти меня!

Зеленые кошачьи глаза Роби сузились.

— Между прочим...— Он уперся руками в бока.— Не мистер ли Грилл тебя подослал? Готов поспорить, он! Готов поспорить, это новый психологический тест!

От гнева к его щекам прихлынула кровь. Хоть бы на минуту оставили его в покое! Решают за него, во что ему играть, что есть, как и чему учиться, лишили матери, отца и друзей, да еще потешаются над ним!

— Да нет же, я не от мистера Грилла! — прорыдал Песочный Человек.— Выслушай меня, а то придет кто-нибудь и увидит меня таким, какой я сейчас,— тогда все станет много хуже!

Роби злобно лягнул его. Песочный Человек отпрыгнул назад, задыхаясь.

— Выслушай меня! — закричал он.— Я не такой, как ты, я не человек! Форму всем вам здесь, на этой планете, придала мысль! Вы подчиняетесь диктату обозначений. Но я... я нечто необозначенное, и никаких названий мне не нужно!

— Все ты врешь!

Последовали новые пинки.

Песочный Человек продолжал, захлебываясь:

— Нет, дитя, это правда! Мысль, столетия работая над атомами, вылепила ваш теперешний облик; сумей ты подорвать и разрушить слепую веру в него, веру твоих друзей, учителей и родителей, ты тоже мог бы менять свое обличье, стал бы необозначенным, свободной сущностью,

вроде Человечности, Времени, Пространства или Справедливости!

— Тебя подослал Грилл, все время он меня донимает!

— Да нет же, нет! Атомы пластичны. Вы, на Земле, приняли за истину некоторые обозначения, такие, как Мужчина, Женщина, Ребенок, Голова, Руки, Ноги, Пальцы. И потому вы перестали быть чем угодно и раз и навсегда превратились во что-то определенное.

— Отвяжись от меня,— взмолился Роби.— У меня сегодня контрольная, я должен собраться с мыслями.

Он сел на камень и зажал руками уши.

Песочный Человек, будто ожидая катастрофы, испуганно огляделся вокруг. Теперь, стоя над Роби, он дрожал и плакал.

— У Земли могло быть любое из тысяч совсем других обличий. Мысль носилась по неупорядоченному космосу, при помощи названий наводя в нем порядок. А теперь уже никто не хочет подумать об окружающем по-новому, подумать так, чтобы оно стало совсем другим!

— Пошел прочь,— буркнул Роби.

— Сажая корабль около тебя, я не подозревал об опасности. Мне было интересно узнать, что у вас за планета. Внутри моего шарообразного космического корабля мысли не могут менять мой облик. Сотни лет путешествую я по разным мирам, но впервые попал в такую ловушку! — Из его глаз брызнули и потекли по щекам слезы.— И теперь, свидетели боги, ты дал мне название, поймал меня, запер меня в клетку своей мысли! Надо же до такого додуматься — Песочный Человек! Да это ужас какой-то! И я не могу противиться, не могу вернуть себе прежний облик! А вернуть надо обязательно, иначе я не вмещусь в свой корабль, сейчас я для него слишком велик. Мне придется остаться здесь навсегда. Освободи меня!

Песочный Человек визжал, кричал, плакал. Роби не знал, как ему быть. Он теперь безмолвно спорил с самим собой. Чего он хочет больше всего на свете? Бежать с Острова. Но ведь это глупо: его обязательно поймают. Чего еще он хочет? Пожалуй, играть. В настоящие игры. И чтобы не было психонаблюдения. Да, вот это было бы здорово! Гонять консервную банку или бутылку крутить, а то и просто играть в мяч — бей себе в стену сада и лови, ты

один — и никого больше. Конечно. Нужен резиновый красный мяч.

Песочный Человек закричал:

— Не...

И — молчание.

На земле прыгал резиновый красный мяч.

Резиновый красный мяч прыгал вверх-вниз, вверх-вниз.

— Эй, где ты? — Роби не сразу осознал, что появился мяч.— А это откуда взялось? — Он бросил мяч в стену, поймал его.— Вот это да!

Он и не заметил, что незнакомца, который только что кричал, уже нет.

Песочный Человек исчез.

Где-то на другом конце дышащего зноем сада возник низкий гудящий звук: по вакуумной трубе мчалась цилиндрическая кабина. С негромким шипением круглая дверь в толстой стене сада открылась. С тропинки послышались размеренные шаги. В пышной раме из тигровых лилий появился, потом вышел из нее мистер Грилл.

— Привет, Роби. О! — Мистер Грилл остановился как вкопанный, с таким видом, будто в его розовое, толстощекое лицо пнули ногой.— Что это там у тебя, мой милый? — закричал он.

Роби бросил мяч в стену.

— Это? Мяч.

— Мяч? — Голубые глазки Грилла заморгали, прищурились. Потом напряжение его покинуло.— А, ну конечно. Мне показалось, будто я вижу... э-э... м-м...

Роби снова бросал мяч в стену.

Грилл откашлялся.

— Пора обедать. Час Размышлений кончился. И я вовсе не уверен, что твои не утвержденные министром Локком игры министра бы обрадовали.

Роби ругнулся про себя.

— Ну, ладно. Играй. Я не наябедничаю.— Мистер Грилл был настроен благодушно.

— Неохота что-то.— Надув губы, Роби стал ковырять носком сандалия землю.

Учителя всегда все портят. Затошнит тебя, так и тогда нужно будет разрешение.

Грилл попытался создать у Роби заинтересованность:

— Если сейчас пойдешь обедать, я тебе разрешу видеовстречу с твоей матерью в Чикаго.

— Две минуты десять секунд, ни секундой больше, ни секундой меньше,— иронически сказал Роби.

— Насколько я понимаю, милый мальчик, тебе вообще все не нравится?

— Я убегу отсюда, вот увидите!

— Ну-ну, дружок, ведь мы все равно тебя поймаем.

— А я, между прочим, к вам не просился.

Закусив губу, Роби пристально посмотрел на свой новый красный мяч. Мяч вроде бы... как бы это сказать... шевельнулся, что ли? Чудно́. Роби его поднял. Мяч задрожал, как будто ему было холодно.

Грилл похлопал мальчика по плечу.

— У твоей матери невроз. Ты был в неблагоприятной среде. Тебе лучше быть у нас, на Острове. У тебя высокий интеллект, ты можешь гордиться, что оказался здесь, среди других маленьких гениев. Ты эмоционально неустойчив, чувствуешь себя несчастным, и мы пытаемся это исправить. В конце концов ты станешь полной противоположностью своей матери.

— Я люблю маму!

— Ты душевно к ней расположен,— негромко поправил его Грилл.

— Я душевно к ней расположен,— тоскливо повторил Роби.

Мяч дернулся у него в руках. Роби озадаченно на него посмотрел.

— Тебе станет только труднее, если ты будешь ее любить,— сказал Грилл.

— Вы бог знает до чего глупы,— отозвался Роби.

Грилл окаменел.

— Не ругайся. А потом, на самом деле, ты, говоря это, вовсе не имел в виду бога и не имел в виду «знает». И того и другого в мире очень мало — смотри учебник семантики, часть седьмая, страница четыреста восемнадцатая, «Обозначающие и обозначаемые».

— Вспомнил! — крикнул вдруг Роби, оглядываясь по сторонам.— Только что здесь был Песочный Человек, и он сказал...

— Пошли,— прервал его мистер Грилл.— Пора обедать.

...В Робот-Столовой пружинные руки роботов-подавальщиков протягивали обед. Роби молча взял овальную тарелку с молочно-белым шаром на ней. За пазухой у него пульсировал и бился, как сердце, красный резиновый мяч. Удар гонга. Он быстро заглотил еду. Потом все бросились, толкаясь, к подземке. Словно перышки, их втянуло и унесло на другой конец Острова, в класс Социологии, а потом, под вечер,— снова назад, теперь к играм. Час проходил за часом.

Чтобы побыть одному, Роби ускользнул в сад. Ненависть к этому безумному, никогда и ничем не нарушаемому распорядку, к учителям и одноклассникам пронзила и обожгла его. Он сел на большой камень и стал думать о матери, которая так далеко. Вспоминал, как она выглядит, чем пахнет, какой у нее голос и как она гладила его, прижимала к себе и целовала. Он опустил голову, закрыл лицо ладонями и наполнил их своими горькими слезами.

Красный резиновый мяч выпал у него из-за пазухи. Ему было все равно. Он думал сейчас только о матери.

По зарослям пробежала дрожь. Что-то изменило свой вид, очень быстро.

В высокой траве бежала, удаляясь от него, женщина!

Вдруг она поскользнулась, вскрикнула и упала.

Что-то поблескивало в лучах заходящего солнца. Женщина бежала туда, к этому серебристому и поблескивающему. Бежала к шару. К серебряному звездному кораблю! Откуда она здесь? И почему бежала к шару? Почему упала, когда он поднял глаза? Похоже, она не может встать! Он вскочил, бросился туда. Добежав, остановился над женщиной.

— Мама! — не своим голосом закричал он.

По ее лицу пробежала дрожь, и оно начало меняться, как тающий снег, потом отвердело, черты стали четкими и красивыми.

— Я не твоя мама,— сказала женщина.

Роби не слушал. Он слышал только, как из его трясущихся губ вырывается дыхание. От волнения он так ослабел, что едва держался на ногах. Он протянул к ней руки.

— Неужели не понимаешь? — От нее веяло холодным безразличием.— Я не твоя мать. Не называй меня никак!

Почему у меня обязательно должно быть название? Дай мне вернуться в мой корабль! Если не дашь, я убью тебя!

Роби качнуло, как от удара.

— Мама, ты и вправду не узнаёшь меня? Я Роби, твой сын! — Ему хотелось уткнуться в ее грудь и выплакаться, хотелось рассказать о долгих месяцах неволи.— Прошу тебя, вспомни!

Рыдая, он шагнул вперед и прижался к ней.

Ее пальцы сомкнулись на его горле.

Она начала его душить.

Он попытался закричать. Крик был пойман, загнан назад в его готовые лопнуть легкие. Он забил ногами.

Пальцы сжимались все сильнее, в глазах у него темнело, но тут в глубинах ее холодного, жестокого, безжалостного лица он нашел объяснение.

В глубинах лица он увидел остаток Песочного Человека.

Песочный Человек. Звезда, падавшая в вечернем небе. Серебристый шар корабля, к которому бежала женщина. Исчезновение Песочного Человека, появление красного мяча, а теперь — появление матери. Все стало понятным.

Матрицы. Мысли. Представления. Структуры. Вещество. История человека, его тела, всего, что только есть в мире.

«Женщина» убивала его.

Когда он не сможет думать, она обретет свободу. Он уже почти не шевелится. Нет больше сил, нет. Он думал, э т о — его мать. Однако э т о его убивает. А что, если представить себе не мать, а другое? Надо попробовать. Надо. Он опять стал брыкаться. Стал думать в обступающей тьме, думать изо всех сил.

«Мать» издала вопль и стала съеживаться.

Он сосредоточился.

Пальцы начали таять, оторвались от его горла. Красивое лицо размылось. Тело уменьшалось, его очертания менялись.

Роби был свободен. Ловя ртом воздух, он с трудом поднялся на ноги.

Сквозь заросли он увидел сияющий на солнце серебристый шар. Пошатываясь, Роби двинулся к нему, и тут из

уст мальчика вырвался ликующий крик — в такой восторг привел его родившийся внезапно у него замысел.

Он торжествующе засмеялся. Снова стал, не отрывая взгляда, смотреть на э т о. То, что оставалось от «женщины», менялось у него на глазах, как тающий воск. Он превратил э т о... в нечто новое.

Стена сада завибрировала. По пневматической подземке, шипя, неслась цилиндрическая кабина. Наверняка мистер Грилл! Надо спешить, не то все сорвется.

Роби побежал к шару, заглянул внутрь. Управление простое. Он маленький, должен поместиться в кабине — если все удастся. Должно удаться. Удастся обязательно.

От гула приближающегося цилиндра дрожал сад. Роби рассмеялся. К черту мистера Грилла! К черту Остров Ортопедии!

Он втиснулся в корабль. Предстоит узнать столько нового, и он узнает все — со временем. Он еще только одной ногой стал на край знания, и это уже спасло ему жизнь, а теперь поможет ему и в другом.

Сзади донесся голос. Знакомый голос. Такой знакомый, что по телу побежали мурашки. Он услышал, как крушат кустарник детские ножки. Маленькие ноги маленького тела. А тонкий голосок умолял.

Роби взялся за ручки управления. Бегство. Окончательное, и никто не догадается. Совсем простое. Удивительно красивое. Гриллу никогда не узнать.

Дверца шара захлопнулась. Теперь — движение.

На летнем небе появилась звезда, и внутри нее был Роби.

Из круглой двери в стене вышел мистер Грилл. Он стал искать Роби. Он быстро шагал по тропинке, и жаркое солнце било ему в лицо.

Да вот же он! Вот он, Роби. На полянке, впереди. Маленький Роби Моррисон смотрел на небо, грозил кулаком, кричал, обращаясь непонятно к кому,— вокруг, во всяком случае, никого видно не было.

— Здорово, Роби! — окликнул мальчика Грилл.

Мальчик вздрогнул и заколыхался — точнее, заколыхались его плотность, цвет и форма. Грилл поморгал, потом решил, что все это ему померещилось из-за солнца.

— Я не Роби! — визгливо закричал мальчик.— Роби убежал! Вместо себя он оставил меня, чтобы обмануть вас,

чтобы вы за ним не погнались! Он и меня обманул! — рыдал и вопил ребенок.— Не надо, не смотрите на меня, не смотрите! Не думайте, что я Роби, от этого мне только хуже! Вы думали найти здесь его, а нашли меня и превратили в Роби! Сейчас вы окончательно придаете мне его форму, и теперь уже я никогда-никогда не стану другим! О боже!

— Ну что ты, Роби...

— Роби никогда больше не вернется. Но я буду им всегда. Я был Песочным Человеком, резиновым мячом, женщиной. А ведь на самом деле я только пластичные атомы — и ничего больше. Отпустите меня!

Грилл медленно пятился. Его улыбка стала какой-то болезненной.

— Я нечто необозначенное! Никаких названий для меня не может быть! — выкрикнул ребенок.

— Да-да, конечно. А теперь... теперь, Роби... Роби, ты только подожди здесь... здесь, а я... я... я свяжусь с Психопалатой.

И вот по саду уже бегут многочисленные помощники.

— Будьте вы прокляты! — завизжал, вырываясь, мальчик.— Черт бы вас побрал!

— Ну-ну, Роби,— негромко сказал Грилл, помогая втащить мальчика в цилиндрическую кабину подземки.— Ты употребил слово, которому в действительности ничего не соответствует!

Пневматическая труба всосала кабину.

В летнем небе сверкнула и исчезла звезда.

ПЕШЕХОД

Больше всего на свете Леонард Мид любил выйти в тишину, что туманным ноябрьским вечером, часам к восьми, окутывает город, и — руки в карманы — шагать сквозь тишину по неровному асфальту тротуаров, стараясь не наступить на проросшую из трещин траву. Остановясь на перекрестке, он всматривался в длинные улицы, озаренные луной, и решал, в какую сторону пойти, а впрочем, невелика разница, ведь в этом мире, в лето от рождества Христова две тысячи пятьдесят третье, он был один или все равно что один; и наконец он решался, выбирал дорогу и шагал, и перед ним, точно дым сигары, клубился в морозном воздухе пар от его дыхания.

Иногда он шел так часами, отмеряя милю за милей, и возвращался только в полночь. На ходу он оглядывал дома

и домики с темными окнами — казалось, идешь по кладбищу, и лишь изредка, точно светлячки, мерцают за окнами слыбые, дрожащие отблески. Иное окно еще не завешено на ночь, и в глубине комнаты вдруг мелькнут на стене серые призраки, а другое окно еще не закрыли, и из здания, похожего на склеп, послышатся шорохи и шепот.

Леонард Мид останавливался, склонял голову набок, и прислушивался, и смотрел, а потом неслышно шел дальше по бугристому тротуару. Давно уже он, отправляясь на вечернюю прогулку, предусмотрительно надевал туфли на мягкой подошве: начни он стучать каблуками, в каждом квартале все собаки станут встречать и провожать его яростным лаем и повсюду защелкают выключатели и замаячат в окнах лица — всю улицу спугнет он, одинокий путник, своей прогулкой в ранний ноябрьский вечер.

В этот вечер он направился на запад — там, невидимое, лежало море. Такой был славный звонкий морозец, даже пощипывало нос, и в груди будто рождественская елка горела, при каждом вздохе то вспыхивали ярче, то гасли холодные огоньки, и колкие ветки покрывал незримый снег. Приятно было слушать, как шуршат под мягкими подошвами осенние листья, и тихонько, неторопливо насвистывать сквозь зубы, и порой, подобрав сухой лист, при свете редких фонарей всматриваться на ходу в узор тонких жилок и вдыхать горьковатый запах увядания.

— Эй, вы там,— шептал он, проходя, каждому дому,— что у вас нынче по четвертой программе, по седьмой, по девятой? Куда скачут ковбои? А из-за холма сейчас, конечно, подоспеет на выручку наша храбрая кавалерия?

Улица тянулась вдаль, безмолвная и пустынная, лишь его тень скользила по ней, словно тень ястреба над полями. Если закрыть глаза и не шевелиться, почудится, будто тебя занесло в Аризону, в самое сердце зимней безжизненной равнины, где не дохнет ветер и на тысячи миль не встретишь человеческого жилья, и только русла пересохших рек — безлюдные улицы — окружают тебя в твоем одиночестве.

— А что теперь? — спрашивал он у домов, бросив взгляд на ручные часы.— Половина девятого? Самое время для дюжины отборных убийств? Или викторина? Эстрад-

ное обозрение? Или вверх тормашками валится со сцены комик?

Что? В доме, побеленном луной, кто-то негромко засмеялся? Леонард Мид помедлил — нет, больше ни звука, и он пошел дальше. Споткнулся — тротуар тут особенно неровный. Асфальта совсем не видно, все заросло цветами и травой. Десять лет он бродит вот так, то среди дня, то ночами, отшагал тысячи миль, но еще ни разу ему не повстречался ни один пешеход. Ни разу.

Он вышел на тройной перекресток, здесь в улицу, пересекая город, вливаются два шоссе; сейчас тут тихо. Весь день по обоим шоссе с ревом мчались автомобили, без передышки работали бензоколонки, машины жужжали и гудели, словно тучи огромных жуков, тесня и обгоняя друг друга, фыркали облачками выхлопных газов и неслись, неслись каждая к своей далекой цели. Но сейчас и эти магистрали тоже походят на русла рек, обнаженные засухой,— каменное ложе молча стынет в лунном сиянии.

Он свернул в переулок, пора возвращаться. До дому остался всего лишь квартал, как вдруг из-за угла вылетела одинокая машина и его ослепил яркий сноп света. Он замер, словно ночная бабочка в луче фонаря, потом как завороженный двинулся на свет.

Металлический голос приказал:

— Смирно! Ни с места! Ни шагу!

Он остановился.

— Руки вверх!

— Но...— начал он.

— Руки вверх! Будем стрелять!

Ясное дело — полиция, редкостный, невероятный случай; ведь на весь город с тремя миллионами жителей осталась одна-единственная полицейская машина, так? Еще год назад, в 2052-м, в год выборов, полицейские силы были сокращены, из трех машин осталась одна. Преступность все убывала; полиция стала не нужна, только эта единственная машина все кружила и кружила по пустынным улицам.

— Имя? — негромким металлическим голосом спросила полицейская машина; яркий свет фар слепил глаза, и он не мог разглядеть людей.

— Леонард Мид,— ответил он.

— Громче!

— Леонард Мид!

— Род занятий?

— Пожалуй, меня следует назвать писателем.

— Без определенных занятий,— словно про себя, сказала полицейская машина. Луч света упирался ему в грудь, пронизывал насквозь, точно игла — жука в коллекции.

— Можно сказать и так,— согласился Мид.

Он ничего не писал уже много лет. Журналы и книги никто больше не покупает. «Все теперь замыкаются по вечерам в домах, подобных склепам»,— подумал он, продолжая недавнюю игру воображения. Склепы тускло освещает отблеск телевизионных экранов, и люди сидят перед экранами, точно мертвецы; серые или разноцветные отсветы скользят по их лицам, но никогда не задевают душу.

— Без определенных занятий,— прошипел механический голос.— Что вы делаете на улице?

— Гуляю,— сказал Леонард Мид.

— Гуляете?!

— Да, просто гуляю,— честно повторил он, но кровь отхлынула от лица.

— Гуляете? Просто гуляете?

— Да, сэр.

— Где? Зачем?

— Дышу воздухом. И смотрю.

— Где живете?

— Южная сторона, Сент-Джеймс-стрит, одиннадцать.

— Но воздух есть и у вас в доме, мистер Мид! Кондиционная установка есть?

— Да.

— А чтобы смотреть, есть телевизор?

— Нет.

— Нет?

Молчание, только что-то потрескивает, и уже самая эта пауза — как обвинение.

— Вы женаты, мистер Мид?

— Нет.

— Не женат,— произнес жесткий голос за слепящей полосой света.

Луна поднялась уже высоко и сияла среди звезд, дома стояли серые, молчаливые.

— Ни одна женщина на меня не польстилась,— с улыбкой сказал Леонард Мид.

— Молчите, пока вас не спрашивают.

Леонард Мид ждал, холодная ночь обступала его.

— Вы *просто гуляли,* мистер Мид?

— Да.

— Вы не объяснили, с какой целью.

— Я объяснил: хотел подышать воздухом, поглядеть вокруг, просто пройтись.

— Часто вы этим занимались?

— Каждый вечер, уже много лет.

Полицейская машина торчала посреди улицы, в ее радиоглотке что-то негромко гудело.

— Что ж, мистер Мид.

— Это все? — учтиво спросил Мид.

— Да,— ответил голос.— Сюда.— Что-то дохнуло, что-то хлопнуло. Задняя дверца машины распахнулась.— Влезайте.

— Погодите, ведь я ничего такого не сделал!

— Влезайте.

— Я протестую!

— Мис-тер Мид!

И он пошел нетвердой походкой, будто вдруг захмелел. Проходя мимо ветрового стекла, заглянул внутрь. Так и знал: никого ни на переднем сиденье, ни вообще в машине.

— Влезайте.

Он взялся за дверцу и заглянул — заднее сиденье помещалось в черном тесном ящике, это была узкая тюремная камера, забранная решеткой. Пахло сталью. Едко пахло дезинфекцией; все отдавало чрезмерной чистотой, жесткостью, металлом. Здесь не было ничего мягкого.

— Будь вы женаты, жена могла бы подтвердить ваше алиби,— сказал железный голос.— Но...

— Куда вы меня повезете?

Машина словно засомневалась, послышалось слабое жужжанье и щелчок, как будто где-то внутри механизм-информатор выбросил пробитую отверстиями карточку и подставил ее взгляду электрических глаз.

— В Психиатрический центр по исследованию атавистических наклонностей.

Он вошел в клетку. Дверь бесшумно захлопнулась.

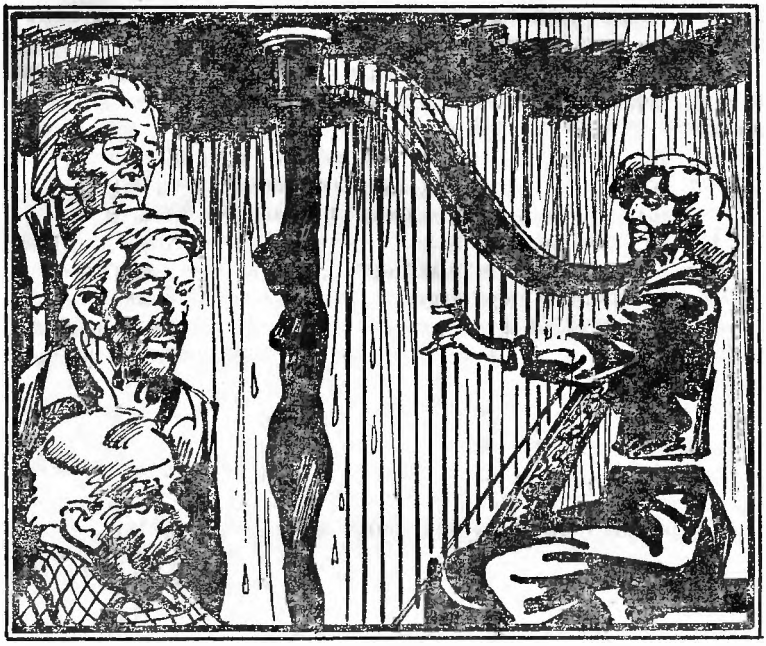
Полицейская машина покатила по ночным улицам, освещая себе путь приглушенными огнями фар.

Через минуту показался дом, он был один такой, на одной только улице во всем этом городе темных домов,— единственный дом, где зажжены были все электрические лампы и желтые квадраты окон празднично и жарко горели в холодном сумраке ночи.

— Вот он, мой дом,— сказал Леонард Мид.

Никто ему не ответил.

Машина мчалась все дальше и дальше по улицам — по каменным руслам пересохших рек, позади оставались пустынные мостовые и пустынные тротуары, и нигде в ледяной ноябрьской ночи не было больше ни звука, ни движения.



ПРИШЛО ВРЕМЯ ДОЖДЕЙ

Отель напоминал высохшую кость в пустыне. Немилосердно жгло солнце и накаляло крышу. По ночам воспоминания о дневном зное наполняли комнаты, словно запах далекого лесного пожара. И после наступления темноты в отеле долго не зажигали огней, ибо свет означал зной. Обитатели отеля предпочитали в потемках ощупью пробираться по коридорам в тщетных поисках прохлады.

В этот вечер мистер Терль, хозяин отеля, и его единственные постояльцы, мистер Смит и мистер Фермли, оба словно сухие листья табака — и даже пахли они сухим табаком,— засиделись на длинной веранде, опоясывающей дом. Раскачиваясь в скрипучих креслах-качалках, они ловили ртами раскаленный воздух и пытались движением качалок всколыхнуть застывший зной.

— Мистер Терль, вот было бы здорово, если бы вы вдруг... как-нибудь... взяли да и купили установку для охлаждения воздуха...

Мистер Терль даже не открыл смеженных век.

— Откуда мне взять деньги на это? — ответил он наконец после долгой паузы.

Оба постояльца слегка порозовели от стыда — вот уже двадцать лет, как они живут в отеле и ничего не платят мистеру Терлю.

Снова воцарилось молчание. Мистер Фермли печально вздохнул.

— А почему бы нам всем не махнуть отсюда в какой-нибудь приличный городишко, где нет такой адской жары?

— Найдется ли охотник купить мертвый отель в этом пропащем месте? — ответил мистер Терль.— Нет, останемся здесь и подождем двадцать девятого января.

Скрип качалок смолк.

29 января. Единственный день в году, когда здесь действительно идут дожди.

— В таком случае ждать осталось недолго,— сказал мистер Смит, взглянув на карманные часы; они блеснули на ладони, словно желтая луна.— Еще каких-нибудь два часа и девять минут, и наступит долгожданное двадцать девятое января. А на небе ни облачка.

— Сколько я себя помню, двадцать девятого всегда приходили дожди.— Мистер Терль умолк, сам удивившись, как громко прозвучал его голос.— Если они в этом году и запоздают на денек, я не стану роптать и гневить бога.

Мистер Фермли судорожно проглотил слюну и обвел взглядом пустой горизонт — с востока на запад, до самых дальних гор.

— Интересно, вернется сюда золотая лихорадка?..

— Золота здесь больше нет,— ответил мистер Смит.— И что еще хуже, нет дождей. Их не будет ни завтра, ни послезавтра, ни послепослезавтра. Не будет весь год.

Три старых человека смотрели на яркую, как солнце, луну, которая прожгла дыру в черном пустом небосводе.

Снова медленно, нехотя заскрипели качалки.

* * *

Легкий утренний ветерок зашелестел закудрявившимися от зноя листами отрывного календаря, который висел на облупившейся стене отеля.

Трое стариков, перекидывая через костлявые плечи подтяжки, босиком спустились вниз и, щурясь от солнца, посмотрели на пустой горизонт.

— Двадцать девятое января...

— Ни единой милосердной капли дождя...

— Все еще впереди, день только начинается.

— У кого впереди, а у кого и позади,— проворчал мистер Фермли и, повернувшись, исчез в доме.

Целых пять минут понадобилось ему, чтобы через путаницу лестниц и коридоров добраться до своей комнаты и раскаленной, как печь, постели.

В полдень в дверь осторожно просунулась голова мистера Терля:

— Мистер Фермли?..

— Проклятые старые кактусы! Это мы с вами...— произнес мистер Фермли, не поднимая головы с подушки; издали казалось, что его лицо вот-вот рассыплется в сухую пыль, которая осядет на шершавые доски пола.— Но даже кактусам, черт побери, нужна хотя бы капля влаги, чтобы выжить в этом пекле. Заявляю вам, что не встану до тех пор, пока не услышу шум дождя, а не эту дурацкую птичью возню на крыше.

— Молитесь богу и готовьте зонтик, мистер Фермли,— сказал мистер Терль и осторожно, на цыпочках вышел.

Под вечер по крыше слабо застучали редкие капли.

Мистер Фермли, не поднимаясь, слабым голосом крикнул в окно:

— Нет, это не дождь, мистер Терль! Я знаю, вы поливаете крышу из садового шланга. Благодарю, но не тратьте понапрасну сил.

Шум на крыше прекратился. Со двора донесся печальный протяжный вздох...

Огибая угол дома, мистер Терль увидел, как оторвался и упал в серую пыль листок календаря.

— Проклятое двадцать девятое января! — услышал он голос сверху.— Еще целых двенадцать месяцев!

* * *

В дверях отеля появился мистер Смит, но спустя мгновение скрылся. Затем он появился снова с двумя помятыми чемоданами в руках. Он со стуком опустил их на пол веранды.

— Мистер Смит! — испуганно вскричал мистер Терль.— После двадцати лет? Вы не можете этого сделать!

— Говорят, в Ирландии весь год идут дожди,— сказал мистер Смит.— Найду там работу. То ли дело бегать весь день под дождем.

— Вы не должны уезжать, мистер Смит! — мистер Терль лихорадочно искал веские доводы и наконец выпалил: — Вы задолжали мне девять тысяч долларов!

Мистер Смит вздрогнул, как от удара, и в глазах его отразились неподдельные боль и обида.

— Простите меня,— растерянно пролепетал мистер Терль и отвернулся.— Я и сам не знаю, что говорю. Послушайте моего совета, мистер Смит, поезжайте-ка лучше в Сиэтл. Там каждую неделю выпадает не менее пяти миллиметров осадков. Но прошу вас, подождите до полуночи. Спадет жара, станет легче. А за ночь вы доберетесь до города.

— Все равно за это время ничего не изменится.

— Не надо терять надежду. Когда все потеряно, остается надежда. Надо всегда во что-то верить. Побудьте со мной, мистер Смит. Можете даже не садиться, просто стойте вот так и думайте, что сейчас придут дожди. Сделайте это для меня, и больше я ни о чем вас не попрошу.

В пустыне внезапно завертелись крохотные пыльные вихри, но тут же исчезли. Мистер Смит обвел взглядом горизонт.

— Если не хотите думать о дождях, думайте о чем угодно. Только думайте.

Мистер Смит застыл рядом со своими видавшими виды чемоданами. Прошло пять-шесть минут. В мертвой тишине слышалось лишь громкое дыхание двух мужчин.

Затем мистер Смит с решительным видом нагнулся и взялся за ручки чемоданов.

И тут мистер Терль вдруг прищурил глаза, подался вперед и приложил ладонь к уху.

Мистер Смит замер, не выпуская из рук чемоданов.

С гор донесся слабый гул, глухой, еле слышный рокот.

— Идет гроза! — свистящим шепотом произнес мистер Терль.

Гул нарастал; у подножия горы появилось облачко.

Наверху, словно воскресший из мертвых, приподнялся и сел на постели мистер Фермли.

Глаза мистера Терля жадно вглядывались в даль. Он держался за деревянную колонну веранды и был похож на капитана судна, которому почудилось, что легкий тропический бриз вдруг откуда-то донес аромат цитрусовых и прохладной белой сердцевины кокосового ореха. Еле заметное дыхание ветерка загудело в воспаленных ноздрях, как ветер в печной трубе.

— Смотрите! — воскликнул он.— Смотрите!

С ближайшего холма катилось вниз облако, отряхивая пыльные крылья, гремя и рокоча. С гор в долину с грохотом, скрежетом и стоном съезжал автомобиль — первый за весь этот месяц автомобиль!

Мистер Терль боялся оглянуться на мистера Смита.

А мистер Смит посмотрел на потолок и подумал в эту минуту о бедном мистере Фермли.

Мистер Фермли выглянул в окно только тогда, когда перед отелем с громким выхлопом остановилась старая, разбитая машина. И в том, как в последний раз выстрелил, а затем заглох ее мотор, была какая-то печальная окончательность. Машина, должно быть, шла издалека, по раскаленным желто-серым дорогам, через солончаки, ставшие пустыней еще десятки миллионов лет назад, когда отсюда ушел океан. И теперь этот старый, расползающийся по швам автомобиль выпуска 1924 года, кое-как скрепленный обрывками проволоки, которая торчала отовсюду, как щетина на небритой щеке великана, с откинутым брезентовым верхом — он размяк от жары, как мятный леденец, и прилип к спинке заднего сиденья, словно морщинистое веко гигантского глаза,— этот старый разбитый автомобиль в последний раз вздрогнул и испустил дух.

Старая женщина за рулем терпеливо ждала, поглядывая то на мужчин, то на отель, и словно бы говорила: «Простите, но мой друг тяжко занемог. Мы знакомы с ним

очень давно, и теперь я должна проститься с ним и проводить в последний путь». Она сидела неподвижно, словно ждала, когда уймется последняя легкая дрожь, пробегавшая еще по телу автомобиля, и наступит то полное расслабление членов, которое означает неумолимый конец. Потом еще с полминуты женщина оставалась неподвижной, прислушиваясь к умолкшей машине. От незнакомки веяло таким покоем, что мистер Терль и мистер Смит невольно потянулись к ней. Наконец она взглянула на них с печальной улыбкой и приветственно помахала рукой.

И мистер Фермли, глядевший в окно, даже не заметил, что машет ей в ответ. А мистер Смит подумал: «Странно, ведь это не гроза, а я почему-то не очень огорчен. Почему же?»

А мистер Терль уже спешил к машине.

— Мы думали... мы думали...— Он растерянно умолк.— Меня зовут Терль, Джо Терль.

Женщина пожала протянутую руку и посмотрела на него такими чистыми светло-голубыми глазами, словно это были нежные озера, где вода очищена солнцем и ветрами.

— Мисс Бланш Хилгуд,— сказала она тихо.— Выпускница Гринельского колледжа, не замужем, преподаю музыку, тридцать лет руководила музыкальным студенческим клубом, была дирижером студенческого оркестра в Грин Сити, Айова, двадцать лет даю частные уроки игры на фортепьяно, арфе и уроки пения; месяц, как ушла на пенсию. А теперь снялась с насиженных мест и еду в Калифорнию.

— Мисс Хилгуд, отсюда не так-то просто будет выбраться.

— Я и сама теперь вижу.— Она с тревогой посмотрела на мужчин, круживших возле ее автомобиля, и в эту минуту чем-то напомнила им девочку, которой неловко и неудобно сидеть на коленях у больной ревматизмом бабушки.

— Неужели ничего нельзя сделать? — спросила она.

— Из спиц выйдет неплохая изгородь, из тормозных дисков — гонг, чтобы созывать постояльцев к обеду, а остальное, может, пригодится для японского садика.

— Все, кончилась. Говорю вам, машине конец. Я отсюда и то вижу. Не пора ли нам ужинать? — послышался сверху голос мистера Фермли.

Мистер Терль сделал широкий жест рукой:

— Мисс Хилгуд, милости просим в отель «Пустыня». Открыт двадцать шесть часов в сутки. Беглых каторжников и правонарушителей просим заносить свои имена в книгу постояльцев. Отдохните ночку, платить не надо, а завтра утром вытащим из сарая наш старый «форд» и отвезем вас в город.

Мисс Хилгуд милостиво разрешила помочь ей выйти из автомобиля. Он в последний раз издал жалобный стон, словно молил не покидать его. Она осторожно прикрыла дверцу, захлопнувшуюся с мягким стуком.

— Один друг покинул меня, но второй все еще со мной. Мистер Терль, не внесете ли вы ее в дом?

— ЕЕ, мадам?

— Простите, я всегда думаю о вещах так, словно это люди. Автомобиль был джентльменом, должно быть, потому, что возил меня повсюду. Ну, а арфа все же, согласитесь, дама?

Она кивком головы указала на заднее сиденье. На фоне неба, накренившись вперед, словно нос корабля, разрезающего воздух, стоял узкий кожаный ящик.

— Мистер Смит, а ну-ка подсобите,— сказал мистер Терль.

Они отвязали высокий ящик и осторожно сняли его с машины.

— Эй, что это там у вас? — крикнул сверху мистер Фермли.

Мистер Смит споткнулся, и мисс Хилгуд испуганно вскрикнула. Ящик раскачивался из стороны в сторону в руках неловких мужчин.

Раздался мелодичный звон струн.

Мистер Фермли услышал его в своей комнате и уже больше не спрашивал, а лишь, открыв от удивления рот, смотрел, как темная пасть веранды поглотила старую леди, таинственный ящик и двух мужчин.

— Осторожно! — воскликнул мистер Смит.— Какой-то болван оставил здесь свои чемоданы.— И вдруг умолк.— Болван? Да ведь это же мои чемоданы!

Мистер Смит и мистер Терль посмотрели друг на друга. Лица их уже не блестели от пота. Откуда-то налетевший ветерок легонько трепал ворот рубахи, шелестел листками календаря.

— Да, это мои чемоданы,— сказал мистер Смит.

Они вошли в дом.

* * *

— Еще вина, мисс Хилгуд? Давненько у нас не подавали вино.

— Совсем капельку, если можно.

Они ужинали при свете единственной свечи, все равно делавшей комнату похожей на раскаленную печь, и слабые блики света играли на вилках, ножах и новых тарелках. Они ели, пили теплое вино и беседовали.

— Мисс Хилгуд, расскажите еще что-нибудь о себе.

— О себе? — переспросила она.— Право, я была все время так занята, играя то Бетховена, то Баха, то Брамса, что не заметила, как мне минуло двадцать девять, а потом сорок, а вчера вот исполнилось семьдесят один. О, конечно, в моей жизни были мужчины. Но в десять лет они переставали петь, а в двенадцать уже не могли летать. Мне всегда казалось, что человек создан, чтобы летать, поэтому я терпеть не могла мужчин с кровью, тяжелой, как чугун, цепями приковывающей их к земле. Не помню, чтобы мне приходилось встречать мужчин, которые бы весили меньше ста килограммов. В своих черных костюмах они проплывали мимо, словно катафалки.

— И вы улетели от них, да?

— Только мысленно, мистер Терль, только мысленно. Понадобилось целых шестьдесят лет, чтобы наконец по-настоящему решиться на это. Все это время я дружила с флейтами и скрипками, потому что они как ручейки в небесах, знаете, такие же, как ручьи и реки на земле. Я плавала в реках и заливах с чистой студеной водой, от озер Генделя до прозрачных заводей Штрауса. И, только напутешествовавшись вдоволь, я осела в этих краях.

— Как же вы все-таки решились сняться с места? — спросил мистер Смит.

— На прошлой неделе я вдруг оглянулась вокруг и сказала себе: «Эге, да ты летаешь совсем одна. Ни одну живую душу во всем Грин Сити не интересует, как высоко

ты можешь залететь». Всегда одно и то же: «Спасибо, Бланш», «Спасибо за концерт в клубе, мисс Хилгуд». Но никто из них по-настоящему не умел слушать музыку. Когда же я, как-то еще давно, пыталась мечтать о Нью-Йорке или Чикаго, все только снисходительно похлопывали меня по плечу и со смехом твердили: «Лучше быть большой лягушкой в маленьком болоте, чем маленькой лягушкой в большом болоте». И я оставалась, а те, кто давал мне такие советы, уезжали или же умирали, или с ними случалось и то и другое. А большинство были просто глухими. Неделю назад я взялась за ум и сказала себе: «Хватит! С каких это пор ты решила, что у лягушек могут вырасти крылья?»

— Значит, вы решили держать путь на запад? — спросил мистер Терль.

— Может быть. Устроюсь где-нибудь аккомпаниатором или буду играть в оркестре, в одном из тех, что дают концерты прямо под открытым небом. Но я должна играть для тех, кто умеет слушать музыку, по-настоящему умеет...

Они слушали ее в душной темноте. Женщина умолкла, она сказала им все, а теперь пусть думают, что это глупо и смешно. Она осторожно откинулась на спинку стула.

Наверху кто-то кашлянул.

Мисс Хилгуд прислушалась и встала.

* * *

Мистеру Фермли стоило усилия разомкнуть веки, и тогда он увидел лицо женщины. Она наклонилась и поставила у кровати поднос.

— О чем вы только что говорили там внизу?

— Я потом приду и расскажу вам,— ответила она,— поешьте. Салат очень вкусный.— Она повернулась, чтобы уйти.

И тогда он торопливо спросил:

— Вы не уедете от нас?

Она остановилась на пороге, пытаясь разглядеть в темноте его мокрое от испарины лицо. Он тоже еле различал ее глаза и губы. Постояв еще немного, она спустилась вниз.

— Должно быть, не слышала моего вопроса,— произнес мистер Фермли.

И все же он был уверен, что она слышала.

Мисс Хилгуд пересекла гостиную и коснулась рукой кожаного ящика.

— Я должна заплатить за ужин.

— Нет, хозяин отеля бесплатно угощает вас,— запротестовал мистер Терль.

— Я должна,— ответила она и открыла ящик.

Тускло блеснула старая позолота.

Мужчины встрепенулись. Они вопросительно поглядывали на женщину возле таинственного предмета, который по форме напоминал сердце. Он возвышался над нею, у него было круглое, как шар, блестящее подножие, а на нем — высокая фигура женщины со спокойным лицом греческой богини и продолговатыми глазами, глядевшими на них так же дружелюбно, как глядела на них мисс Хилгуд.

Мужчины обменялись быстрыми взволнованными взглядами, словно догадались, что сейчас произойдет. Они вскочили со стульев и пересели на краешек плюшевого дивана, вытирая лица влажными от пота платками.

Мисс Хилгуд пододвинула к себе стул и, сев, осторожно накренила золотую арфу и опустила ее на плечо. Пальцы ее легли на струны.

Мистер Терль втянул в себя раскаленный воздух и приготовился.

Из пустыни налетел ветер, и кресла-качалки закачались на веранде, словно пустые лодки на пруду.

Сверху послышался капризный голос мистера Фермли:

— Что у вас там происходит?

И тогда руки мисс Хилгуд побежали по струнам.

Они начали свой путь где-то сверху, почти у самого ее плеча и побежали прямо к спокойному лицу греческой богини; но тут же снова вернулись обратно, затем на мгновение замерли, и звуки поплыли по душной, горячей гостиной, а из нее в каждую из пустых темных комнат отеля.

Если мистеру Фермли и вздумалось еще что-то кричать из своей комнаты, его уже никто не слышал. Мистер Терль и мистер Смит не могли больше сидеть и, словно по команде, вскочили с дивана. Они пока ничего не слышали,

кроме бешеного стука собственных сердец и собственного свистящего дыхания. Выпучив глаза и изумленно раскрыв рот, они глядели на двух женщин — незрячую богиню и хрупкую старую женщину, которая сидела, прикрыв добрые, усталые глаза и вытянув вперед маленькие, тонкие руки.

«Она похожа на девочку,— подумали мистер Терль и мистер Смит,— девочку, протянувшую руки в окно, навстречу чему-то... Чему же? Ну конечно же, навстречу дождю!..»

Шум ливня затихал на далеких пустых тротуарах и в водосточных трубах.

Наверху неохотно поднялся мистер Фермли, словно его кто-то силком тащил с постели.

А мисс Хилгуд продолжала играть. Никто из них не знал, что она играла, но им казалось, что эту мелодию они слышали не раз в своей долгой жизни, только не знали ни названия, ни слов. Она играла, и каждое движение ее рук сопровождалось щедрыми потоками дождя, стучащего по крыше. Прохладный дождь лил за открытым окном, смывал рассохшиеся доски крыльца, падал на раскаленную крышу, на жадно впитывавший его песок, на старый, ржавый автомобиль, на пустую конюшню и на мертвые кактусы во дворе. Он вымыл окна, прибил пыль, наполнил до краев пересохшие дождевые бочки и повесил шелестящий бисерный занавес на открытые двери. и этот занавес, если бы вам захотелось выйти, можно было бы раздвинуть рукой. Но самым желанным мистеру Терлю и мистеру Смиту казалось его живительное прохладное прикосновение. Приятная тяжесть дождя заставила их снова сесть. Кожу лица слегка покалывали, пощипывали, щекотали падавшие капли, и первым побуждением было закрыть рот, закрыть глаза, закрыться руками, спрятаться. Но они с наслаждением откинули головы назад, подставили лица дождю — пусть льет сколько хочет.

Но шквал продолжался недолго, всего какую-то минуту, потом стал затихать, по мере того как затихали звуки арфы, и вот руки в последний раз коснулись струн, извлекая последние громы, последние шумные всплески ливня.

Прощальный аккорд застыл в воздухе, как озаренные вспышкой молнии нити дождя.

Виденье погасло, последние капли в полной темноте беззвучно упали на землю.

Мисс Хилгуд, не открывая глаз, опустила руки.

Мистер Терль и мистер Смит очнулись, посмотрели на двух сказочных женщин в конце гостиной — сухих, невредимых, каким-то чудом не промокших под дождем.

Мистер Терль и мистер Смит, с трудом уняв дрожь, подались вперед, словно хотели что-то сказать. На их лицах была полная растерянность.

Звук, донесшийся сверху, вернул их к жизни.

Звук был слабый, похожий на усталое хлопанье крыльев одинокой старой птицы.

Мистер Терль и мистер Смит прислушались.

Да, это мистер Фермли аплодировал из комнаты.

Мистеру Терлю понадобилось всего мгновение, чтобы прийти в себя. Он толкнул в бок мистера Смита, и оба в экстазе захлопали. Эхо разнеслось по пустым комнатам отеля, ударяясь о стены, зеркала, окна, словно ища выхода наружу.

Теперь и мисс Хилгуд открыла глаза, и вид у нее был такой, словно этот новый шквал застал ее врасплох.

Мистер Терль и мистер Смит уже не помнили себя. Они хлопали так яростно и громко, словно в их руках с треском лопались связки карнавальных хлопушек. Мистер Фермли что-то кричал сверху, но никто его не слушал. Ладони разлетались, соединялись вновь в оглушительных хлопках — и так до тех пор, пока пальцы не распухли и дыхание не стало тяжелым и учащенным, и вот наконец горящие, словно обожженные руки лежат на коленях.

И тогда очень медленно, словно еще раздумывая, мистер Смит встал, вышел на крыльцо и внес свои чемоданы. Он остановился у подножия лестницы, ведущей наверх, и посмотрел на мисс Хилгуд. Затем он перевел глаза на ее чемодан у ступенек веранды и снова посмотрел на мисс Хилгуд; брови его чуть-чуть поднялись в немом вопросе.

Мисс Хилгуд взглянула сначала на арфу, потом на свой единственный чемодан, затем на мистера Терля и наконец на мистера Смита и кивнула головой.

Мистер Смит, подхватив под мышку один из своих тощих чемоданов, взял чемодан мисс Хилгуд и стал медленно подниматься по ступенькам, уходящим в мягкий

полумрак. Мисс Хилгуд притянула к себе арфу, и с этой минуты уже нельзя было разобрать, перебирает ли она струны в такт медленным шагам мистера Смита или это он подлаживает свой шаг под неторопливые аккорды.

На площадке мистер Смит столкнулся с мистером Фермли — накинув старый, выцветший халат, тот осторожно спускался вниз.

Оба постояли с секунду, глядя вниз на фигуру мужчины и на двух женщин в дальнем конце гостиной — всего лишь видение, мираж. И оба подумали об одном и том же.

Звуки арфы и звуки дождя — каждый вечер. Не надо больше поливать крышу из садового шланга. Можно сидеть на веранде, лежать ночью в своей постели и слушать, как стучит, стучит и стучит по крыше дождь...

Мистер Смит продолжал свой путь наверх; мистер Фермли спустился вниз.

Звуки арфы... Слушайте, слушайте же их!

Десятилетия засухи кончились.

Пришло время дождей.

РУБАШКА С ТЕСТАМИ РОРШАХА

Брокау...

Что за великолепная фамилия!

Лает, рычит, тявкает, во всеуслышание объявляет: Иммануэль Брокау!

Великому психиатру, смело ходившему по волнам житейского моря и не соскользнувшему в них ни разу, подходит как раз такое имя.

Мелко смелите учебник по психоанализу, бросьте в воздух горсть получившегося порошка, и все студенты чихнут: «Брокау!»

Что же такое с ним произошло?

А просто однажды, как в виртуозно выполненном цирковом трюке, он пропал без следа.

Погас свет, освещавший творимые им чудеса, и в на-

ступившем полумраке сжатые пружины угрожали распрямиться. Психотические кролики грозили оказаться в пустых до этого цилиндрах. Дым выстрелом втягивался назад в дула. Все замерли в ожидании.

Десять лет — а от него ни малейшего звука. Дальше — тоже ни звука.

Будто с криком и хохотом бросился в пучину Атлантики. Только зачем? На поиски Моби Дика? Чтобы, найдя там эту огромную тварь, подвергнуть ее психоанализу и выяснить, что имела она против Безумного Ахаба?

Кто знает?

В последний раз, когда я его видел, он бежал в сумерках к самолету, а далеко позади него на темнеющем аэродроме слышались голоса его жены и шестерых шпицев.

— Прощайте навсегда!

Этот радостный крик прозвучал шуткой. Но на другой день я увидел, как срывают с дверей приемной золотые листья его имени, как выносят в дождь и отправляют на какой-то аукцион на Третьей авеню его огромные, похожие на толстых женщин кушетки.

Итак, этот гигант, в котором были уложены слоями в неописуемый армянский десерт Ганди, Моисей, Христос, Будда и Фрейд, провалился сквозь дыру в облаках. Для того чтобы умереть? Или жить в безвестности?

Прошло десять лет после того, как он исчез, когда я ехал однажды на автобусе мимо красивейших ньюпортских пляжей в Калифорнии.

Автобус остановился. В него вскочил и, как манну небесную, ссыпал звенящую мелочь в кассовый ящик человек лет семидесяти. Я посмотрел на него со своего места у задней двери и от изумления открыл рот: да ведь это, клянусь всеми святыми, Брокау!

И в самом деле, это был он. Высился, как явившийся народу бог, бородатый, благожелательный, величественный, или как епископ, всепонимающий, веселый, снисходительный, всепрощающий, возвещающий истину, наставляющий на путь истинный — отныне и навсегда...

Иммануэль Брокау.

Но не в обычном темном костюме, нет.

Словно служитель некоей гордой новой церкви, он был

облачен в светлые шорты, в мексиканские сандалии из черной кожи, в бейсбольную шапочку лос-анджелесской команды «Доджеров», французские темные очки и...

...Рубашку! О боже, какая это была рубашка!

Буйство линий и красок, сочные вьющиеся растения и будто живые мухоловки — настоящий шедевр поп- и оп-искусства с беспрерывно меняющимся рисунком, и повсюду рассыпаны, как цветы, мифологические звери и символы!

И эта рубашка с открытым воротом, которой, казалось, не было конца, хлопала на ветру, как тысяча флагов в шествии объединенных, хотя страдающих неврозами наций.

Доктор Брокау надвинул бейсбольную шапочку на лоб, снял темные очки, окинул взглядом полупустой автобус и медленно двинулся по проходу. То и дело он останавливался, поворачивался в одну сторону или в другую и каждый раз что-то говорил вполголоса — то какому-нибудь мужчине, то женщине, то ребенку.

Я уже собирался его окликнуть, когда услыхал, как он говорит:

— Ну, что ты на моей рубашке видишь?

Мальчика, к которому обратился доктор, рубашка ошеломила, как цирковая афиша,— он растерянно моргал.

— Лошадей! — вырвалось наконец у него.— Танцующих лошадей!

— Молодец! — Доктор заулыбался, хлопнул его по плечу и пошел по проходу дальше.— А вы, сэр?

Молодой человек, захваченный врасплох неожиданностью вопроса, ответил этому пришельцу с какой-то летней планеты:

— Я? Облака, разумеется.

— Кучевые или дождевые?

— М-м... не грозовые, во всяком случае. Барашки — облака, как руно.

— Хорошо!

Психиатр сделал еще шаг или два.

— А вы, мадемуазель?

— Серферов! — И юная девушка вгляделась еще пристальней.— Вот волны, высокие-высокие. А это доски для серфинга. Как здорово!

И так продолжалось дальше, и каждому шагу великого

человека сопутствовал смех, и смех этот становился все заразительней и превратился наконец в рев веселья. Первые ответы слышало уже не меньше дюжины пассажиров, и игра захватила всех. Например, эта женщина увидела на рубашке небоскребы! Доктор посмотрел на нее хмуро и недоверчиво, доктор моргнул. А вон тот мужчина увидал кроссворды. Доктор пожал ему руку. Этот ребенок увидел зебр в африканской саванне, но не настоящих — будто мираж. Доктор шлепнул по зебрам, и они запрыгали, как живые! А вон та старая женщина увидела полупрозрачных Адамов и туманных Ев, изгоняемых из едва различимых райских кущ. Доктор присел с ней рядом, они зашептались яростным шепотом, а потом он вскочил и двинулся дальше. Старая женщина видела изгнание из рая? Зато эта, молодая, видит, как Адама и Еву приглашают туда вернуться!

Собаки, молнии, кошки, автомобили, грибовидные облака, тигровые лилии-людоеды!

С каждым новым ответом взрывы смеха становились все громче, и наконец оказалось, что хохочут все пассажиры. Этот замечательный старик был чудом природы, удивительным явлением, необузданной волей Господа, соединившей нас, разделенных, воедино.

Эскалаторы! Экскаваторы! Будильники! Светопреставления!

Когда он вскакивал в наш автобус, нам, пассажирам, друг до друга не было никакого дела. Но теперь будто невиданный снегопад засыпал нас и стал темой всех наших разговоров; или как будто авария в электросети, оставив без света два миллиона квартир, свела всех нас вместе — и теперь мы добрососедски болтали, пересмеивались, хохотали и чувствовали, как слезы от этого хохота очищают не только наши щеки, но и души.

Каждый новый ответ казался смешнее предыдущего, и под невыносимой пыткой смеха никто из нас не стенал громче, чем этот высоченный врач-кудесник, врач, просивший, получавший и распутывавший на месте все колтуны нашей психики. Киты. Водоросли. Зеленые луга. Затерянные города. Невиданной красоты женщины. Он останавливался. Поворачивался. Садился. Вставал. Рубашка неистовствующих цветов и образов раздувалась, как парус, и вот наконец, высясь уже надо мной, он спросил:

— А что видите вы, сэр?

— Доктора Брокау, конечно!

Его смех оборвался, словно в старика выстрелили. Он сдернул с носа темные очки, снова водрузил их на нос и схватил меня за плечи, будто хотел поставить в фокус.

— Это вы, Саймон Уинслос?!

— Я, конечно! — И я рассмеялся.— Боже мой, а я-то думал, что вы уже много лет как умерли! Что вы тогда затеяли?

— Затеял? — Он крепко-крепко сжал и потряс обе мои руки, а потом играючи, легко побарабанил кулаками по моим плечам и щекам. И, глядя сверху на акры ниспадающей с его плеч рубашки, взорвался громким, исполненным снисхождения к себе смехом.— Что затеял? Ушел на покой. Собрался. В одну ночь улетел за три тысячи миль, где вы в последний раз меня видели...— Дыхание его, пахнувшее мятными лепешками, согревало мне лицо.— И теперь, здесь, больше известен как — послушайте! — человек в рубашке с тестами Роршаха.

— В какой, в какой рубашке?! — воскликнул я.

— В рубашке с тестами Роршаха.

Легко, как воздушный шарик, он опустился на сиденье рядом со мной.

Я сидел ошеломленный, утратив дар речи.

Мы ехали вдоль берега синего моря под ослепительным летним небом.

Доктор смотрел вперед и словно читал мои мысли в огромных голубых письменах, начертанных среди облаков.

— Почему, спрашиваете вы, почему? Как сейчас, вижу ваше лицо, такое изумленное, на аэродроме много лет назад — в День Моего Отъезда Навсегда. Моему самолету следовало называться «Счастливым Титаником» — на нем я навсегда канул в небо, где никто не оставляет следов. И, однако, вот он я, перед вами, настоящий, во плоти,— ведь так? Не пьяный, не полоумный, не разрушенный скукой безделья или возрастом. Как, каким образом, почему?

— Да,— сказал я,— в самом деле, почему вы ушли на покой, когда все было так удачно? Профессиональный престиж, репутация, деньги. Не было и намека на какой-нибудь...

— ...скандал? Ни малейшего! Так почему, хотите вы знать? Да потому, что этому старому верблюду сломали не один, а целых два горба, и каждый из горбов сломала соло-

минка. Их было всего две, этих удивительнейших соломинок. Горб номер один...

Он умолк. Глянул на меня искоса из-под темных очков.

— Как в исповедальне,— заверил его я.— Никому ни слова.

— Как в исповеда́льне... Хорошо. Благодарю вас.

Автобус ехал, и его мотор негромко гудел.

И, как это гудение, голос доктора звучал то тише, то громче:

— Вы ведь знаете про мою фотографическую память? Благословенную, проклятую, всезапечатлевающую? Все, что говорил, видел, делал, трогал, слышал, я могу мгновенно в ней оживить — даже через сорок, пятьдесят, шестьдесят лет. Все, все здесь.— Он мягко провел по вискам пальцами обеих рук.— Сотни историй болезни, проходивших через двери моей приемной изо дня в день, из года в год. И ни разу не обращался я к записям, которые делал во время приема. Я довольно рано обнаружил, что в любой момент могу прокрутить любую из них у себя в голове. На всякий случай, конечно, все беседы с больными записывались также и на магнитофон, но потом я этих записей никогда не прослушивал. Вот вам арена, на которой развернулись последующие ужасные события. А именно: однажды, на шестидесятом году моей жизни, очередная пациентка произнесла неразборчиво какое-то слово. Я попросил ее повторить его. Почему? Да потому что вдруг почувствовал, как в моих полукружных каналах что-то шевельнулось — будто где-то глубоко-глубоко открылись какие-то клапаны и впустили свежий, прохладный воздух. «Веру»,— сказала она. «Но ведь, по-моему, сперва вы сказали «зверя»?» — «Да нет же, доктор, «веру»!» Одно слово. Один камешек покатился вниз. А за ним — лавина. Ибо я перед этим вполне отчетливо слышал, как она заявила: «Он будил во мне зверя», а это может быть связано с сексуальностью, не так ли? На самом же деле она, оказывается, произнесла: «Он будил во мне веру» — а это, вы наверняка согласитесь, уже совсем другая, куда более спокойная история. В ту ночь я не мог заснуть. Курил, смотрел из окон на улицу. В голове, в ушах была какая-то странная ясность, будто я только что избавился от простуды тридцатилетней давности. Я сомневался в себе, в своем прошлом, в своем рассудке, и когда

в три часа этой безжалостной ночи прикатил на машине к себе в приемную, мои худшие опасения оправдались: беседы с сотнями больных в том виде, в каком я их запомнил, не совпадали с их текстом, записанным на пленку или отпечатанным на пишущей машинке моей секретаршей!

— Вы хотите сказать...

— Я хочу сказать, что, когда я слышал «зверя», на самом деле говорилось «веру». «Немой» был на самом деле «зимой». «Бык» был «штык», и наоборот. Говорили «пастель», а я слышал «постель». «Спать» было «стлать». «Класть» было «красть». «Лапы» на самом деле были «шляпы». «Круп» был всего лишь «груб». «Сатана» был всего-навсего «сутана». «Секс» был «так-с» или «бокс» или — бог свидетель — «контекст»! «Да» — «туда». «Нет» — «лет». «Печь» — «течь». «Длинный» — «тминный». «Кожа» — «рожа». Какое слово ни возьми, я их все слышал неправильно. Десять миллионов дюжин нерасслышанных слов! Я в панике листал свои записи! О превеликий боже! Столько лет и столько людей! «Святой Моисей, Брокау,— бил я себя в грудь,— так давно ты сошел с Горы, и все эти годы слово Господа было как блоха в твоем ухе! И вот теперь, на исходе дня, ты, мудрый и старый, надумал вновь обратиться к своим каменным скрижалям, на которых писала молния,— и увидел, что твои законы и заветы совсем не те!» В эту ночь Моисей покинул свой храм. Я бежал во тьме, разматывая клубок своего отчаянья. Приехал поездом в Фар-Рокауэй — может быть, потому, что это название звучит так жалостно. Побрел вдоль мятущихся волн, равных по силе только мятущимся чувствам в моей груди. «Как,— рвалось из меня,— как мог ты, даже об этом не подозревая, прожить жизнь полуглухим? И узнать об этом только сейчас, когда по какой-то счастливой случайности эта способность к тебе вернулась,— ну как, скажи — как?! Но ответом мне был только подобный грому удар волны о песок. Вот и все о соломинке номер один, сломавшей горб номер один этому странному верблюду в образе человеческом.

Наступило молчание.

Мы ехали, автобус покачивался. Он катился по прибрежной золотистой дороге сквозь ласковый ветерок.

— А соломинка номер два? — тихо спросил я наконец.

Доктор Брокау сдвинул на лоб свои французские темные очки, и солнце, в них преломившись, покрыло стены автобусной пещеры блестками рыбьей чешуи. Мы смотрели не отрываясь на плавающие радужные узоры, он — сперва безразлично и лишь потом с улыбкой легкой заинтересованности.

— Зрение. Видение. Фактура. Деталь. Разве это не удивительно, не ужасно — в том смысле, что за этими словами стоит нечто истинно ужасное? Что такое зрение, видение, прозрение? Действительно ли хотим мы все видеть?

— Конечно, хотим! — воскликнул я.

— Бездумный ответ юнца. Нет, дорогой мой мальчик, не хотим. В двадцать — да, тогда нам кажется, что мы хотим все видеть, все знать, всем быть. Когда-то так казалось и мне. Но глаза у меня были с детства слабые, я полжизни провел у окулистов — подбирая стекла. И вот занялась заря контактной линзы, и я решил: обзаведусь этим прозрачным чудом со слезинку величиной, этими невидимыми дисками! Совпадение? Или действовали какие-то скрытые психоматические связи? Так или иначе, но контактные линзы появились у меня в ту же самую неделю, когда исправился мой слух! Возможно, сработала взаимозависимость духа и тела, но не толкайте меня к поспешным выводам. Знаю одно: малюсенькие кристально чистые контактные линзы для меня выточили, я вставил их в свои слабые младенчески-голубые глаза, и — voilá[1]! Так вот, оказывается, каков мир! Вот каковы люди! И — помоги нам, Господи! — каковы грязь и бесчисленные поры на человеческой коже. Саймон,— сказал он с тихой скорбью, закрыв на мгновение глаза за темными стеклами,— задумывались ли вы, знали ли вы, что люди — это прежде всего поры?

Он умолк, чтобы дать мне время осознать смысл сказанного. Я задумался.

— Поры? — произнес я наконец.

— Да, поры! Но кто об этом думает? Кто потрудится взглянуть? Однако я — моим вновь обретенным зрением — увидел! Тысячу, миллион, десять миллиардов пор. Больших, маленьких, бледных, темно-красных. Каждую и на

[1] Здесь: «Вот вам, пожалуйста!» *(фр.) — Примеч. пер.*

каждом. Люди на улицах, люди в автобусах, в театрах, в телефонных будках... Одни поры — и почти ничего другого. Крошечные на маленьких женщинах. Огромные на больших мужчинах. Или наоборот. Столь же многочисленные, как пылинки в тлетворной пыли, которая в предвечерние часы скользит, клубясь, по солнечному лучу в нефе церкви. Поры... Завороженный ими, я начисто позабыл обо всем остальном. Я таращился не на глаза, губы или уши прекрасных дам, а на кожу их лиц. Не на то ли следует смотреть мужчине, как внутри этой нежной плоти, похожей на подушечки для булавок, поворачиваются шарниры скелета? Разумеется! Так нет же, я видел только терки и кухонные сита женской кожи. Красота преобразилась в Гротеск. Переводя взгляд, я словно переводил в своем треклятом черепе объектив двухсотдюймового паломарского телескопа. Куда бы я ни повернулся, я повсюду видел изрытую метеоритами Луну в наводящем ужас сверхкрупном плане! А сам я? О боже, бритье по утрам превратилось для меня в утонченную пытку! Я не мог оторвать глаз от своего утраченного лица, испещренного, словно поле битвы, воронками от снарядов. «Проклятье, Иммануэль Брокау,— стонал я, будто ветер на крыше,— ведь ты Большой Каньон в полуденный час, апельсин с миллиардом бугорков и впадин, гранат, с которого сняли кожуру!» В общем, контактные линзы сделали меня пятнадцатилетним. То есть болезненно чувствительным, непрерывно терзающим себя клубком сомнений, страха и абсолютного несовершенства. Ко мне вернулся и начал меня преследовать прыщавый и неуклюжий призрак худшего в жизни возраста. Теперь я валялся по ночам бессонной развалиной. «Имей ко мне жалость, второе строчество!» — причитал я. Как мог я жить таким слепым так много лет? Да, слепым, и знал это, и всегда утверждал, что это не важно. Двигался по свету на ощупь, страстный миопик, не видя из-за близорукости ни ям, ни трещин, ни бугров ни на других, ни на самом себе. А теперь, прямо на улице, меня переехала реальность. И эта реальность была поры. Я закрыл глаза и погрузился в сон на несколько дней. А потом сел в постели и, широко открыв глаза, объявил: «Реальность еще не все! Я отвергаю поры. Объявляю их вне закона». На их место я ставлю истины, которые мы постигаем интуитивно или сами создаем для себя, чтобы ими жить. Ради них я пожер-

твовал глазами. Отдал контактные линзы садисту-племяннику, которого в жизни больше всего радовали свалки, прыщавые люди и волосатые твари. Снова нацепил свои старые, не дающие полной коррекции очки. И опять оказался в мире нежных туманов. Видел достаточно, но не больше, чем мне нужно. Видел, как прежде, людей-призраков, которых снова можно было любить. По утрам на меня опять глядел из стакана такой я, с которым я мог лечь в одну постель, которым мог гордиться и который мог быть моим приятелем. Я начал смеяться, день ото дня все счастливее. Сперва тихо. Потом во весь голос. До чего же, Саймон, забавная штука жизнь! Из суетности мы покупаем линзы, которые видят все,— и все теряем! А отказавшись от какой-то частицы так называемой мудрости, реальности, истины, мы получаем взамен жизнь во всей ее полноте! Все ли знают это? Писатели знают! В романах, рожденных интуицией, правды больше, чем во всех когда-либо написанных репортажах! Однако совесть мою раскололи две глубокие трещины, и мне о них поневоле пришлось задуматься. Мои глаза. Мои уши. «Святая корова,— сказал я себе,— тысячи больных побывали в моей приемной, скрипели моими кушетками, ждали эха в моей дельфийской пещере, и подумать только, какая нелепость: я никого из них не видел ясно и так же плохо их слышал! Какой была на самом деле мисс Харботл? А старый Динсмюир? Какого цвета, вида, величины была мисс Граймс? Действительно ли мисс Скрэпуайт, возникшая вдруг возле моего бюро, видом и речью была как египетская мумия?» Об этом мне оставалось только гадать. Две тысячи дней густого тумана скрывали от меня моих потерявшихся детей, которые для меня были всего лишь голосами — зовущими, слабеющими, замолкающими. О боже, так я, оказывается, ходил по базарам и не знал, что ношу на спине плакат «СЛЕПОЙ И ГЛУХОЙ», и люди подбегали, швыряли монеты в шляпу, которая была у меня в руках, и отбегали исцеленными! Да, исцеленными! Ну разве не удивительно это, разве не странно? Исцеленными старым калекой без руки и без ноги. Как же так? Каким образом, не слыша их, я каждый раз говорил именно то, что было нужно? Какие на самом деле были эти люди? Мне никогда этого не узнать. И еще я подумал: в городе сотня известных психиатров, которые прекрасно видят и слышат. Но их пациенты бросаются в

море во время шторма, или ночью прыгают в парках с детских горок, или связывают женщин и раскуривают над ними сигары. И пришлось признать неоспоримый факт: моя профессиональная деятельность была успешной. «Но ведь безногие не водят безногих! — закричал мой разум.— Слепые и хромые не исцеляют хромых и слепых!» Однако издалека, с галерки моей души, какой-то голос с безмерной иронией мне ответил: «Чушь и бред! Ты, Иммануэль Брокау, гений из фаянса — треснувший, но блестящий! Твои задраенные глаза видят, твои заткнутые уши слышат! Твой расщепленный разум исцеляет на некоем подсознательном уровне! Браво!» Но нет, я не мог жить со своими совершенными несовершенствами. Не мог понять или принять это нахальное и таинственное нечто, которое сквозь преграды и завесы играло со всем миром в доктора Айболита и исцеляло зверей. У меня было несколько возможностей. Не вставить ли опять контактные линзы? Не купить ли слуховой аппарат? Ну а потом? Обнаружить, что я утратил связь со своим скрытым и лучшим разумом, великолепно приспособившимся и привыкшим за тридцать лет к моему плохому зрению и моему никудышному слуху? Или остаться слепым и глухим и работать как прежде? Это, думал я, было бы возмутительным обманом, хотя репутация у меня оставалась бы белоснежной и свежевыглаженной, будто только что из прачечной. И я ушел на покой. Упаковал чемоданы, бежал в золотое забвение и позволил себе закупорить мои ужасные и удивительные уши...

Мы ехали вдоль берега, был жаркий послеполуденный час. Временами на солнце наплывали небольшие облака. На пляжах и на людях, рассыпанных по песку под разноцветными зонтиками, туманились тени.

Я откашлялся.

— Скажите, доктор, неужели вы не будете больше практиковать?

— А я и теперь практикую.

— Но ведь вы только что сказали...

— Практикую неофициально, без приемной и без гонорара — с этим все кончено.— И доктор негромко рассмеялся.— Но все равно загадка не дает мне покоя. Как удавалось мне исцелять всех наложением рук, когда руки у меня были по локоть обрублены? Но те же руки работают и сейчас.

— Каким образом?

— А моя рубашка. Вы же видели. И слышали.

— Когда вы шли по проходу?

— Совершенно верно. Цвета. Рисунки. Тот мужчина видит одно, эта девочка — другое, тот мальчик — третье. Зебры, козы, молнии, египетские амулеты. «Что это? А что это? А что то?» — спрашиваю я. И они отвечают, отвечают, отвечают. Человек в рубашке с тестами Роршаха. Дома у меня дюжина таких рубашек. Всех цветов и узоров. Одну, перед тем как умереть, расписал для меня Джексон Поллак. Каждую я ношу день, а если получается хорошо, если ответы четкие, быстрые, искренние, содержательные, то и неделю. Потом сбрасываю старую и надеваю новую. Десять миллиардов взглядов, десять миллиардов ответов ошеломленных людей. Вы хотите знать, не продам ли я эти рубашки вашему психоаналитику, приехавшему сюда отдохнуть? Или вам — чтобы тестировать друзей, шокировать соседей, щекотать нервы жене? О нет, ни в коем случае. Это мое собственное, личное и дорогое моему сердцу развлечение. Разделять его со мной не должен никто. Я и мои рубашки, солнце, автобус и тысяча дней впереди. Пляж ждет. А на нем — мои дети, люди! И так я брожу по берегам этого летнего мира. Здесь нет зимы — правда, удивительно? — и даже, кажется, нет зимы тревоги нашей, а смерть всего лишь слух где-то там, за дюнами. Я хожу, где и когда мне заблагорассудится, набредаю на людей, и ветер хлопает моей замечательной полотняной рубашкой, надувает ее, как парус, и тянет то на север, то на юг, то на юго-запад, и я вижу, как таращатся, бегают, косятся, щурятся, изумляются человеческие глаза. И когда кто-нибудь что-нибудь говорит о моем исчерченном чернилами хлопчатобумажном флаге, я замедляю шаг. Завожу разговор. Иду некоторое время рядом. Мы вместе вглядываемся в огромный кристалл моря. В то же время я вглядываюсь искоса, украдкой в душу собеседника. Иногда мы гуляем вместе часами, и тогда в нашем затянувшемся сеансе участвует также и погода. Обычно одного такого дня вполне достаточно, и я, ничего с него не взяв, отпускаю здоровым ни о чем не подозревающего пациента, не знающего даже, с кем он гулял. Он уходит по сумеречному берегу к вечеру более светлому и прекрасному. А слепоглухой человек машет ему вслед, желая счастливого плаванья, и, доволь-

ный результатом, спешит домой, чтобы скорее сесть за радостный ужин. Или иногда я встречу на пляже какого-нибудь сонного человека, у которого бед столько, что их, извлекая наружу, не уморишь в ярком свете только одного дня. Тогда, будто по воле случая, мы снова набредаем друг на друга неделей позже и вместе идем вдоль полосы прибоя, и с нами наша передвижная исповедальня, которая существовала всегда. Ибо задолго до священников, до горячих шептаний и раскаяний гуляли, разговаривали, слушали и в разговорах излечивали друг друга от обид и отчаяния друзья. Добрые друзья все время обмениваются огорчениями, передают друг другу свои душевные опухоли и таким путем избавляются от них. На лужайках и в душах копится мусор. В пестрой рубашке и с палкой для мусора с гвоздем на конце я каждый день на рассвете отправляюсь... наводить чистоту на пляжах. Так много, о, так много тел лежит там на солнце. Так много душ, затерявшихся во мраке. Я иду среди них... стараясь не споткнуться.

Ветер дул в окно автобуса, прохладный и свежий, и по разрисованной рубашке задумавшегося старика, как по морю, пробегала легкая зыбь.

Автобус остановился.

Доктор Брокау увидел вдруг, что ему надо выходить, и вскочил на ноги:

— Подождите!

Все в автобусе повернулись к нему, словно зрители, ожидающие увидеть на сцене выход премьера. Все улыбались.

Доктор потряс мне руку и побежал к передней двери. Около нее, изумленный своей забывчивостью, оберпулся, поднял темные очки и, прищурившись, посмотрел на меня слабыми младенчески-голубыми глазами.

— Вы...— начал он.

Я уже был для него туманом, пуантиллистской грезой где-то за пределами зримого.

— Вы...— воззвал он в чудесное облако бытия, обступавшее его плотно и жарко,— не сказали мне, что видите вы. Так что же, что?!

Он выпрямился во весь свой высокий рост, показывая эту невероятную, вздувавшуюся на ветру рубашку с тестами Роршаха, на которой беспрерывно менялись цвета и линии.

Я посмотрел. Я моргнул. Я ответил.

— Рассвет! — крикнул я.

От этого мягкого дружеского удара у доктора подкосились ноги.

— Вы уверены, что не закат? — крикнул он, приставляя ладонь к уху.

Я посмотрел снова и улыбнулся. Я надеялся, что он увидит мою улыбку — в тысяче миль от него, хоть и в том же автобусе.

— Да! — прокричал я.— Рассвет. Прекрасный рассвет.

Чтобы переварить это, он зажмурился. Большие руки прошлись по краю его ласкаемой ветром рубашки. Он кивнул. Потом открыл светлые глаза, махнул мне рукой и шагнул в мир.

Автобус тронулся. Я посмотрел назад.

И увидел, как доктор Брокау идет через пляж, где лежит в жарком солнечном свете тысяча купальщиков — статистическая выборка для опроса общественного мнения.

Казалось, что он идет, легко ступая, по волнам людского моря.

И за миг до того, как я перестал его видеть, он шел по ним в ореоле славы.

СПРИНТ ДО НАЧАЛА ГИМНА

— Да что тут спорить — Дун, конечно, сильнее!

— Черта с два он сильнее!

— У него реакция умопомрачительная, под уклон летит как стрела; глазом не успеешь моргнуть, как его уже след простыл!

— Все равно Хулихен его побьет!

— Так пусть сейчас и попробует!

Я сидел в дальнем углу бара на Графтон-стрит и слушал, как поют теноры, умирают и не могут умереть концертино и, высматривая несогласных, рыщут в дымном воздухе споры. Бар назывался «Четыре провинции», время — для Дублина — было позднее, и уже нависала реальная угроза того, что все и вся, то есть пивные краны, аккордеоны, крышки роялей, солисты, трио, квартеты,

бары, кондитерские и кинотеатры, вот-вот закроются. Словно в Судный День, половина населения Дублина огромной волной выкатится в безжизненный свет фонарей и, глянув в блестящие металлические стенки автоматов, продающих жевательную резинку, не увидит в них никакого отражения. Ошеломленные, лишенные вдруг хлеба и зрелищ души их забьются в панике, как мотыльки на свету, а потом понесутся каждая к своему дому. Но пока что я сидел в баре и слушал спор, ощущая его жар на расстоянии пятидесяти шагов от спорящих...

— Победит Дун!

— Нет, Хулихен!

Самый маленький из них там, в другом конце зала, обернулся, прочитал на моем чересчур открытом лице любопытство и завопил на весь бар:

— Я вижу, вы американец! И вам, видно, интересно, из-за чего весь этот шум! Вы мне доверяете? Послушаетесь меня, если я вам посоветую, на кого ставить в большой, хотя она и местного значения, спортивной встрече? Если да — пожалуйте сюда!

И я пошел с кружкой «гиннеса» на другой конец «Четырех провинций», к собравшимся крикунам. Скрипач прекратил расправу над мелодией, которую он играл, и вместе с пианистом устремился туда же, а вслед за ними двинулся и вокальный ансамбль.

— Меня зовут Тималти.— И человечек пожал мне руку.

— Дуглас,— представился я,— пишу для кино.

— Для кино?! — взвыли вокруг.

— Для кино,— скромно подтвердил я.

— Вот удача-то! Прямо поверить трудно! — Тималти снова, еще крепче, сжал мою руку.— Лучшего судьи не найти! В спорте разбираетесь? Знаете, например, бег по пересеченной местности, на четыреста сорок ярдов и другие пешие прогулки?

— Я видел две Олимпиады.

— И для кино пишет, и на олимпиадах бывал! — Тималти прямо задохнулся от восторга.— Да, такого, как вы, увидишь не часто. Ну а об особом всеирландском десятиборье вы слышали? Оно ведь имеет отношение к кинотеатрам.

— К стыду моему, не слышал.

— Не слышали? Хулихен!

Вперед моментально пробрался улыбающийся человечек ростом ниже даже, чем Тималти; он засовывал в карман губную гармошку.

— Хулихен, лучший гимновый спринтер Ирландии,— представился он.

— Какой-какой спринтер? — не понял я.

— Гим-но-вый,— произнес по слогам Хулихен.— Гимновый спринтер, самый быстрый.

— За время, что вы в Дублине,— спросил Тималти,— вы в кино были?

— Был, и не один раз. Вчера вечером смотрел фильм с Кларком Гейблом, позавчера — старый, с Чарлзом Лафтоном...

— Достаточно! Вы такой же, как мы, ирландцы. Не будь кинотеатров, чтобы уводить безработных и бедняков с улиц и пивных, чтобы приманивать их кружкой, мы бы давным-давно уже выбили из нашего острова пробку, и остров бы затонул... Так...— Он потер руки.— Ну а замечали вы у нас что-нибудь особенное, когда кончается картина?

— Когда кончается картина? — задумался я.— Подождите, вы имеете в виду национальный гимн?

— Слышали, ребята?! — воскликнул Тималти.

— Точно, догадался! — зашумели вокруг.

— Каждый вечер, из года в год, в конце каждого треклятого фильма,— запричитал Тималти,— оркестр, будто ты и так не слыхал уже тысячи раз эту осточертевшую музыку, начинает играть ирландский гимн. И тогда...

— Тогда,— сказал я, подстраиваясь под общий тон,— если ты хоть чего-нибудь стоишь, ты постараешься за драгоценные секунды между концом фильма и началом гимна выскочить из зрительного зала.

— Правильно! Кружку ему за это! — закричали вокруг.

— Я в Дублине всего четыре месяца, и то гимн уже начал мне приедаться,— заметил я вскользь.— Не хочу сказать этим ничего плохого,— поспешил я добавить.

— Никто о дурном и не подумал! — отозвался Тималти.— И сами мы патриоты, ветераны Ирландской Республиканской Армии, участники восстаний против англичан.

Мы все любим свою страну, но когда вдыхаешь воздух, который ты уже десять тысяч раз выдыхал, у тебя начинается головокружение. И поэтому, как вы заметили, за три-четыре посланные богом секунды любой еще не совсем спятивший зритель норовит пулей вылететь из зала. И быстрее всех вылетают...

— ...Дун и Хулихен. Гимновые спринтеры,— закончил за него я.

Они улыбались мне. Я улыбался им.

Мы все так обрадовались моей сообразительности, что я просто не мог не угостить каждого кружкой пива.

Слизывая с губ пену, мы дружелюбно посматривали друг на друга.

— В настоящую минуту,— прочувствованно сказал Тималти, обозревая эту идиллическую сцену,— меньше чем в сотне ярдов отсюда, в темноте кинозала «Графтон», в середине четвертого ряда, у самого прохода, сидит...

— Дун,— докончил за него я.

— И откуда он все это знает? — изумленно воскликнул Хулихен, приподняв в знак почтения ко мне кепку.

— Так или иначе,— Тималти подавил недоверие к моим способностям,— Дун и на самом деле сейчас там. Картины он до этого не видел, она с Диной Дурбин, ее вытащили на свет божий по просьбе зрителей, и время сейчас...

Все взгляды обратились к стенным часам.

— Десять! — выдохнула компания.

— Значит, через каких-нибудь пятнадцать минут из зала повалят зрители...

— И?..— сгорая от любопытства, заторопил его я.

— И,— ответил Тималти,— если мы пошлем туда Хулихена проверить, кто из них двоих ловчее и быстрее, Дун будет готов принять вызов.

— Неужели он сидит в кино исключительно ради спринта?

— Конечно, нет. Он сидит там ради песен Дины Дурбин и всякого такого. А вообще он здесь, в баре, играет на пианино, на это и живет. Но если Дун увидит, что перед концом сеанса через проход от него сел Хулихен,— он поймет. Они отсалютуют друг другу и будут сидеть и слу-

шать красивую музыку, пока не увидят на экране: КОНЕЦ.

— Вот именно! — Хулихен, пританцовывая на носках, начал сгибать и разгибать руки.— А ну давайте его сюда, сейчас я с ним разделаюсь!

Тималти пристально посмотрел на меня.

— Мистер Дуглас, я вижу, вы настроены скептически, условия нашего спортивного состязания вас ошеломили. Как это может быть, задаете вы себе вопрос, чтобы взрослые люди тратили время на такую ерунду? Так если хотите знать, времени нам, ирландцам, девать некуда. Работы нет и не предвидится, и потому то, что у вас в стране показалось бы пустяком, мы раздуваем до слоновьей величины. Сказать правду, живых слонов мы никогда не видели, зато знаем: мошка, если посмотришь на нее через микроскоп, покажется самой большой тварью на земле. И хотя гимновый спринт не перешагнул еще границ Ирландии, ты убеждаешься, когда займешься им всерьез, что это увлекательнейший вид спорта. Слушайте правила!

— Сначала,— перебил его Хулихен,— выясни, захочет ли он теперь, когда все узнал, сделать ставку.

Взгляды, скрестившиеся на мне, вопрошали: неужели все сказанное брошено на ветер?

— Захочу,— ответил я.

Присутствующие единогласно решили, что я лучший представитель рода человеческого.

— Надо со всеми вас познакомить,— сказал Тималти.— Фогарти, главный судья на выходе. Нолан и Кланнери, судьи в проходе между креслами. Кланси засекает время. И болельщики: О'Нил, Бэньон и ребята Келли — вон сколько их! Пошли!

Словно щетки огромной улицеуборочной машины, какой-нибудь из этих щетинистых, усатых уродин, подхватили и понесли меня. Чуть не на плечах восторженных людей я поплыл вниз по улице, туда, куда созвездиями мерцающих огоньков нас зазывал кинотеатр. Тималти шагал, размахивая руками, где-то сбоку и, надрываясь, знакомил меня с основными правилами.

— Многое, конечно, зависит от кинотеатра!

— Конечно! — соглашался я.

— Есть кинотеатры щедрые, с широкой натурой, проходы и двери в них широкие, а туалеты — те даже еще

просторней, еще шире; в некоторых столько кафеля, что от одних эхо не знаешь куда деваться. А есть кинотеатры-скупердяи, мышеловки, там даже в главном проходе не вздохнешь, сиденья бьют тебя по коленям, а через наружную дверь, когда спешишь после сеанса в кафе-кондитерскую напротив, где мужской туалет, протиснуться можно только боком. Каждый кинотеатр оценивается со всех сторон, оцениваются условия в нем до, во время и после спринта, и все учитывается. Принимается во внимание также, кто зрители: мужчины и женщины вперемешку, одни мужчины, одни женщины или — это самое худшее — одна детвора (на дневных сеансах). С детьми, конечно, испытываешь искушение хватать их в охапку, как сено, и откидывать в стороны, так что мы это бросили и теперь ходим в основном на вечерние — сюда, в «Графтон»!

Наконец-то! Мы остановились. Мерцающие разноцветные огоньки отражались у нас в глазах и окрашивали наши лица.

— Идеальный кинотеатр,— сказал Фогарти.

— Почему? — спросил я.

— Проходы,— объяснил Кланнери,— не слишком широкие, но и не слишком узкие, выходы размещены удачно, дверные петли смазаны, среди публики много наших болельщиков, а остальные если и не болеют — все равно посторонятся, когда по проходу мчится, выкладываясь, спринтер.

Меня озарило:

— Вы... специально создаете препятствия?

— Ну да! Иногда меняем выходы — когда к старым уже примерились. Или наденем зимнее пальто на одного, а летнее на другого. Или посадим одного в шестом ряду, а другого — в третьем. А уж если спринтер стал быстроногим до неприличия, мы нагружаем его самым тяжелым грузом, какой у нас есть...

— Алкоголем?

— Ну конечно! Например, Дун у нас быстроногий, как серна, так что его надо нагрузить вдвойне... Нолан! — И Тималти протянул фляжку: — На, беги к Дуну, пусть глотнет пару раз, да побольше!

Нолан побежал.

— Этот и так уже обошел за вечер все «Четыре про-

винции»,— кивнул Тималти на Хулихена,— с него хватит. Теперь они с Дуном на равных.

— Отправляйся, Хулихен,— сказал Фогарти,— ни пуха тебе, ни пера. Через пять минут ты стрелой вылетишь на улицу, станешь победителем! Первым!

— Давайте сверим часы,— предложил Кланси.

— С чем, с моим задом? — сердито отозвался Тималти.— Хоть у кого-нибудь из нас есть на руке что-нибудь, кроме грязи? Часы у тебя одного. Хулихен, в зал!

Будто отправляясь в кругосветное путешествие, Хулихен с каждым из нас обменялся рукопожатием, а потом, махнув всем рукой, скрылся в темноте зала — и в тот же миг оттуда появился Нолан. В победно поднятой руке он держал полупустую фляжку.

— Дело сделано, Дун под грузом!

— Прекрасно! Кланнери, скорей к бегунам, проверь, сидят ли оба, как договорено, в четвертом ряду, по сторонам прохода, в кепках и шарфах, застегнуты ли до половины пальто, как полагается, и доложи мне.

Кланнери растворился во мраке зала.

— А билетеры? — спросил я.

— Смотрят картину,— ответил Тималти,— ноги-то ведь у них не железные. Билетеры мешать не станут.

— Десять тринадцать! — объявил Кланси.— Через две минуты...

— ...старт,— сказал я.

— Ну что за умница! — умилился Тималти.

Из зала вприпрыжку выбежал Кланнери:

— Готовы! Оба на местах — и все в порядке!

— Картина заканчивается! Всегда можно догадаться по музыке — к концу любого фильма музыка будто вырывается на свободу!

— Гремит вовсю,— согласился Кланнери.— И певицу слышно, и оркестр, и хор. Пожалуй, завтра посмотрю целиком — уж очень музыка хороша.

— Да ну? — загоготал Кланси, а за ним и остальные.

— Нет, правда, что это за мотив?

— Провались ты со своим мотивом! — взорвался Тималти.— Осталась одна минута, а его мотив интересует! Заключайте пари. Кто ставит на Дуна? Кто на Хулихена?

Поднялся галдеж, и замелькали деньги, в основном шиллинги. Я протянул Тималти четыре шиллинга:

— На Дуна.

— Да ведь вы его в глаза не видели!

— Темная лошадка,— проговорил я, понизив голос.

— Хорошо сказано! — И Тималти повернулся к остальным: — Судьи Нолан, Кланнери — в проход! Следите, чтобы, пока картина не кончится, ни тот ни другой не двинулись с места!

Счастливые, как дети, Кланнери и Нолан в мгновение ока скрылись за дверью зала.

— А теперь освободим им дорогу. Мистер Дуглас, сюда, пожалуйста, ко мне!

Все бросились строиться по сторонам обоих, закрытых пока главных выходов.

— Фогарти, приложи ухо к двери!

Фогарти приложил. Глаза его широко раскрылись:

— До чего же она громкая, эта чертова музыка!

Один из братьев Келли толкнул другого локтем:

— Скоро кончится. Кому полагается умереть, сейчас умирает, а тот, кому жить, над ним наклоняется.

— Еще сильней загремела! — оповестил нас Фогарти, не отнимая уха от дверной панели.— Вот: та-тамм! Значит, на экране уже КОНЕЦ!

— Бегут! — вырвалось у меня.

— Приготовиться! — скомандовал Тималти. Мы все смотрели теперь, не отрываясь, на дверь.

— Гимн!

— Смирно!

Мы выпрямились. Кто-то отсалютовал.

Но взгляды по-прежнему были устремлены на дверь.

— Кто-то бежит,— прислушался Фогарти.

— Успел до гимна, а это главное...

Дверь распахнулась.

Хулихен вылетел наружу, запыхавшийся, но с улыбкой победителя.

— Хулихен! — закричали те, кто выиграл пари.

— А Дун? — еще громче заорали те, кто проиграл.— Дун где?

Ибо хотя Хулихен был первым, соперника его видно не было.

Из кино повалил народ.

— Может, идиота понесло не в ту дверь?

Мы стояли и ждали. Скоро во мраке ночи растаяли последние зрители.

Первым в пустое фойе заглянул Тималти:

— Ду-уун!

Ни звука.

— Может, он... там?

И они рывком открыли дверь мужского туалета.

— Ду-ун!

Ни ответа, ни даже эха.

— Боже,— воскликнул Тималти,— неужто сломал ногу и умирает где-нибудь на полу?

— Не иначе!

Кучка людей, как плавающий островок, качнулась в одну сторону, но тут же изменила направление и поплыла в другую, к двери в зал, втекла в нее и двинулась вниз по наклонному проходу; я поспешил следом.

— Ду-ун!

Но встретили нас Кланнери и Нолан, и они молча показали на что-то в глубине зала. Я два раза подпрыгнул, пытаясь заглянуть вперед через головы. В огромном зале царила полутьма. Я не увидел ничего.

— Ду-ун!

Вдруг у четвертого ряда все остановились, и я услышал испуганные возгласы: оказалось, что Дун сидит на своем месте в четвертом ряду, у прохода, и глаза его закрыты, а руки сложены на груди.

Мертвый?

Да ничего подобного!

Слеза, огромная, сверкающая и прекрасная, скатилась по его щеке. А вот и еще одна, больше и прекраснее прежней, выкатилась из другого глаза. Подбородок у Дуна был влажный, и было ясно, что начал плакать он не сейчас.

Его обступили, над ним склонились, тревожно всматриваясь в лицо.

— Ты что, заболел?

— Плохую новость услышал?

— О боже! — воскликнул Дун. Он тряхнул головой, будто хотел с нее что-то сбросить.— О боже,— произнес он наконец,— ведь у нее ангельский голос!

— Ангельский?

— Да,— кивнул он.

Взгляды всех обратились на пустой серебристый экран.

— Это ты... про Дину Дурбин?

Дун всхлипнул:

— Голос как у моей дорогой покойной бабушки...

— Что ты плетешь? — оборвал его Тималти.— Совсем не такой был у нее голос!

— А кто это может знать лучше меня? — Дун вытер глаза и высморкался.

— Значит, не побежал ты только из-за этой девки, из-за Дурбин?

— «Только»!..— горько передразнил его Дун.— «Только»!.. Да это кощунство — бежать после такой музыки! Все равно что прыгнуть во время венчания через алтарь или затанцевать на похоронах.

— Хоть бы предупредил нас.— И Тималти посмотрел на него злым взглядом.

— Как я мог предупредить? Было такое чувство, будто мне бог открыл вдруг глаза и уши. Последнее, что она пела... «Прекрасный остров Иннисфри», да, Кланнери?

— А что еще она пела? — спросил Фогарти.

— «Что еще она пела»! — вскипел Тималти.— Половина из нас потеряла по его милости весь сегодняшний заработок, а его, видите ли, интересует, что еще она пела! Пошел отсюда!

— Оно конечно, деньги правят миром,— согласился Дун, снова смежая веки,— но выносить их власть помогает нам музыка.

— Что происходит? — громко раздалось откуда-то сверху.

Какой-то человек, перегнувшись через балюстраду балкона, смотрел на нас и дымил сигаретой.

— Из-за чего шум?

— Киномеханик,— прошептал Тималти. И уже вслух: — Здорово, Фил! Это мы, команда! У нас тут один небольшой спор по этике, если не хуже — по эстетике. И... э-э... нам хотелось бы знать, нельзя ли еще раз проиграть гимн?

— Гимн? Еще раз?

Те, кто выиграл, обеспокоенно зашевелились, начали

переступать с ноги на ногу и подталкивать друг друга локтями.

— Хорошая мысль,— сказал Дун.

— Неплохая,— подтвердил Тималти, теперь сама хитрость.

— Богу было угодно лишить нашего Дуна сил.

— Попался, как рыба на крючок, на фильм тридцать седьмого года,— добавил Фогарти.

— Чтобы все было по-честному...— И Тималти без тени смущения снова посмотрел вверх.— Фил, мальчик мой, скажи, пожалуйста, последняя часть фильма еще здесь?

— Не в дамском же туалете,— ответил, попыхивая сигаретой, Фил.

— До чего остроумный малый! Ну а теперь, Фил, голубчик, скажи, пожалуйста, не мог бы ты снова прокрутить последние кадры, повторить для нас КОНЕЦ?

— Только это и нужно?

На какой-то миг всеми овладела растерянность, но мысль о новом состязании слишком соблазняла даже тех, чьи выигрыши ставились теперь под вопрос. Все утвердительно закивали, и недолгое молчание кончилось.

— В таком случае,— крикнул сверху Фил,— я и сам ставлю шиллинг на Хулихена!

Те, кто выиграл, разразились смехом и победными кликами; они явно собирались выиграть снова. Хулихен благодарно помахал им рукой. Проигравшие стали тормошить Дуна:

— Слышал, как тебя оскорбляют? Не спи, старина!

— Как только девица, черт бы ее побрал, запоет, сразу оглохни!

— Все по местам, быстро! — И Тималти начал торопливо распихивать на две стороны собравшихся.

— Нет зрителей,— сказал Хулихен,— а какое же это состязание без зрителей, какой бег с препятствиями?

— Тогда...— И Фогарти обвел нас, моргая, взглядом.— Зрителями будем мы сами!

— Великолепно!

Довольные, все бросились рассаживаться по креслам.

— Или, еще лучше,— послышался откуда-то из передних рядов голос Тималти,— почему бы нам не разделиться на две команды? Дун и Хулихен — это само собой, но за

каждого болельщика Дуна или, соответственно, Хулихена, который выскочит до того, как гимн приморозит его к месту, будет засчитываться дополнительное очко — согласны?

— Согласны!

— Простите,— сказал я,— но ведь некому судить снаружи.

Все головы повернулись в мою сторону.

— Ах ты, черт! — вырвалось у Тималти.— Берно. Нолан, наружу!

Чертыхаясь, Нолан потащился по проходу к дверям.

Из кинобудки наверху показалась голова Фила:

— Ну что, оболтусы, готовы?

— Готовы, если готова девица и готов гимн!

И свет погас.

Оказалось, что я сижу рядом с Дуном, на втором месте от прохода. Я услышал его просящий шепот:

— Толкай меня, парень, не давай красоте отвлекать от дела, хорошо?

— Да замолчи ты! — оборвал его кто-то.— Не мешай смотреть, ведь тут тайна...

Да, пожалуй, она была тут, тайна песни, искусства, жизни, юная девушка, поющая на экране, где ожило неумирающее прошлое.

— Мы на тебя надеемся, Дун,— шепнул я.

— Что? — отозвался он. Он глядел на экран и улыбался.— Посмотри только, до чего хороша! Слышишь, как поет?

— Мы на тебя поставили, Дун,— напомнил я.— Готовься!

— Ладно,— проворчал он.— Дай кости расправлю. Господи помилуй!

— Что такое?

— Как же я раньше не заметил? Правая нога! Пощупай. Нет, не здесь. Омертвела она, вот что!

— Ты хочешь сказать — онемела? — с отчаянием в голосе спросил я.

— Омертвела или онемела, черт возьми, из игры я выхожу! Бежать придется тебе. Бери мою кепку и шарф!

— Твою кепку?

— Когда побежишь, ты их покажешь, и мы объясним, что бежишь ты из-за моей дурацкой ноги!

Он нахлобучил на меня кепку, повязал шарф.

— Но послушай...— запротестовал было я.

— У тебя получится! Помни только: не трогаешься, пока не увидишь на экране КОНЕЦ! Песня кончается! Боишься, наверно?

— А как ты думаешь?

— Побеждает слепая страсть, сынок. Бросайся вперед очертя голову, наступишь на кого-нибудь — не оглядывайся. Вот, уже! — Дун подобрал ноги, чтобы не загораживать мне проход.— Песня кончилась. Он ее целует...

— КОНЕЦ! — закричал я.

Я выскочил в проход между креслами и помчался вверх. И на бегу думал: «Первый! Впереди! Не может быть! Дверь!»

В тот миг, когда раздались первые звуки гимна, я уже распахнул дверь.

Вылетел в фойе — наконец-то!

«Победа!» — подумал я, с трудом в это веря. Кепка и шарф Дуна на мне были как победные лавры. Победил! Победил за свою команду!

Ну а кто второй, третий, четвертый?

Я повернулся к двери, как раз когда она захлопнулась.

И тут я услышал за ней вопли и выкрики.

«Боже,— подумал я,— видно, шестеро кинулись не к тому выходу, кто-то споткнулся, упал, кто-то на него повалился. Вот почему я первый и единственный! И теперь там идет беззвучная, яростная схватка, две команды сплелись в смертельной борьбе, кто навзничь, кто верхом, кто на сиденьях, кто под сиденьями,— наверно, так!»

«Я победил!» — хотелось мне закричать, чтобы остановить свалку.

Я распахнул дверь.

Я вперил взгляд в темную бездну, откуда не слышно было никаких звуков.

Подошел Нолан и заглянул через мое плечо.

— Вот вам ирландцы,— сказал он, кивая головой.— Как ни дорог им спорт, искусство еще дороже.

Ибо что доносилось теперь оттуда, из мрака?

— Прокрути снова! Еще раз! Ту, последнюю песню! Фил!

— Никто не трогайтесь с места! Я прямо на седьмом небе. Дун, ты был прав!

Мимо меня прошел Нолан, он тоже хотел сесть.

Долго глядел я вниз, на ряды, где гимновые спринтеры, из которых ни один даже не поднялся с места, сидели и вытирали глаза.

— Ну так повторишь еще, Фил, дружище? — донесся из передних рядов голос Тималти.

— Будет сделано! — отозвался из будки Фил.

— Только без гимна,— добавил Тималти.

Бурные аплодисменты.

Тусклый свет погас. Огромным раскаленным очагом засветился экран.

Я выглянул наружу, в здравомыслящий, ярко освещенный мир Графтон-стрит, «Четырех провинций», отелей, магазинов и гуляющей публики. Я не знал, что мне делать.

Потом зазвучал «Прекрасный остров Иннисфри», и под его звуки я снял кепку и шарф, сунул эти лавры под соседнее сиденье и медленно-медленно, стараясь продлить наслаждение до бесконечности, опустился в кресло...

TYRANNOSAURUS REX

Он открыл дверь во тьму. Чей-то голос крикнул:

— Закрой!

Его словно ударили по лицу. Он рванулся внутрь. Дверь позади громко хлопнула. Он тихо выругался. Тот же голос подчеркнуто терпеливо полупроговорил-полупропел:

— О боже! Ты и есть Тервиллиджер?

— Да,— ответил Тервиллиджер.

Справа от него на стене погруженного во мрак зала смутным призраком маячил экран. Слева плясало в воздухе маленькое красноватое пятнышко — это двигалась зажатая в губах сигарета.

— Ты на пять минут опоздал!

«А сказал ты это так, будто я опоздал не на пять минут, а на пять лет»,— подумал Тервиллиджер.

— Сунь свою пленку в аппаратную. Ну, пошевеливайся!

Тервиллиджер прищурился.

Он разглядел пять глубоких кресел, четыре из них заполняла администраторская плоть и, тяжело дыша и отдуваясь, переливалась через подлокотники к пятому креслу посередине, где почти в полной темноте сидел и курил мальчик.

«Нет,— подумал Тервиллиджер,— не мальчик. А сам Джо Кларенс. Кларенс Великий».

Крошечный рот, выдувая дым, дернулся, как у марионетки:

— Ну?

Неуверенно ступая, Тервиллиджер двинулся к киномеханику и отдал ему коробку с пленкой; киномеханик, сделав по направлению к креслам непристойный жест, подмигнул Тервиллиджеру и захлопнул за ним дверь.

— О всевышний! — вздохнул тонкий голос. (Зазвенел звонок.) — Аппаратная, начинай!

Тервиллиджер протянул руку к ближайшему креслу, ткнулся в мягкое и живое, отпрянул и, кусая губы, остался стоять на ногах.

С экрана в зал прыгнула музыка. Под громовые раскаты барабанов начался фильм:

Tyrannosaurus Rex — грозный ящер
Объемно-мультипликационный фильм
Куклы и съемка Джона Тервиллиджера
Попытка воспроизвести изобразительно формы жизни, существовавшие на Земле за миллиард лет до рождества Христова

Детские ручки в среднем кресле чуть слышно, иронически зааплодировали.

Тервиллиджер закрыл глаза. Новая музыка с экрана вырвала его из забытья. Титры растаяли в мире первобытного солнца, ядовитого дождя и буйной, девственной растительности. Клочья утреннего тумана лежали по берегам вечных морей, и огромные летающие кошмары снова и снова, как коса, срезали ветер. Громадные треугольники из пожухлой кожи и костей с алмазами глаз и неровными желтыми зубами, птеродактили, эти воздушные змеи, запущенные в небо самим злом, падали на добычу, хватали

ее и, почти не поднимаясь над землей, уносили в ножницах ртов свои жертвы и их предсмертные крики.

Тервиллиджер смотрел как зачарованный.

В густых зарослях что-то вздрагивало, трепыхалось, ползло, дергало усиками, и одна лоснящаяся слизь внутри другой, под роговой броней вторая броня, в тени и на полянах двигались рептилии, населявшие безумное, пришедшее к Тервиллиджеру от далеких предков воспоминание о мести, обретшей плоть, и о паническом бегстве в воздух.

Бронтозавр, стегозавр, трицератопс. Как легко падают с губ тяжеловесные тонны этих названий!

Уродливыми машинами войны и разрушения гигантские чудовища шли через овраги с поросшими мхом склонами, каждым шагом своим растаптывали тысячу цветов, рыли мордами туман, пронзительными криками раздирали пополам небо.

«Красавцы мои,— думал Тервиллиджер,— маленькие мои красотульки! Все из жидкого латекса, губчатой резины, стальных костей на подшипниках; все приснившиеся, из глины вылепленные, гнутые и паяные, склепанные, шлепком ладони в жизнь посланные! Половина их величиной с мой кулак, остальные не крупнее этой вот головы, из которой они появились».

— О боже! — сказал кто-то тихо и восторженно в темноте.

Часы, дни, месяцы подряд, шаг за шагом, кадр за кадром он, Тервиллиджер, проводил созданных им животных через последовательности поз, двигал каждое на крошечную долю дюйма, снимал, передвигал еще на волосок, снимал снова — и теперь диковинные образы на каких-нибудь восьмистах футах пленки проносились через проектор.

«Какое чудо! — думал Тервиллиджер.— Это будет новым для меня всегда. Посмотрите только! Ведь они живые! Резина, сталь, каучук, глина, чешуя из латекса, стеклянный глаз, клык из фарфора, прыг-скок, топ-топ — и шагом гордым по материкам, еще ноги не знавшим человечьей, по берегам морей, еще солеными не ставших, как будто не прошло с тех пор миллиарда лет. Они в п р а в д у дышат! Они в п р а в д у мечут громы и молнии! Как жутко! Такое чувство, будто это собственный мой

Сад, и в нем сотворенные мной животные, которых я возлюбил в этот День Шестой, а завтра, в День Седьмой, я отдохну».

— О боже! — снова произнес тихий голос.

Тервиллиджер едва не отозвался: «Да, я слышу».

— Это великолепная лента, мистер Кларенс,— продолжал голос.

— Возможно,— сказал человек с голосом мальчика.

— Правдоподобно до невероятности.

— Я видел лучшие,— сказал Кларенс Великий.

Все в Тервиллиджере напряглось. Он отвернулся от экрана, где его друзья скатывались в небытие, где гибли одно за другим, как на скотобойне, существа высотою с двухэтажный дом. Впервые он оглядел своих возможных работодателей.

— Материал великолепный.

Похвала исходила от старика, сидевшего в стороне, отдельно; подавшись вперед, он изумленно, во все глаза, глядел на эту древнюю жизнь.

— Идет рывками. Вон, посмотрите! — Странный мальчик в среднем кресле привстал, показывая на экран зажатой во рту сигаретой.— Уж это кадр хуже некуда. Вы что, не видите?

— Да,— ответил — внезапно устало — старик, откидываясь назад и сливаясь снова с креслом, на котором сидел.— Вижу.

Тервиллиджер задушил жаркий гнев, потом утопил его в быстринах своей крови.

— Идет рывками,— повторил Джо Кларенс.

Белый экран, мельканье цифр, темнота; музыка оборвалась, чудовища исчезли.

— Наконец-то! — Джо Кларенс выдохнул дым.— Уже обед скоро. Следующую, Уолтер! Всё, Тервиллиджер. (Молчание.) А, Тервиллиджер? (Молчание.) Этот кретин все еще здесь?

— Здесь.— Тервиллиджер изо всех сил вдавил кулаки себе в поясницу.

— О,— сказал Джо Кларенс.— Вообще неплохо. Но не воображай, что деньги потекут рекой. Вчера приходило больше десятка парней, так они показывали материал не хуже, а то и лучше твоего — всё пробы для нашего нового фильма «Доисторическое чудовище». Оставь

заявку в конверте у секретаря. Выходи в ту же дверь, в какую вошел. Уолтер, какого дьявола ты ждешь? Крути новую!

В темноте Тервиллиджер ободрал ноги о кресло, с трудом нащупал ручку двери, сжал ее крепко.

За спиной у него взорвался экран: потоками мелких камней падала лавина, целые города из гранита, огромные мраморные здания вставали, рассыпались, стекали вниз. В громе падающих камней он расслышал голоса, которые прозвучат через неделю: «Мы заплатим тебе тысячу долларов, Тервиллиджер».— «Но мне нужна тысяча только на одно оборудование!» — «Подумай хорошенько, это для тебя шанс. Хочешь, воспользуйся им, не хочешь — твое дело!»

И, слушая, как гром замирает, он уже знал, что воспользуется, и знал, что сделает это с отвращением.

Только когда молчание у него за спиной поглотило лавину всю без остатка и замедлила ход в сердце, домчавшись до неизбежного решения, собственная его кровь, только тогда потянул на себя Тервиллиджер невероятно тяжелую дверь и шагнул в ужасающий, безжалостный свет дня.

Припаяй гибкий позвоночник к извивающейся длинной шее, насади на шею самодельный маленький череп, закрепи на шарнирах нижнюю челюсть, оклей губчатой резиной смазанный в суставах скелет, обтяни пестрой кожей, которую не отличить от настоящей змеиной, заделай тщательно швы, и потом в мире, где безумие, пробудившись от сна, видит перед собой другое безумие, еще более немыслимое, встань торжествующе на дыбы.

Из света электрического солнца вниз скользнули руки Творца. Они опустили чудовище в зерненой коже в сделанную зеленую чашу, повели через кишащее бактериями варево. Механический ящер среди всего этого безмолвного ужаса чувствовал себя великолепно. Со слепых небес доносился голос Творца. Сад вибрировал от старого монотонного напева: «Стопу... к голени, голень... к колену, колено... к бедру, бедро...»

Дверь распахнулась.

Словно отряд младших бойскаутов ворвался в комнату — это вбежал Джо Кларенс. С таким видом, будто

в комнате никого, кроме него, нет, он дико огляделся вокруг.

— О господи! — завопил он.— Так у тебя, оказывается, еще не все готово? Это стоит мне денег!

— Не стоит ничего,— сухо сказал Тервиллиджер.— Мне заплатят те же деньги, сколько бы я времени ни потратил.

Шаг, остановка, шаг, остановка; так, дергаясь, Джо Кларенс к нему приблизился.

— В общем, поторапливайся. И сделай пострашней, чтоб дрожь пробирала.

Тервиллиджер стоял на коленях возле своих миниатюрных джунглей. Глаза его были вровень с глазами продюсера, и Тервиллиджер спросил:

— Сколько футов крови и предсмертных мук вы хотите?

— Две тысячи футов одного и столько же другого! — Кларенс рассмеялся прерывисто, будто всхлипывая.— Дайка я посмотрю.

Он схватил ящера.

— Осторожней!

— Осторожней? — Кларенс небрежно и равнодушно вертел страшилище в руках.— Разве чудовище не мое? В контракте...

— В контракте сказано, что вы используете эту куклу для рекламы фильма, но вернете мне, когда фильм будет выпущен.

— Черт-те что написали! — Кларенс махнул рукой, в которой держал чудовище.— Это неправильно. Всего четыре дня, как мы подписывали контракты, и...

— Кажется, будто прошло уже четыре года.— Тервиллиджер потер глаза.— Я две ночи не ложился, доделывал эту тварь, чтобы можно было скорее начать съемки.

Кларенс не снизошел до ответа.

— К черту такой контракт! Какая гнусность! Чудовище мое. От тебя и твоего агента у меня сердечные приступы. Приступы из-за денег, приступы из-за оборудования, приступы из-за...

— Эта кинокамера, которую вы мне дали, старая-престарая.

— Ну так чини ее, если она ломается, ведь руки у тебя есть? Пошевели мозгами — в том-то весь и фокус, чтобы

обойтись без денег. Возвращаясь к делу: эта тварь — и это должно было быть оговорено в условиях — моя, и только моя.

— Я никогда не отдаю свои изделия во владение другим,— отрезал Тервиллиджер.— Слишком много времени и чувства в них вложено.

— Ладно, черт побери, мы накидываем тебе за зверюгу еще пятьдесят долларов, и оставляем бесплатно, когда фильм будет готов, камеру и прочее оборудование. Договорились? Открывай тогда собственное дело. Конкурируй со мной, сведи со мной счеты при помощи моего же оборудования! — Кларенс рассмеялся.

— Если оно до этого не развалится,— сказал Тервиллиджер.

— И еще.— Кларенс поставил куклу на пол и обошел вокруг нее.— Мне это чудовище не нравится.

— Не нравится?! Чем? — взвыл Тервиллиджер.

— Физиономией. Больше огня нужно, больше... свирепости. Больше злости!

— Злости?

— Да, лютости! Пусть выпучит сильней глаза. Круче вырез ноздрей. Острее зубы. Язык вперед, оба конца. Ты сумеешь! Э-э... Так, значит, чудовище не мое, а?

— Нет, оно мое.

Тервиллиджер поднялся на ноги.

Теперь вровень с глазами Джо Кларенса была пряжка его ремня. Несколько мгновений продюсер смотрел на блестящую пряжку как загипнотизированный.

— Будь прокляты эти чертовы юристы! — Он бросился к двери.— Работай!

Чудовище ударилось в дверь через долю секунды после того, как она захлопнулась.

Рука Тервиллиджера на несколько мгновений застыла в воздухе. Потом плечи его осели. Он пошел к своему красавчику и его поднял. Открутил голову, содрал с нее латексовую плоть, положил череп на подставку и кропотливо начал лепить из глины заново доисторическую морду ящера.

— Побольше свирепости,— бормотал он сквозь зубы.— И злости.

Ленту с переделанным чудовищем просматривали через неделю.

Когда кончилось, Кларенс в темноте чуть заметно кивнул.

— Лучше. Но... пострашнее надо, чтобы кровь стыла в жилах. Чтобы тетя Джейн напугалась до смерти. Новый эскиз. И переделать заново!

— Я уже и так опаздываю на неделю,— запротестовал Тервиллиджер.— Вы всё приходите и требуете: меняй то, меняй это. И я меняю. Один день хвост никуда не годится, другой — когти...

— Уж ты-то сумеешь меня порадовать,— сказал Кларенс.— В бой, художник!

В конце месяца просмотрели новый вариант.

— Почти в точку! Чуть-чуть промазал! — сказал Кларенс.— Лицо почти такое, как нужно. Постарайся еще.

Тервиллиджер отправился к себе в мастерскую. Он принялся за эскиз и изобразил пасть динозавра так, как если бы она произносила непристойность, только понять эту непристойность мог тот, кто умеет читать по губам. Потом, взяв глину, Тервиллиджер принялся за работу и оторвался от страшной головы только в час ночи.

— Наконец то, что надо! — закричал Кларенс в просмотровом зале на следующей неделе.— Идеально! Вот это настоящее чудовище! — Он наклонился к старику, своему юристу, мистеру Глассу, и к Мори Пулу, своему помощнику: — Вам нравится мое чудище?

Он сиял.

Такой же длинный, как чудовища, которых он делал, сидевший, бессильно обмякнув и ссутулившись, в заднем ряду, Тервиллиджер хоть и не увидел, но почувствовал, как старый юрист пожал плечами.

— Да они все одинаковые.

— Да, да, но это все же какое-то особенное! — захлебывался Кларенс.— Даже я не могу не признать: Тервиллиджер гений!

Все повернулись и снова уставились на экран и стали смотреть, как исполинская тварь, словно вальсируя, широко размахнулась своим острым как бритва хвостом и сняла им зловещий урожай травы и оборванных цветов.

Потом остановилась и, обгладывая красную кость, устремила задумчивый взгляд в туман.

— Это чудовище...— сказал наконец, прищурившись, мистер Гласс.— Оно кого-то напоминает.

— Напоминает? — Тервиллиджер повернулся, весь внимание.

— У него такой вид,— протянул в темноте мистер Гласс,— точно, где-то я его встречал.

— Среди экспонатов Музея естествознания?

— Нет, не там.

— Может,— рассмеялся Кларенс,— ты осилил когда-то книгу, Гласс?

— Удивительно...— Гласс, ничуть не задетый, наклонил набок голову, закрыл один глаз.— Я, как сыщик, никогда не забываю лиц. Но этот Tyrannosaurus... Где же я его видел?

— Да не все ли равно? — Кларенс сорвался с места.— Он потрясающий! И все потому, что я, добиваясь результата, пинал Тервиллиджера ботинком в зад. Мори, пошли!

Когда дверь закрылась, мистер Гласс повернулся к Тервиллиджеру и на него посмотрел. Не отводя от Тервиллиджера взгляд, он окликнул негромко киномеханика:

— Уолт! Уолтер! Будь добр, покажи нам зверюгу снова!

— О чем разговор!

Тервиллиджер заерзал, чувствуя, что какая-то невидимая сила становится зримой в темноте и в резком свете, выстрелившем снова для того, чтобы от экрана в зал рикошетом отлетел ужас.

— Д-да. Точно,— размышлял вслух мистер Гласс.— Еще немного, и вспомню. Еще немного, и узнаю. Но... к т о?

Словно услыхав его голос, чудовище повернулось, и на какой-то исполненный презрения миг взгляд его, пройдя сквозь сто тысяч миллионов лет, остановился на двух человечках, прячущихся в темной комнатке. Машина жестокости прогрохотала свое имя.

Словно для того, чтобы расслышать, мистер Гласс подался вперед.

Все поглотила тьма.

...Месяца через два с половиной после начала работы над фильмом, когда картина была уже наполовину готова, Кларенс позвал кое-кого из своих служащих и нескольких друзей, всего человек тридцать, посмотреть черновой вариант фильма.

Фильм шел уже пятнадцать минут, когда по рядам небольшого зала пробежал приглушенный возглас удивления.

Обернувшись, Кларенс окинул всех молниеносным взглядом.

Мистер Гласс в соседнем кресле окаменел.

Сам не зная почему, Тервиллиджер с самого начала остался около выхода; он не понимал, откуда его тревога, но ничего не мог с собой поделать. Не снимая руки с ручки двери, он следил за тем, что происходит в публике.

Еще одно приглушенное восклицание пробежало по рядам.

Кто-то негромко рассмеялся. Хихикнула какая-то секретарша. Потом воцарилось молчание.

Ибо Джо Кларенс вскочил с места.

Его маленькая фигурка рассекла экран. Несколько мгновений в темноте жестикулировали два образа: тираннозавр, отрывающий ногу у птеранодона, и Кларенс, вопящий, бросающийся на экран, как будто он хотел схватиться с этими неправдоподобными тварями.

— Стой! Остановись на этом кадре!

Лента остановилась. Изображение застыло.

— Что случилось? — спросил мистер Гласс.

— Случилось? — Казалось, будто Кларенс хочет закрыть собой экран. Он вытянул свою детскую ручку, насколько мог, вверх, ткнул в грозную челюсть, в глаз, в клыки, в лоб, потом, ослепляемый светом проектора, повернулся к нему лицом, и его пышущие яростью щеки покрылись чешуей пресмыкающегося.— Что здесь происходит? Что это такое?

— Чудовище, шеф, кто же еще?

— Как же, чудовище! — Кларенс застучал по экрану кулачком.— Это я!

Половина присутствующих наклонились вперед, половина откинулись назад, двое вскочили на ноги, и один из

двоих, мистер Гласс, жмурясь и судорожно нащупывая в кармане вторую пару очков, простонал:

— Так вот где я его видел раньше!

— Что, что вы раньше?

Не разжимая век, мистер Гласс тряхнул головой:

— Это лицо... Я так и знал, что оно знакомое.

В зале подул ветер.

Все обернулись. Дверь была распахнута настежь.

Тервиллиджер исчез.

Они нашли Тервиллиджера в мастерской — он очищал рабочий стол, сбрасывая все в большую картонную коробку, и под мышкой у него была зажата кукла тиранно-завра. В комнату ворвалась небольшая толпа во главе с Кларенсом, и Тервиллиджер поднял голову и посмотрел на них.

— Чем я заслужил это? — взвизгнул Кларенс.

— Простите меня, мистер Кларенс.

— «Простите»! Разве я мало тебе платил?

— По правде говоря, мало.

— Водил тебя обедать...

— Один раз. Счет оплатил я.

— Приглашал тебя к себе ужинать, ты купался в моем бассейне, и за все это... Ты уволен!

— Я и так уволен, мистер Кларенс. Последнюю неделю я работал бесплатно и сверхурочно, вы забыли выписать мне чек...

— Все равно ты уволен, да, уволен по-настоящему! И никто в Голливуде тебя больше не возьмет. Мистер Гласс! — Кларенс повернулся на пятках, ища глазами старика.— Подайте на него в суд!

— Нечего,— сказал Тервиллиджер, и больше он уже не поднимал на них глаз, а смотрел вниз, на вещи, которые укладывал,— нечего вам у меня высуживать. Деньги? Того, что вы мне платили, и на жизнь-то едва хватало — куда уж там откладывать! Дом? Никогда не мог купить его. Жену? Всю жизнь я работаю на таких, как вы. Так что жены исключаются. Я человек ничем не обремененный. Мне вы ничего не сделаете. Наложите арест на моих динозавров — зароюсь в каком-нибудь захолустье, куплю латекса, наберу речной глины, металлических трубок и сделаю новых чудовищ. Накуплю пленки. У меня есть старая цейтраферная кинокамера. Отнимете ее — собствен-

ными руками сделаю новую. Я умею делать все. Поэтому я вас не боюсь.

— Ты уволен! — завизжал Кларенс.— Смотри на меня. Не отводи глаза в сторону. Ты уволен! Ты уволен!

— Мистер Кларенс,— сказал мистер Гласс, незаметно подвигаясь ближе.— Позвольте мне поговорить с ним минутку.

— Еще с ним говорить! — фыркнул Кларенс.— А какой толк? Вот, смотрите, стоит с чудовищем под мышкой, и проклятая тварь похожа на меня как две капли воды. Так пропустите меня!

Кларенс пулей вылетел в коридор. За ним последовала свита.

Мистер Гласс затворил дверь, подошел к окну и посмотрел на чистое, но уже темнеющее небо.

— Хоть бы дождь пошел,— сказал он.— Вот с чем я никак не могу примириться в Калифорнии. Хоть бы прослезилась, поплакала. Вот прямо сейчас чего бы я не дал за что-нибудь, хотя бы самое пустячное, с этого неба? Ну, за вспышку молнии, на худой конец.

Он замолчал, продолжая стоять, а Тервиллиджер стал укладывать вещи медленней. Мистер Гласс опустился в кресло и, водя карандашом в блокноте, заговорил печально, вполголоса, как бы обращаясь к самому себе:

— Шесть частей фильма, совсем неплохие шесть частей, готовая половина картины,— трехсот тысяч долларов как не бывало, здравствуй и прощай. Все, кто был занят в фильме, теперь на улице. Кто накормит голодные рты, накормит мальчиков и девочек? Кто объяснит все акционерам? Кто улестит «Американский банк»? Есть желающие сыграть в русскую рулетку?

Он повернулся и стал смотреть, как Тервиллиджер защелкивает замки портфеля.

— Что содеял Господь?

Внимательно разглядывая свои руки, поворачивая их, словно хотел увидеть, из чего они сделаны, Тервиллиджер сказал:

— Я не знал, что у меня так получилось, клянусь. Както само собой, через пальцы. Бессознательно от начала до конца. Мои пальцы сами все делают. Сделали и на этот раз.

— Лучше бы эти пальцы явились ко мне в кабинет и

взяли меня за горло,— сказал Гласс.— Ничего замедленного я никогда не любил. Жизнь, да и смерть тоже, я всегда представлял себе как игральный автомат «Пенсильванская полиция», когда полицейские там мчатся на третьей скорости. Это подумать только — на нас наступило резиновое чудовище! Мы теперь как зрелые томаты: дави — и запаивай сок в банки!

— Перестаньте, я и так уже чувствую себя виноватым дальше некуда,— сказал Тервилледжер.

— А чего вы хотите? Чтобы я пригласил вас с собой на танцы?

— Вообще получилось справедливо! — вырвалось у Тервилледжера.— Ведь он меня не оставлял в покое. Сделай так. Сделай эдак. Выверни наизнанку, говорил он, переверни вверх тормашками. Я проглатывал желчь. Я все время злился. Сам того не замечая, я, видно, изменил лицо чудовища. Но понял я это только пять минут назад, когда поднял крик мистер Кларенс. Во всем виноват один я.

— Нет,— вздохнул мистер Гласс,— странно, как этого не видели мы все. А может, и видели, но не хотели в этом себе признаться. Может, видели и смеялись во сне всю ночь напролет, тогда, когда нам самих себя не слышно. Ну и где мы оказались? Если говорить о мистере Кларенсе, то он вложил деньги, а ими не бросаются. Вам надо подумать о своей будущей карьере — хорошо ли она сложится, плохо ли, но этим тоже не бросаются. Сейчас, в эту самую секунду, мистер Кларенс жаждет одного: поверить, что все это лишь страшный сон и ничего более. Часть этой жажды, девяносто девять ее процентов, находится в его бумажнике. И если вы сможете в ближайший час потратить всего один процент своего времени и убедить его в том, о чем я вам сейчас скажу, на нас не будут завтра утром смотреть из объявлений «Ищу работу» в «Варьете» и «Голливудском репортере» умоляющие глаза сирот. Если бы вы пошли и сказали ему...

— Сказали мне что?

Джо Кларенс, вернувшийся, стоял в дверях, и щеки его по-прежнему пылали.

— Да то, что он только что сказал мне,— спокойно повернулся к нему мистер Гласс.— Очень трогательная история.

— Я слушаю!

— Мистер Кларенс.— Старый юрист тщательно взвешивал каждое свое слово.— Фильмом, который вы только что видели, мистер Тервиллиджер выразил уважение и восхищение, которые вы в нем вызываете.

— Выразил что?! — крикнул Кларенс.

У обоих — и у Кларенса и у Тервиллиджера — отвисла челюсть.

Устремив взгляд в стену и, если судить по голосу, робея, старый юрист спросил:

— Я... могу продолжать?

Рот Тервиллиджера закрылся:

— Если хотите.

— Этот фильм,— юрист встал и взмахом руки показал в сторону просмотрового зала,— родился из чувства глубокого уважения и дружбы к вам, Джо Кларенс. За своим письменным столом, не воспетый герой кинопромышленности, невидимый, никому не известный, вы влачите свою одинокую маленькую жизнь, а кому достается слава? Звездам. Часто ли бывает, что где-нибудь в Атаванде Спрингс, штат Айдахо, человек говорит жене: «Знаешь, вчера вечером я думал о Джо Кларенсе — замечательный все-таки он продюсер!»? Скажите, часто? Хотите, чтобы я сам сказал? Да никогда вообще! И Тервиллиджер стал думать: как представить миру н а с т о я щ е г о Кларенса? Он посмотрел на динозавра, и — бах! — Тервиллиджера озарило! «Да вот же оно, то, что надо,— подумал он.— У мира поджилки затрясутся от ужаса. Вот одинокий, гордый, удивительный, страшный символ независимости, могущества, силы, животной сообразительности, истинный демократ, индивидуальность на вершине своего развития — сверкает молния, гремит гром. Динозавр — Джо Кларенс. Джо Кларенс — динозавр. Человек, воплотившийся в Ящера-Тирана!»

Дыша тихо, но прерывисто, мистер Гласс сел.

Тервиллиджер хранил молчание.

Наконец Кларенс пришел в движение, пересек мастерскую, медленно обошел вокруг Гласса, потом, бледный, остановился перед Тервиллиджером. По высокой, худой как скелет фигуре взгляд его прополз вверх, и глаза говорили о неловкости, которую он испытывает.

— Ты так сказал? — спросил он чуть слышно.

Казалось, что Тервиллиджер пытается проглотить что-то.

— Сказал мне. Он страшно застенчивый,— бойко заговорил мистер Гласс.— Слышали вы когда-нибудь, чтобы он много говорил, хоть когда-нибудь огрызался, ругался? Или что-нибудь подобное? Что он очень любит людей, он не утверждает. Но увековечить? Это пожалуйста!

— Увековечить? — переспросил Кларенс.

— А что еще? — сказал старик.— Увековечить как памятник, только движущийся. Пройдет много лет, а люди будут говорить: «Помните тот фильм, «Чудовище из плейстоцена»?» И другие ответят: «Ну конечно! А что?» — «А то,— скажут первые,— что только это чудовище, только этот зверь, один за всю историю Голливуда, был по-настоящему крепок духом, по-настоящему мужествен. Почему? Да потому, что у одного гения хватило гениальности взять прообразом этой твари подлинного, хваткого, умного бизнесмена самого крупного калибра». Вы войдете в историю, мистер Кларенс. Будете широко представлены во всех фильмотеках. Киноклубы будут заказывать вас без конца. Чей успех мог бы сравниться с вашим? Иммануэлю Глассу, юристу, такого не дождаться. Каждый день в ближайшие двести — пятьсот лет где-то на Земле будет идти фильм, в котором главная роль ваша!

— Каждый день? — тихо переспросил Кларенс.— В ближайшие...

— Может, даже восемьсот, почему бы и нет?

— Я никогда об этом не думал.

— Так подумайте!

Кларенс подошел к окну и устремил взгляд на холмы Голливуда; наконец он кивнул.

— Боже, Тервиллиджер,— сказал он.— Я и в самом деле так вам нравлюсь?

— Трудно выразить словами,— ответил, запинаясь, тот.

— Ну так доведем мы или нет потрясающее зрелище до конца? — спросил Гласс.— То, где в главной роли, шагая по земле и повергая всех в дрожь, выступает Его Величество Ужас — не кто иной, как сам мистер Джозеф Дж. Кларенс!

— Да. Конечно.— Кларенс побрел, ошеломленный, к

двери, около нее заговорил снова: — Знаете что? Я всегда хотел быть актером!

Он шагнул в коридор и неслышно закрыл за собою дверь.

Тервиллиджер и Гласс стукнулись друг о друга, когда, кинувшись к письменному столу, вцепились жадными пальцами в один и тот же ящик.

— Уступи дорогу старшему,— сказал юрист и сам извлек из стола бутылку виски.

В полночь, после того как кончился закрытый просмотр «Чудовища из каменного века», мистер Гласс вернулся в студию, где все должны были собраться, чтобы отпраздновать выпуск фильма, и обнаружил Тервиллиджера в его мастерской — он сидел один, и динозавр лежал у него на коленях.

— Вас там не было? — изумился мистер Гласс.

— Я не решился. Скандал был грандиозный?

— Скандал?! В восторге все до единого! Чудовища прелестней не видел никто и никогда! Уже говорилось о новых сериях. Джо Кларенс — Ящер-Тиран в «Возвращении чудовища каменного века», Джо Кларенс — тираннозавр в... ну, скажем, «Звере давно минувших веков», и...

Зазвонил телефон. Тервиллиджер взял трубку.

— Тервиллиджер, это Кларенс! Буду через пять минут! Замечательно! Твой зверюга великолепен! Потрясающий! Теперь он мой? То есть к черту контракты, просто как любезность с твоей стороны, могу я получить его и поставить к себе на камин?

— Мистер Кларенс, чудовище ваше.

— Лучше «Оскара»! Пока!

Тервиллиджер смотрел на умерший телефон.

— Слава тебе, Господи! Он смеется, он в истерике от радости.

— Возможно, я знаю почему,— сказал мистер Гласс.— После просмотра у него попросила автограф девочка.

— Автограф?

— Сразу как он вышел, прямо на улице. Заставила его подписать свое имя. Первый автограф в его жизни. Он смеялся, когда писал. Его узнали! Вот он, перед кинотеат-

ром, Rex собственной персоной, в натуральную величину, так пусть подписывается! Он и подписался.

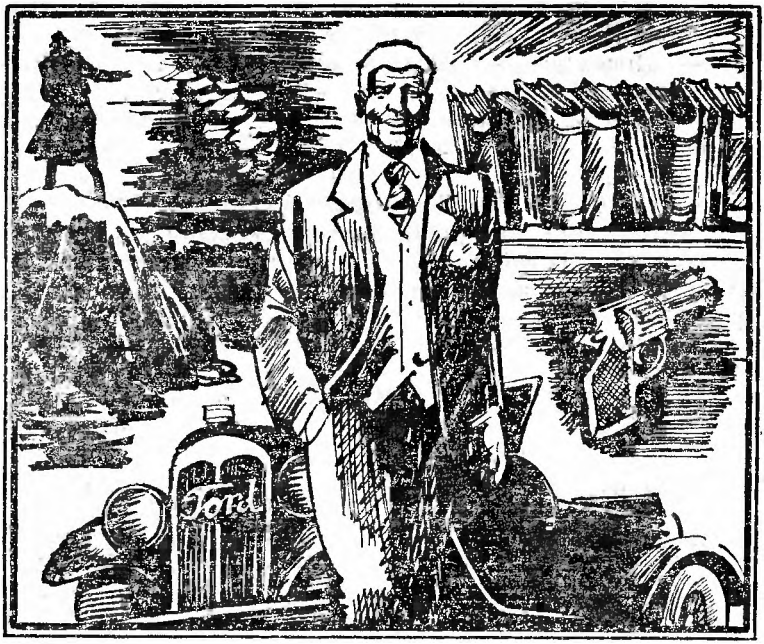
— Подождите,— медленно проговорил Тервиллиджер, наливая виски себе и Глассу.— Эта девочка...

— Моя младшая дочь,— сказал Гласс.— Так что кто узнает? И кто расскажет?

Они выпили.

— Не я,— сказал Тервиллиджер.

Потом, взяв каждый за переднюю лапу динозавра и прихватив с собой виски, они вышли к воротам студии ждать, когда появятся лимузины — сплошные огни, гудки и радостные вести.



УДИВИТЕЛЬНАЯ КОНЧИНА ДАДЛИ СТОУНА

— Жив!

— Умер!

— Живет в Новой Англии, черт возьми!

— Умер двадцать лет назад!

— Пустите шапку по кругу, и я сам доставлю вам его голову!

Вот такой разговор произошел однажды вечером. Завел его какой-то незнакомец, с важным видом изрек, будто Дадли Стоун умер. «Жив!» — воскликнули мы. И уж нам ли этого не знать? Не мы ли последние могикане, последние из тех, кто в двадцатые годы курил ему фимиам и читал его книги при свете пламенеющего, исполнившего обеты разума?

Тот самый Дадли Стоун. Блистательный стилист, самый величественный из всех литературных львов. Вы

помните, конечно, как вас ошеломило, сбило с ног, как затрубили трубы судьбы, когда он написал своим издателям вот эту записку:

«Господа, сегодня, в возрасте тридцати лет, я покидаю свое поприще, расстаюсь с пером, сжигаю все, что создал, выбрасываю на свалку свою последнюю рукопись. На том привет и прости-прощай.

Искренне ваш Дадли Стоун».

Гром среди ясного неба.

Шли годы, а мы при каждой встрече опять и опять спрашивали друг друга: почему?

Совсем как в рекламной радиопередаче, мы обсуждали на все лады, что же заставило его махнуть рукой на писательские лавры. Женщины? Или вино? А может, другие рысаки обскакали его и вынудили прекрасного иноходца сойти с круга в самом расцвете сил?

Мы уверяли всех и каждого, что продолжай Стоун писать — перед ним померкли бы и Фолкнер, и Хемингуэй, и Стейнбек. Тем печальнее, что на подступах к величайшему своему творению он вдруг все забросил и поселился в городе, который мы назовем Безвестность, на берегу моря, самое верное название которому — Былое.

Почему?

Это так и осталось загадкой для всех нас, кто различал проблески гения в пестрых страницах, вышедших из-под его пера.

И вот однажды вечером, несколько недель назад, поглядев друг на друга, мы задумались над безжалостной работой времени, над тем, что лица у всех у нас все больше обмякают и все заметней редеют волосы, и тут нас взяла досада, что нынешняя публика ровным счетом ничего не знает о Дадли Стоуне.

— Томас Вулф,— ворчали мы,— прежде чем ухнуть в пучину вечности, по крайней мере, вовсю насладился успехом. И по крайней мере, критики толпой глядели ему вслед, точно огненному метеору, прорезавшему тьму. А кто нынче помнит Дадли Стоуна, кто помнит кружки, что собирались вокруг него в двадцатые годы, неистовство его последователей?

— Шапку по кругу,— сказал я.— Я скатаю за триста миль, ухвачу Дадли Стоуна за шиворот и скажу ему: «Послушайте, мистер Стоун, что ж это вы нас так подвели? Почему за двадцать пять лет не удосужились написать ни одной книги?»

В шапку накидали звонкой монеты, я отправил телеграмму и сел в поезд.

Сам не знаю, чего я ожидал. Быть может, что на станции меня встретит высохшая мумия, бледная тень, дряхлый старец на неверных ногах, с еле слышным голосом, будто шелест осенних трав на ночном ветру. И когда поезд, пыхтя, подкатил к платформе, я внутренне сжался от тоскливого предчувствия. Сумасбродный простофиля, я сошел на безлюдной захолустной станции, в миле от моря, не понимая, чего ради меня сюда занесло.

Доска у железнодорожной кассы заросла толстым слоем всевозможных объявлений — их, видно, из года в год наклеивали или набивали одно на другое. Сняв несколько геологических пластов печатного текста, я наконец нашел то, что мне было нужно. Дадли Стоун — кандидат в члены Совета округа, в шерифы, в мэры! Его фотографии, выцветшие от солнца и дождя бюллетени, на которых он был почти неузнаваем, сообщили о том, что он год от году добивался в этом приморском краю все более ответственных постов. Я стоял и читал.

— Привет! — донеслось до меня откуда-то сзади.— Это вы и есть мистер Дуглас?

Я круто обернулся. Прямо на меня по платформе мчался человек великолепного сложения, крупный, но ничуть не толстый, ноги его работали, как могучие рычаги, в лацкане пиджака — яркий цветок, на шее — яркий галстук. Он стиснул мою руку и поглядел на меня с высоты своего роста, точно микеланджеловский Создатель, своим властным прикосновением сотворивший Адама. Лицо его было точно лики южных и северных ветров, что грозят зноем и холодом на старинных мореходных картах. Такое пышущее жаром жизни лицо — символ солнца — встречаешь в египетской каменной резьбе.

«Надо же,— подумал я,— и этот человек за двадцать с лишним лет не написал ни строчки? Не может быть! Он такой живой, прямо до неприличия. Я, кажется, слышу, как мерно бьется его сердце».

Должно быть, я преглупо вытаращил глаза, ошарашенный этим зрелищем.

— Признайтесь,— со смехом сказал он,— вы ожидали встретить привидение?

— Я...

— Жена накормит вас тушеным мясом с овощами, и у нас вдосталь эля и крепкого портера. Люблю звучанье этих слов. Приятно слышать такие слова. От слов этих веет здоровьем, румянцем во всю щеку. Крепкий портер!

На животе у него подскакивали массивные золотые часы на сверкающей цепочке. Он сжал мой локоть и потащил меня за собой — чародей, влекущий в свои владения незадачливого простофилю.

— Рад познакомиться. Вы, наверно, приехали, чтобы задать мне все тот же вопрос, а? Что ж, не вы первый. Ну, на этот раз я все выложу!

Сердце мое так и подпрыгнуло.

— Замечательно!

За безлюдной станцией ждал открытый «форд» выпуска 1927 года.

— Свежий воздух. Когда едешь вот так в сумерках, все поля, травы, цветы — все вливается в тебя вместе с ветром. Надеюсь, вы не из тех, кто только и делает, что закрывает окна! Наш дом — как вершина столовой горы. Комнаты у нас подметает ветер. Залезайте.

Десять минут спустя мы свернули с большака на дорогу, которую уже многие годы не выравнивали и не утрамбовывали. Стоун вел машину прямо по выбоинам и ухабам, с лица его не сходила улыбка. Бац! Последние несколько ярдов нас трясло вовсю, но вот наконец мы подкатили к запущенному, некрашеному двухэтажному дому. «Форд» тяжко вздохнул и затих.

— Хотите знать правду? — Стоун обернулся, крепко ухватил меня за плечо, заглянул в глаза.— Ровно двадцать пять лет назад один человек пристрелил меня из револьвера.

И он выскочил из машины. Я оторопело уставился на него. Он был как каменная глыба, отнюдь не привидение, и, однако, я понял: в словах, что он бросил мне, перед тем как устремиться к дому, есть какая-то правда.

...— Это моя жена, это наш дом, а вот и ужин! Взгляните, каков вид! Окна гостиной выходят на три стороны — на море, на берег и на луга. Мы их никогда не закрываем, только зимой. Среди лета к нам сюда доносится запах цветущей липы, вот честное слово, а в декабре веет Антарктикой — нашатырным спиртом и мороженым. Садитесь! Лена, ведь правда приятно, что он приехал?

— Надеюсь, вы любите тушеное мясо с овощами,— сказала Лена.

Рослая, крепко сбитая, она ловко управлялась с добротной, массивной посудой, которую не разбил бы кулаком и великан, и озаряла стол ярче всякой лампы; лицо ее, точно ясное солнышко, так и светилось доброжелательством. Ножи в этом доме были под стать львиным зубам. Над столом поднялось облако аппетитнейшего пара и повлекло нас, ликующих чревоугодников, прямиком в ад. Тарелка моя наполнялась трижды, и раз от разу я чувствовал, что сыт, сыт по горло и, наконец, по самые уши. Дадли Стоун налил мне хмельного питья, которое, по его словам, сам сварил из моливших о пощаде черных гроздьев дикого винограда. А потом он взял бутылку, в которой не осталось уже ни капли, и, дуя в зеленое стеклянное горлышко, быстро извлек из нее нехитрую мелодийку.

— Ну ладно, довольно я вас томил,— сказал он, вглядываясь в меня из той дали, которая разъединяет людей еще больше, когда они выпьют, но в иные минуты кажется им самой близостью.— Я расскажу вам, как меня убили. Поверьте, я еще никому этого не рассказывал. Вам знакомо имя Джона Оутиса Кенделла?

— Второсортный писатель, который подвизался в двадцатые годы? — сказал я.— У него было несколько книг. Выдохся к тридцать первому году. Умер на прошлой неделе.

— Мир праху его.— На мгновенье, как и подобает, мистер Стоун примолк и опечалился, но едва заговорил — печаль как рукой сняло.

— Да. Джон Оутис Кенделл. Выдохся в тысяча девятьсот тридцать первом году. Писатель, который многое обещал.

— Меньше, чем вы,— поспешно вставил я.

— Ну-ну, не торопитесь. Мы вместе росли, Джон и я, родились в соседних домах, тень одного и того же дуба

падала на мой дом утром, а на его — вечером. Вместе переплывали каждую встречную речушку, обоим нам приходилось худо от зеленых яблок и от первых сигарет, обоим завиделся волшебный свет в белокурых волосах одной и той же девушки, и нам еще не исполнилось двадцати, когда оба мы отправились искать счастья, брать судьбу за бока и набивать себе синяки и шишки. Поначалу у обоих получалось неплохо, но с годами я стал его обходить, и он все больше отставал. Если на его первую книгу был один хороший отзыв, то на мою их было шесть, если на меня была одна плохая рецензия, на него десяток. Мы были точно два друга в одном поезде, а потом публика расцепила вагоны. Джон Оутис остался позади, в тормозном вагоне, и кричал мне вслед: «Спаси меня! Ты оставляешь меня в Тэнктауне, штат Огайо, а ведь у нас один путь».

А кондуктор объяснял: «Путь-то один, да поезда разные!»

И я кричал: «Я верю в тебя, Джон! Не падай духом, я за тобой вернусь!»

И тормозной вагон все больше отставал, его было уже не разглядеть, только красный и зеленый фонари, точно вишневый и лимонный леденцы, еще светились во тьме, и мы всю душу вкладывали в прощальные крики: «Джон, старина!», «Далли, дружище!» — и Джон Оутис очутился в полночь на неосвещенной боковой ветке, позади пакгауза, а мой паровоз на всех парах с шумом и грохотом мчался к рассвету.

Дадли Стоун замолчал и тут заметил полнейшее мое недоумение.

— Я не зря все это рассказываю,— сказал он.— Этот самый Джон Оутис в тысяча девятьсот тридцатом году продал кой-какую старую одежду и оставшиеся экземпляры своих книг, купил револьвер и явился в этот самый дом, в эту самую комнату.

— Он замышлял вас убить?

— Черта с два замышлял. Он меня убил! Бах! Хотите еще вина? Так-то оно лучше.

Миссис Стоун подала слоеный торт с клубникой, а Дадли Стоун наслаждался моим лихорадочным нетерпением. Он разрезал торт на три огромные доли и, раскладывая их по тарелкам, глядел на меня, словно кот на сметану.

— Вот тут, на вашем стуле, сидел Джон Оутис. Во

дворе у нас в коптильне — семнадцать окороков, в винном погребе — пятьсот бутылок превосходнейшего вина, за окном — простор, дивное море во всей красе, в небе — луна, точно блюдо прохладных сливок, весна в разгаре, за столом напротив — Лена, гибкая ива под ветром, смеется всему, что я скажу и о чем промолчу, и, не забудьте, обоим нам по тридцать всего-навсего, жизнь наша — чудесная карусель, все нам улыбается, книги мои продаются хорошо, письма восторженных читателей захлестывают меня пенным потоком, в конюшнях ждут лошади, и можно скакать при луне к морским бухтам и слушать в ночи, как шепчет море или мы сами — все, что нам заблагорассудится. А Джон Оутис сидит на том месте, где вы сейчас, и медленно вытаскивает из кармана вороненый револьвер.

— Я засмеялась, думала, что такая зажигалка,— вставила миссис Стоун.

— И вдруг Джон Оутис говорит: «Сейчас я убью вас, мистер Стоун», и я понял, что он не шутит.

— Что же вы сделали?

— Сделал? Я был оглушен, раздавлен. Я услышал, как захлопнулась надо мной крышка гроба! Услышал, как с грохотом, точно уголь в подвал, сыплется земля на мое последнее жилище. Говорят, в такие минуты перед тобой проносится вся жизнь, все твое прошлое. Чепуха. Ты видишь будущее. Видишь, как лицо твое превращается в кровавое месиво. Сидишь и собираешься с силами и наконец еле-еле выдавишь из себя: «Да ты что, Джон, что я тебе сделал?» — «Что ты мне сделал?» — заорал он. И окинул взглядом длинную полку и молодецкий отряд выстроившихся на ней книг — на каждом корешке, на черном сафьяне, точно пантерий глаз, сверкало мое имя. «Что сделал?» — ужасным голосом выкрикнул он. И рука его, дрожа от нетерпения, стиснула рукоятку. «Осторожней, Джон,— сказал я.— Что тебе надо?» — «Только одно,— сказал он.— Убить тебя и прославиться. Пускай обо мне кричат газеты. Пускай и у меня будет слава. Пускай знают, пока я жив и даже когда умру: я тот, кто убил Дадли Стоуна».— «Ты не сделаешь этого!» — «Нет, сделаю. Я буду знаменит. Куда знаменитей, чем теперь, когда ты меня затмил. Ого, ты еще не знаешь, никто, никто на свете не умеет так ненавидеть, как писатель. Господи, как

я люблю твои книги! Господи, как я ненавижу тебя за то, что ты так великолепно пишешь! Поразительное раздвоение. Но больше мне невтерпеж. Писать, как ты, мне не под силу, но я найду другой путь к славе, полегче. Я покончу с тобой, пока ты не достиг расцвета. Говорят, следующая твоя книга будет лучше всех, будет самой блистательной!» — «Это преувеличение».— «А я думаю, это чистая правда»,— сказал он.

Я перевел взгляд на Лену — она сидела испуганная, но не настолько, чтобы закричать или вскочить и смешать все карты.

«Спокойно,— сказал я.— Спокойствие. Повремени, Джон. Дай мне всего одну минуту. Потом спустишь курок».— «Нет»,— прошептала Лена.

«Спокойствие»,— сказал я — ей, себе, Джону Оутису.

Я поглядел в открытые окна, ощутил дыхание ветра, вспомнил вино в погребе, прибрежные бухты, море, лунный диск, от которого, точно мятой, веют прохладой летние небеса и вспыхивают пламенеющие облака соленых испарений, и звезды влекутся за ним по кругу, к рассвету. Подумал о том, что мне только тридцать, и Лене тоже, и у нас вся жизнь впереди. Подумал о прелести бытия, которая, точно спелый плод, только и ждет, чтобы я ею насладился. Я никогда еще не взбирался на горы, не пересекал океан, не баллотировался в мэры, не нырял за жемчугом, у меня никогда еще не было телескопа, я ни разу не играл на сцене, не строил дома, не прочел всех классиков, которых мне хотелось бы прочесть. Столько еще предстояло сделать!

В эти молниеносные шестьдесят секунд я подумал наконец и о своей карьере. Обо всех уже написанных книгах, о тех, которые еще писал, и о тех, что собирался написать. О рецензиях, о больших тиражах, о нашем внушительном счете в банке. И, хотите верьте, хотите нет, впервые в жизни почувствовал себя свободным от всего этого. В один миг я обратился в критика. Я взвесил все. На одной чаше весов — корабли, на которых не плавал, цветы, которых не сажал, дети, которых не растил, горы, которых не видел, и над всем моя Лена — богиня всего этого изобилия. Посредине — опора весов, Джон Оутис Кенделл с его револьвером. А на второй, пустой чаше — мое перо, чернила, чистая бумага, десяток моих книг. Я подбавил туда и сюда

еще кое-какой мелочи. Шестьдесят секунд истекли. Вечерний ветерок залетел в растворенные окна. Коснулся завитка волос на шее Лены — о, как нежно коснулся, как нежно...

Револьвер был наставлен на меня в упор. Мне случалось видеть снимки лунных кратеров и провал в пространстве, который называется Большим Угольным Мешком, но, поверьте, дуло пистолета, нацеленного на меня, разверзлось куда шире.

«Джон,— сказал я наконец,— неужто ты так меня ненавидишь? И все из-за того, что мне повезло, а тебе нет?» — «Да, черт возьми!» — крикнул он.

Как нелепо, что он мне завидовал! Уж не настолько лучше я писал. Легкое движение руки — и все переменится.

«Джон,— сказал я спокойно,— если тебе надо, чтобы я умер, я умру. Ты, наверно, хочешь, чтобы я больше не написал ни строчки?» — «Еще как хочу! — крикнул он.— Приготовься!» И прицелился мне в сердце! «Ладно,— сказал я,— больше я писать не стану».— «Что?» — «Мы с тобой старые друзья, мы никогда не лгали друг другу, верно? Так вот тебе мое слово: никогда больше мое перо не коснется бумаги».— «О господи!» — Он презрительно и недоверчиво засмеялся. «Вон там,— я кивнул в сторону письменного стола,— лежат единственные экземпляры двух моих рукописей, я работал над ними последние три года. Одну я сожгу прямо сейчас, у тебя на глазах. А другую можешь сам бросить в море. Обыщи весь дом, возьми всю исписанную бумагу до последнего листочка, сожги мои опубликованные книги тоже. Пожалуйста». Я поднялся. В эту минуту он мог бы меня пристрелить, но мои слова заворожили его. Я швырнул одну рукопись в камин и чиркнул спичкой. «Нет!» — вырвалось у Лены. Я обернулся. «Я знаю, что делаю»,— сказал я.

Она заплакала. Джон Оутис Кенделл смотрел на меня во все глаза, точно околдованный.

Я принес ему вторую, еще не опубликованную рукопись.

«Пожалуйста»,— сказал я и подсунул рукопись ему под ногу, как под пресс-папье. Потом отошел и сел на свое место.

Дул ветерок, вечер был теплый, и сидящая напротив меня Лена была белей яблоневого цвета.

«Отныне я не напишу ни строчки»,— сказал я.

К Джону Оутису наконец вернулся дар слова: «Как же ты можешь?» — «Зато все будут счастливы,— сказал я.— Я хочу, чтобы ты был счастлив, ведь в конце концов мы снова станем друзьями. И Лена будет счастлива — ведь я опять буду просто ее мужем, а не дрессированным моржом, который пляшет под дудочку своего литературного агента. И сам я тоже буду счастлив — ведь лучше быть живым человеком, чем мертвым писателем. Когда тебе грозит смерть, чего только не сделаешь! Ну а теперь бери мою последнюю рукопись и ступай отсюда».

Мы сидели здесь втроем, вот как с вами сейчас. Пахло лимоном, липой, камелией. Внизу бился о камни и ревел океан. Чудесная музыка, пронизанная лунным светом. И наконец Джон Оутис подобрал рукопись и понес вон из комнаты, точно мое бездыханное тело. На пороге он приостановился и сказал: «Я тебе верю». И вышел. Я услыхал, как отъехала его машина. Тогда я уложил Лену в постель. Не часто мне случалось на ночь глядя ходить одному по берегу моря, но сейчас я пошел. Я дышал полной грудью, ощупывал свои руки, ноги, лицо и плакал, как малый ребенок; я вошел в воду и с наслаждением ощущал, как холодный соленый прибой пенится у моих ног и обдает меня миллионами брызг.

Дадли Стоун примолк. Время в комнате остановилось. Мы все трое, точно по волшебству, перенеслись в прошлое, в тот год, когда совершилось убийство.

— И он уничтожил ваш последний роман? — спросил я.

Дадли Стоун кивнул.

— Неделю спустя на берег вынесло одну страницу. Он, наверно, швырнул их со скалы, всю тысячу страниц. Я так ясно представляю: точно стая белых чаек опустилась на воду, и в глухой предрассветный час ее унесло отливом. Лена бежала по берегу с той единственной страницей в руках и кричала: «Смотри, смотри!» И когда я увидел, что она мне дает, я швырнул листок назад, в океан.

— Неужто вы сдержали слово?

Дадли Стоун посмотрел на меня в упор:

— А вы бы как поступили на моем месте? В сущности, Джон Оутис оказал мне милость. Он не убил меня. Не

застрелил. Выслушал. И поверил мне на слово. Оставил меня в живых. Дал мне возможность и дальше есть, спать, дышать. Он в один миг раздвинул мои горизонты. И я был так ему благодарен, что стоял в ту ночь чуть не по пояс в воде и плакал. Да, был благодарен. Понимаете ли вы, что это значит? Благодарен, что он оставил меня в живых, когда одним движением руки мог меня уничтожить.

Миссис Стоун поднялась, ужин был окончен. Она собрала посуду, мы закурили сигары, и Дадли Стоун провел меня в свой кабинет, к столу, на котором громоздились пакеты, кипы газет, бутылки чернил, пишущая машинка, всевозможные документы, гроссбухи, алфавитные указатели.

— Все это уже накипало во мне. Джон Оутис просто снял сверху пену, и я увидел само варево. Все стало ясно — ясней некуда. Писательство было для меня той же горчицей, я писал и черкал с тяжелым сердцем и растравлял себе душу. И уныло смотрел, как алчные критики разделывали меня, разбирали на части, нарезывали ломтями, точно колбасу, и за полночь закусывали мной. Грязная работа, хуже некуда. Я и сам был уже готов махнуть на все рукой. Совсем доспел. И тут — бац! — явился Джон Оутис. Взгляните.

Он порылся на столе и вытащил пачку рекламных листков и предвыборных плакатов.

— Прежде я только писал о жизни. А тут захотел жить. Захотел что-то сделать сам, а не писать о том, что делают другие. Решил возглавить местный отдел народного образования — и возглавил. Решил стать членом окружного управления — и стал. Решил стать мэром. И стал. Был шерифом! Был городским библиотекарем! Заправлял городской канализацией. Я был в гуще жизни. Сколько рук пожал, сколько дел переделал! Мы испробовали всё на свете и на вкус, и на ощупь. Чего только не нагляделись, не наслушались, к чему только не приложили рук! Лазили по горам, писали картины — вон кое-что висит на стене! Мы трижды объехали вокруг света. У нас даже вдруг родился сын. Он уже взрослый, женат, живет в Нью-Йорке. Мы жили, действовали.— Стоун помолчал, улыбнулся.— Пойдемте во двор. У нас там телескоп, хотите посмотреть на кольца Сатурна?

Мы стояли во дворе, и нас овевало ветром, облетевшим

всю ширь океана, и, пока мы смотрели в телескоп на звезды, миссис Стоун спустилась в кромешную тьму погреба за редкостным испанским вином.

На следующий день автомобиль промчался по неровной, тряской дороге от побережья через луга и в полдень доставил нас на безлюдную станцию. Мистер Дадли Стоун почти не уделял внимания своей машине, он что-то рассказывал, улыбался, смеялся, показывая мне то камень времен неолита, то какой-нибудь полевой цветок, и умолк, лишь когда мы подъехали к станции и остановились в ожидании поезда, который должен был меня увезти.

— Вы, наверно, считаете меня сумасшедшим,— сказал он, глядя в небо.

— Ничуть не бывало.

— Так вот,— сказал Дадли Стоун,— Джон Оутис Кенделл оказал мне еще одну милость.

— Какую же?

Стоун поудобнее расположился на кожаном, в заплатах, сиденье.

— Он помог мне выйти из игры, прежде чем я выдохся. Где-то в глубине души я, должно быть, чуял, что моя литературная слава сильно раздута и может лопнуть, как воздушный шар. В подсознании мне ясно рисовалось будущее. Я знал то, чего не знал ни один критик,— что иду уже не к вершине, а под гору. Обе книги, которые уничтожил Джон Оутис, никуда не годились. Они убили бы меня наповал еще вернее, чем Оутис. Он невольно помог мне решиться на то, на что иначе у меня, пожалуй, не хватило бы мужества: изящно откланяться, пока котильон еще не кончился и китайские фонарики еще бросали лестный розовый свет на мой здоровый румянец. Я видел слишком много писателей, видел их взлеты и падения, видел, как они сходили с круга уязвленные, жалкие, отчаявшиеся. Но конечно, все это стечение обстоятельств, совпадение, подсознательная уверенность в своей правоте, облегчение и благодарность Джону Оутису Кенделлу за то, что я просто-напросто жив,— все это была по меньшей мере счастливая случайность.

Мы еще немного посидели под ласковым солнцем.

— А потом я объявил о своем уходе со сцены и имел

удовольствие видеть, как меня ставят в один ряд с великими. За последнее время очень мало кто из писателей удостоился столь пышных проводов. Преотличные вышли похороны! Я был, что называется, совсем как живой. И эхо еще долго не смолкало. «Если бы он написал еще одну книгу! — вопили критики.— Вот это была бы книга! Шедевр!» Они задыхались от волнения, ждали. Ничегошеньки они не понимали. Еще и теперь, четверть века спустя, мои читатели, которые в ту пору были студентами, отправляются на допотопных паровичках, дышат нефтяной вонью и перемазываются в саже, лишь бы разгадать тайну: отчего я так долго заставляю ждать этого самого «шедевра»? И — спасибо Джону Оутису Кенделлу — у меня все еще есть кое-какое имя. Оно тускнеет медленно, безболезненно. На следующий год я сам бы убил себя собственным пером. Куда как лучше отцепить свой тормозной вагон самому, не дожидаясь, когда это сделают за тебя другие.

А Джон Оутис Кенделл? Мы снова стали друзьями. Не сразу, конечно. Но в тысяча девятьсот сорок седьмом он приезжал со мной повидаться, и мы славно провели денек, совсем как в былые времена. А теперь он умер, и вот наконец я хоть кому-то рассказал, как все было. Что вы скажете вашим городским друзьям? Они не поверят ни единому слову. Но ручаюсь вам, все это чистая правда. Это так же верно, как то, что я сижу здесь сейчас, и дышу свежим воздухом, и гляжу на свои мозолистые руки, и уже немного напоминаю выцветшие предвыборные плакаты той поры, когда я баллотировался в окружные казначеи.

Мы стояли с ним на платформе.

— До свидания, спасибо, что приехали, и выслушали меня, и позволили мне выложить всю мою подноготную. Всех благ вашим любознательным друзьям! А вот и поезд! И мне надо бежать — мы с Леной сегодня после обеда едем на побережье с миссией Красного Креста. Прощайте!

Я смотрел, как покойник резво топал по платформе, так что у меня под ногами дрожали доски, как он вскочил в свой древний «форд», осевший под его тяжестью, и вот уже нажал могучей ножищей на стартер; мотор взревел, Дадли Стоун с улыбкой обернулся ко мне, помахал мне рукой — и покатил прочь, к тому вдруг засверкавшему всеми огнями городу, что называется Безвестность, на берегу ослепительного моря под названием Былое.

УЛЫБКА

На главной площади очередь установилась еще в пять часов, когда за выбеленными инеем полями пели далекие петухи и нигде не было огней. Тогда вокруг, среди разбитых зданий, клочьями висел туман, но теперь, в семь утра, рассвело, и он начал таять. Вдоль дороги по двое, по трое подстраивались к очереди еще люди, которых приманил в город праздник и базарный день.

Мальчишка стоял сразу за двумя мужчинами, которые громко разговаривали между собой, и в чистом холодном воздухе звук голосов казался вдвое громче. Мальчишка притоптывал на месте и дул на свои красные, в цыпках руки, поглядывая то на грязную, из грубой мешковины, одежду соседей, то на длинный ряд мужчин и женщин впереди.

— Слышь, парень, ты-то что здесь делаешь в такую рань? — сказал человек за его спиной.

— Это мое место, я тут очередь занял,— ответил мальчик.

— Бежал бы ты, мальчик, отсюда, уступил бы свое место тому, кто знает в этом толк!

— Оставь в покое парня,— вмешался, резко обернувшись, один из мужчин, стоящих впереди.

— Я же пошутил.— Задний положил руку на голову мальчишки. (Мальчик угрюмо стряхнул ее.) — Просто подумал, чудно это: ребенок, такая рань, а он не спит.

— Этот парень знает толк в искусстве, ясно? — сказал заступник, его фамилия была Григсби.— Тебя как звать-то, малец?

— Том.

— Наш Том, уж он плюнет что надо, в самую точку — верно, Том?

— Точно!

Смех покатился по шеренге людей.

Впереди кто-то продавал горячий кофе в треснувших чашках. Поглядев туда, Том увидел маленький жаркий костер и бурлящее варево в ржавой кастрюле. Это был не настоящий кофе. Его заварили из каких-то ягод, собранных на лугах за городом, и продавали по пенни чашка, согреть желудок, но мало кто покупал, мало кому это было по карману.

Том устремил взгляд туда, где очередь пропадала за развалленной взрывом каменной стеной.

— Говорят, она улыбается,— сказал мальчик.

— Ага, улыбается,— ответил Григсби.

— Говорят, она сделана из краски и холста.

— Точно. Потому-то и сдается мне, что она не подлинная. Та, настоящая,— я слышал — была на доске нарисована, в незапамятные времена.

— Говорят, ей четыреста лет.

— Если не больше. Коли уж на то пошло, никому не известно, какой сейчас год.

— Две тысячи шестьдесят первый!

— Верно, так говорят, парень, говорят. Брешут. А может, трехтысячный! Или пятитысячный! Почем мы можем знать? Сколько времени одна сплошная катавасия была... И достались нам только рожки да ножки.

Они шаркали ногами, медленно продвигаясь вперед по холодным камням мостовой.

— Скоро мы ее увидим? — уныло протянул Том.

— Еще несколько минут, не больше. Они огородили ее, повесили на четыре латунных столбика бархатную веревку, все честь по чести, чтобы люди не подходили слишком близко. И учти, Том, никаких камней, они запретили бросать в нее камни.

— Ладно, сэр.

Солнце поднималось все выше по небосводу, неся тепло, и мужчины сбросили с себя измазанные дерюги и грязные шляпы.

— А зачем мы все тут собрались? — спросил, подумав, Том.— Почему мы должны плевать?

Григсби и не взглянул на него, он смотрел на солнце, соображая, который час.

— Э, Том, причин уйма.— Он рассеянно протянул руку к карману, которого уже давно не было, за несуществующей сигаретой. Том видел это движение миллион раз.— Тут все дело в ненависти. Ненависти ко всему, что связано с Прошлым. Ответь-ка ты мне: как мы дошли до такого состояния? Города — груды развалин; дороги от бомбежек — словно пила: вверх-вниз; поля по ночам светятся, радиоактивные... Вот и скажи, Том, что это, если не последняя подлость?

— Да, сэр, конечно.

— То-то и оно... Человек ненавидит то, что его сгубило, что ему жизнь поломало. Так уж он устроен. Неразумно, может быть, но такова человеческая природа.

— А есть хоть кто-нибудь или что-нибудь, чего бы мы не ненавидели? — сказал Том.

— Во-во! А все эта орава идиотов, которая заправляла миром в Прошлом!.. Вот и стоим здесь с самого утра, кишки подвело, стучим от холода зубами — новые троглодиты: ни покурить, ни выпить, никакой тебе утехи, кроме этих наших праздников, Том. Наших праздников...

Том мысленно перебрал праздники, в которых участвовал за последние годы. Вспомнил, как рвали и жгли книги на площади, и все смеялись, точно пьяные. А праздник науки месяц тому назад, когда притащили в город последний автомобиль, потом бросили жребий и счастливчики могли по одному разу долбануть машину кувалдой!..

— Помню ли я, Том? Помню ли? Да ведь я разбил переднее стекло. Стекло, слышишь? Господи, звук-то какой был, прелесть! Тррахх!

Том и впрямь словно услышал, как стекло рассыпается сверкающими осколками.

— А Биллу Гендерсону досталось мотор раздолбать. Эх, и лихо же он это сработал, прямо мастерски! Бамм! Но лучше всего,— продолжал вспоминать Григсби,— было в тот раз, когда громили завод, который еще пытался выпускать самолеты. И отвели же мы душеньку! А потом нашли типографию и склад боеприпасов — и взорвали их вместе! Представляешь себе, Том!

Том подумал.

— Ага.

Полдень. Запахи разрушенного города отравляли жаркий воздух, что-то копошилось среди обломков зданий.

— Сэр, это больше никогда не вернется?

— Что — цивилизация? А кому она нужна? Во всяком случае, не мне!

— А я так готов ее терпеть,— сказал один из очереди.— Не все, конечно, но были и в ней свои хорошие стороны...

— Чего зря болтать-то! — крикнул Григсби.— Все равно впустую.

— Э-э,— упорствовал один из очереди,— не торопитесь. Вот увидите: еще появится башковитый человек, который ее подлатает. Попомните мои слова. Человек с душой.

— Не будет этого,— сказал Григсби.

— А я говорю, появится. Человек, у которого душа лежит к красивому. Он вернет нам — нет, не старую, а, так сказать, ограниченную цивилизацию, такую, чтобы мы могли жить мирно.

— Не успеешь и глазом моргнуть, как опять война!

— Почему же? Может, на этот раз все будет иначе.

Наконец и они вступили на главную площадь. Одновременно в город въехал верховой, держа в руке листок бумаги. Том, Григсби и все остальные, копя слюну, подвигались вперед — шли, изготовившись, предвкушая, с расширившимися зрачками. Сердце Тома билось часто-часто, и земля жгла его босые пятки.

— Ну, Том, сейчас наша очередь, не зевай!

По углам огороженной площадки стояли четверо полицейских — четверо мужчин с желтым шнурком на запястьях, знаком их власти над остальными. Они должны были следить за тем, чтобы не бросали камней.

— Это для того,— уже напоследок объяснил Григсби,— чтобы каждому досталось плюнуть по разку, понял, Том? Ну, давай!

Том замер перед картиной, глядя на нее.

— Ну плюй же!

У мальчишки пересохло во рту.

— Том, давай! Живее!

— Но,— медленно произнес Том,— она же красивая!

— Ладно, я плюну за тебя!

Плевок Григсби блеснул в лучах солнца. Женщина на картине улыбалась таинственно-печально, и Том, отвечая на ее взгляд, чувствовал, как колотится его сердце, а в ушах будто звучала музыка.

— Она красивая,— повторил он.

— Иди уж, пока полиция...

— Внимание!

Очередь притихла. Только что они бранили Тома — стал, как пень! — а теперь все повернулись к верховому.

— Как ее звать, сэр? — тихо спросил Том.

— Картину-то? Кажется, «Мона Лиза»... Точно: «Мона Лиза».

— Слушайте объявление,— сказал верховой.— Власти постановили, что сегодня в полдень портрет на площади будет передан в руки здешних жителей, дабы они могли принять участие в уничтожении...

Том и ахнуть не успел, как толпа, крича, толкаясь, мечась, понесла его к картине. Резкий звук рвущегося холста... Полицейские бросились наутек. Толпа выла, и руки клевали портрет, словно голодные птицы. Том почувствовал, как его буквально швырнули сквозь разбитую раму. Слепо подражая остальным, он вытянул руку, схватил клочок лоснящегося холста, дернул и упал, а толчки и пинки вышибли его из толпы на волю. Весь в ссадинах, одежда разорвана, он смотрел, как старухи жевали куски холста, как мужчины разламывали раму, поддавали ногой жесткие лоскуты, рвали их в мелкие-мелкие клочья.

Один Том стоял притихший в стороне от этой свисто-

пляски. Он глянул на свою руку. Она судорожно прижимала к груди кусок холста, пряча его.

— Эй, Том, ты что же! — крикнул Григсби.

Не говоря ни слова, всхлипывая, Том побежал прочь. За город, на испещренную воронками дорогу, через поле, через мелкую речушку. Он бежал и бежал не оглядываясь, и сжатая в кулак рука была спрятана под куртку.

На закате он достиг маленькой деревушки и пробежал через нее. В девять часов он был у разбитого здания фермы. За ней, в том, что осталось от силосной башни, под навесом, его встретили звуки, которые сказали ему, что семья спит. Спит мать, отец, брат. Тихонько, молча он скользнул в узкую дверь и лег, часто дыша.

— Том? — раздался во мраке голос матери.

— Да.

— Где ты болтался? — рявкнул отец.— Погоди, вот я тебе утром всыплю...

Кто-то пнул его ногой. Его собственный брат, которому пришлось сегодня в одиночку трудиться на их огороде.

— Ложись! — негромко прикрикнула на него мать.

Еще пинок.

Том дышал уже ровнее. Кругом царила тишина. Рука его была плотно-плотно прижата к груди. Полчаса лежал он так, зажмурив глаза.

Потом ощутил что-то: холодный белый свет. Высоко в небе плыла луна, и маленький квадратик света полз по телу Тома. Только теперь его рука ослабила хватку. Тихо, осторожно, прислушиваясь к движениям спящих, Том поднял ее. Он помедлил, глубоко-глубоко вздохнул, потом, весь ожидание, разжал пальцы и разгладил клочок закрашенного холста.

Мир спал, освещенный луной.

А на его ладони лежала Улыбка.

Он смотрел на нее в белом свете, который падал с полуночного неба. И тихо повторял про себя, снова и снова: «Улыбка, чудесная улыбка...»

Час спустя он все еще видел ее, даже после того, как осторожно сложил и спрятал. Он закрыл глаза, и снова во мраке перед ним — Улыбка. Ласковая, добрая, она была там и тогда, когда он уснул, а мир был объят безмолвием и луна плыла в холодном небе сперва вверх, потом вниз, навстречу утру.

ЧАС ПРИВИДЕНИЙ

Это был самый лучший час.

Самый замечательный час суток.

Это был Час Привидений.

Посередине комнаты Тимоти что-то закрутилось, и возникло невероятное Привидение.

Посередине комнаты Ральфа стал второй призрак, немыслимой величины и загадочного облика.

Посередине логовища Элис, на другой стороне коридора, соткался из света, снующего взад-вперед, из воздуха и из танцующих пылинок третий — печальная, со скорбным взглядом незнакомка.

В гостиной, внизу, встречал нежданных гостей отец.

А мать? Мать в это время хозяйничала на кухне, между тем как Ведьма-Повариха качалась в горячем воздухе над

плитой, что-то напевала пряностям, листала поваренные книги, что-то добавляла в кушанья. Только дотронувшись рукой, ты узнал бы, которая из них настоящая. Старую толстую Ведьму твои пальцы проткнули бы насквозь. Пальцы остановились бы, ткнувшись в жаркую летнюю плоть Хозяйки Дома.

— Вот здорово! — крикнул Тимоти.

— Его можно обойти вокруг! — воскликнул Ральф.

И это была правда.

И они стали кружить и кружить вокруг своих Привидений, электронных див, принесенных невидимыми лучами специально для них, в их комнаты.

— Они настоящие!

— И все-таки не совсем...

— Повторите все снова,— сказала Элис лучезарному воздуху.

— Да,— попросили мальчики.— Говорите еще!

И призрак Марли в комнате Тимоти затряс своими цепями из копилок и висячих замков и, вперив в мальчика взгляд похожих на бледные устрицы глаз, загоревал по своей погибшей душе:

— О горе мне! Я ношу цепь, которую сам сковал себе при жизни... Мне нет отдыха, нет покоя! Да будет тебе это уроком, Эбинизер Скрудж!

А у постели Ральфа между тем призрак слепого Пью смял в руке маленький клочок бумаги с чернильным кружком на нем и воскликнул:

— Черная метка! Я обречен!

И почти потерял сознание, когда откуда-то из темных углов комнаты донеслась — топ-тумп, том-тумп — поступь одноногого человека, шагающего в темноте по дороге вдоль берега какого-то далекого моря.

Элис была в восторге.

Ее Привидение, молодая женщина с волосами, развевающимися на ветру, постучало в залепленное снегом окно и прокричало имя необузданного человека:

— Хитклиф!

И в зимней ночи распахнулась висящая в воздухе, в середине комнаты, дверь. Откликнувшись на зов, оттуда выбежал человек и исчез с Грозового Перевала, затерялся в буре снежинок, падающих на пол и тающих, не оставляя следа.

— Голограммы,— прошептал Тимоти,— телесвязь. Лучи лазеров и небывалые машины...

— Замолчи! — остановил его Ральф — младший, но более мудрый.— Не хочу этого знать. Я хочу только смотреть! Лучше Привидений нет ничего на свете. После слепого Пью у меня побывали фараон Тутанхамон, и Рикша-Призрак, и... Черт возьми, может, прямо сейчас?

Он нажал на кнопку. Свет лазера переткал наново свой ковер. Слепой Пью исчез, а с ним и стук деревянной ноги на далекой дороге.

Из туманов над болотами в свете молнии, под мелким дождем поднялась и залаяла, сверкая глазами, собака.

— Милый пес,— сказал Ральф.— Милые Баскервили!

В гостиной горевал дух отца Гамлета:

— О, слушай, слушай, слушай! Если только ты впрямь любил когда-нибудь отца...

— Одну чашку шерри,— напомнила Покровительница Кухни, компьютерная память, которая всегда посоветует, как лучше приготовить то или иное блюдо.— Две...

— Благодарю вас,— прервала ее Хозяйка и щелкнула переключателем.

Повинуясь силе молний, Кухонное Привидение исчезло.

— Обед готов! — крикнула, выглянув в коридор, мать.

— Вы,— сказал то ли Тимоти, то ли Скрудж,— вовсе не вы, а лишь капля горчицы, непрожаренная картофелина...

После чего старый Марли провалился с криком отчаянья в собственные кости и растаял.

— Приходи снова в восемь! — сказал Ральф.

И собака ушла в трясину ковра.

— Как жалко! — заплакала Элис, когда Хитклиф и его возлюбленная убежали сквозь стены комнаты.

Гостиная. Свет утра в Эльсиноре. Отец Гамлета удалился. А отец этого дома встал и пошел обедать.

Точно так же, как и его реальные дети, побежавшие на зов реальной матери, к реальной пище.

Час Привидений кончился.

Полумрак лазерных визитов рассеялся.

Но предстоял еще вечер. И когда с уроками было покончено, их всех уже ждали новые призраки. В стенах таились Духи Прошлых, Нынешних и Будущих Святок.

Своим призрачным фонарем сигналил с верхних ступенек лестницы Стрелочник-Призрак. Их дом был теперь настоящим Домом с Привидениями.

— Я взял на себя смелость,— сказал отец,— пригласить к обеду Платона и Аристотеля.

— Уж слишком много они говорят! — проворчал Ральф.

Но тут эти два старика вдруг неслышно встали около них.

— Как дела в «Государстве»? — спросил Тимоти.

— Как дела?..

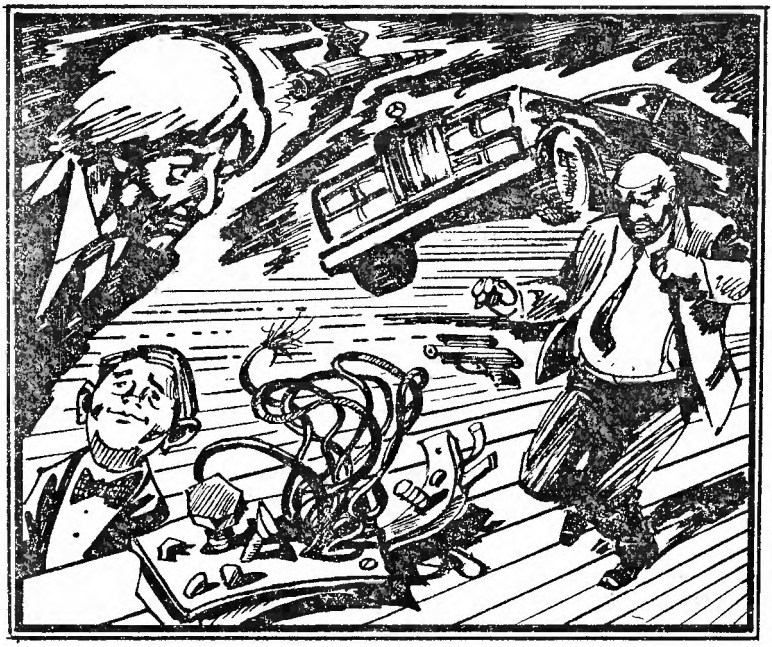
И Платон рассказал ему — быстро, хорошо и правдиво.

И изумленный Ральф выпрямился на своем стуле, поморгал и сказал:

— Раз так, то не исчезай. Расскажи снова.

И Платон рассказал.

И это было почти так же хорошо, как слепой Пью или вой собаки Баскервилей на болоте, среди трясины.



ЧЕПУШИНКА

К магазинчику было не протолкнуться.

Кроуэлл ввинтился в толпу; длинное лицо его оставалось таким же печальным, каким оно было всегда. Через худое плечо он посмотрел назад, буркнул что-то себе под нос и заработал локтями.

Он увидел, как ярдах в ста позади к тротуару, жужжа мотором, быстро подползла длинная, черная, блестящая машина-жук. Щелкнув, открылась дверца, и из машины с трудом вылез толстяк, на бледном сероватом лице которого застыло выражение злобы. Впереди сидели двое телохранителей.

«А вообще-то стоило ли убегать?» — подумал Кроуэлл, известный в своем кругу под прозвищем Плут. Ведь он устал. Не было больше сил выступать каждый вечер в программе новостей и каждое утро, просыпаясь, знать, что из-

за какого-то упоминания вскользь о том, что в последнее время некий толстяк в «Пластикс инкорпорейтед» занимается темными делишками, за тобой по пятам ходят гангстеры. А теперь и сам толстяк объявился, собственной персоной. Притащился за ним из самой Пасадены.

Теперь наконец Кроуэлла со всех сторон окружала толпа. «Интересно,— подумал он,— отчего здесь столько народу? Необычное зрелище? Ну а что, вообще говоря, увидишь обычного в Южной Калифорнии?»

Он протиснулся вперед и уставился на большие алые буквы на окнах из голубого стекла; выражение его худого, грустного лица не изменилось.

Слова на голубом стекле были такие:

ШТУКОВИНЫ, ФИНТИФЛЮШКИ
ПУСТЯКОВИНКИ, БАРАХЛИНКИ
ШТУЧКИ-ДРЮЧКИ
ЧЕПУШИНКИ, ЕРУНДОВИНЫ
И ПР.

Кроуэлла это не удивило. Вот, значит, магазин, который имел в виду редактор, когда давал ему задание. Ерунда какая-то и чепуха.

Но тут он вспомнил про Стива Бишопа, толстяка, и про телохранителей с пистолетами. Когда в море шторм, любой порт хорош.

Кроуэлл достал из кармана небольшой блокнот, небрежно записал два-три названия «Ерундовины, штучки-дрючки». Все равно Бишопу в этой толпе его не подстрелить. Стрелять-то у Бишопа, по совести говоря, право есть: как-никак он, Плут, пугает Бишона разоблачением — трехмерными цветными изображениями...

Кроуэлл боком пролез к полупрозрачной двери; будто водопад отгораживал посетителей от решенного в холодных — белом и голубом — тонах помещения. Кроуэллу стало немного зябко. Он сосчитал небольшие стеклянные шкафы (их оказалось семнадцать) и мертвенно-серыми, ничего не выражающими глазами начал рассматривать то, что в них стоит.

Из-за шкафчика голубого стекла появился вдруг лысый человечек, худой как скелет. Он был такой маленький, что

Кроуэлл с трудом подавил в себе желание похлопать его по лысине. Казалось, эта лысина создана для того, чтобы по ней похлопать.

Квадратное лицо человека было блекло-желтым, того особого оттенка желтизны, который приобретают выцветшие газеты.

— Слушаю вас,— сказал человечек.

— Привет,— негромко поздоровался Кроуэлл, раздумывая, что делать дальше. Теперь, когда он в магазине, что-то нужно говорить.— Я хотел бы купить... штуковину.

В голосе у Кроуэлла звучали те же грусть и усталость, какие были написаны на его лице.

— Великолепно, великолепно! — отозвался человечек и потер руки.— Не знаю почему, но по-настоящему заинтересовались вы первый. Другие просто стоят там, снаружи, и смеются. Так к делу: какого года штуковина вам нужна? И какой модели?

Ни того ни другого Кроуэлл не знал. Он знал только, что испытывает замешательство, однако никто другой, глядя на его лицо, этого бы не заметил. Войдя, он сразу повел себя так, будто собаку съел на этих делах. И теперь признаваться в своем невежестве ему было совсем ни к чему. Он сделал вид, будто обдумывает ответ, и наконец сказал:

— Пожалуй, в самый раз подошла бы модель 1993 года. Не надо ничего сверхсовременного.

Владелец магазина заморгал.

— Ага! Я вижу, вы человек, который знает, что ему нужно. Сюда, пожалуйста.

И, метнувшись в проход между шкафами, человечек остановился перед стеклом, за которым лежало что-то непонятное. Смахивало на кривошип, но одновременно напоминало кухонную полку; с металлического края свисало несколько сережек, и на том же краю были жестко закреплены три похожих на рога стержня и шесть диковинных механизмов, а наверху, из самой середины, торчал большой пучок чего-то, что более всего напоминало шнурки от ботинок.

Из горла Кроуэлла вырвался такой звук, будто он подавился пуговицей. Он посмотрел еще раз. Ну что тут скажешь? Только одно: малыш совсем ненормальный. Но об этом, пожалуй, лучше помалкивать.

Что же касается крохотного хозяина лавки, то он был на вершине счастья: его глаза сияли, губы растянулись в самую приветливую улыбку, руки со сплетенными пальцами были прижаты к груди, и он стоял наклонившись вперед, полный ожидания.

— Вам нравится?

Кроуэлл мрачно кивнул:

— Да, пожалуй. Годится. Я, правда, видел и получше.

— Получше?! — изумленно воскликнул человечек и вытянулся во весь свой маленький рост.— Где видели? — потребовал он ответа.— Где?

Другой бы занервничал. Другой, но только не Кроуэлл. Он просто вытащил блокнот, начал в нем быстро писать и, не поднимая головы, ответил многозначительно:

— Кто-кто, а уж вы-то знаете где...

Он надеялся, что этого будет достаточно. И не ошибся.

— О! — Крохотный человечек захлебнулся от восторга.— Значит, вы тоже?.. Как приятно иметь дело со сведущим человеком! Как приятно!

Кроуэлл бросил взгляд на окно — посмотреть, что там, за толпой хихикающих зевак. И толстяк, и телохранители, и черная машина исчезли. Охота приостановилась — пока.

Кроуэлл сунул блокнот в карман, положил руку на шкафчик, в котором была выставлена штуковина.

— Я очень спешу. Могу я взять это с собой? Деньги у меня дома, но вместо первого взноса я могу вам дать кое-что в обмен. Согласны?

— Безусловно, согласен!

— Замечательно.

Набравшись духу, Кроуэлл полез в карман своей серой блузы и извлек оттуда маленькое металлическое устройство для чистки курительных трубок. Поломанное, погнутое, оно выглядело довольно необычно.

— Пожалуйста. Барахлинка. Модель 1944 года.

— Какая же это барахлинка?

— Э-э... разве нет?

— Разумеется, нет!

— Разумеется,— осторожно повторил Кроуэлл.

— Это пустяковинка,— сказал, моргая, человечек.— И не целая, а только часть. Ну и шутник же вы, мистер...

— Кроуэлл. Мда... шутник. Мда. Надеюсь, моя

шутка не очень вас покоробила. Так меняемся? Я очень спешу.

— Конечно, конечно! Я поставлю вашу покупку на тележку, и мы подвезем ее прямо к вашей машине.

Крохотный человек мгновенно выкатил откуда-то ручную тележку на маленьких колесиках, и Кроуэлл оглянуться не успел, как штуковина оказалась на ней. Хозяин помог докатить тележку до двери. У двери Кроуэлл остановил его:

— Минутку.

Черной машины нигде не было видно.

— Все в порядке.

Понизив голос, человечек сказал:

— Помните только, мистер Кроуэлл: ни в коем случае не следует убивать этой штуковиной кого ни попадя. Убивайте... с разбором. Да, только так — с разбором, взвесив хорошенько все «за» и «против». Не забудете, мистер Кроуэлл?

Кроуэлл проглотил непомерной величины ком, откуда-то взявшийся у него в горле.

— Не забуду,— ответил он.

Съехав на машине в туннель, он покатил по подземной магистрали из района Уилшира домой, в Брентвуд. Никто за ним не увязался. На этот счет сомнений не было. Но какие планы у Бишопа на ближайшие часы, он не знал. Не знал. И даже думать об этом не хотел. В этом мерзком мире все шиворот-навыворот — честному человеку не выжить. Что же до Бишопа, этого жирного слизняка, то...

Взгляд Кроуэлла упал на покупку рядом на сиденье, и его сотряс короткий и сухой, похожий на кашель смех.

— Значит, ты штуковина? — сказал он.— Ха! Каждый зарабатывает на жизнь, чем может. Бишоп пластиками, я — шантажом, а тот маленький придурок — своими ерундовинами и штучками-дрючками. И пожалуй, малышка этот ловчее нас всех.

Он свернул от ответвления подземной магистрали, по которому ехал, в боковой туннель, выходивший на поверхность у самого его дома. Поставив белого «жука» в гараж и оглядев парк вокруг, он со штуковиной в руках поднялся

на свой этаж, набрал известное только ему сочетание цифр, открыл дверь, внес штуковину, захлопнул дверь и поставил свою покупку на стол. Потом он налил себе бренди.

В дверь постучали, негромко и с расстановкой. Оттягивать бесполезно. Он пошел к двери и открыл.

— Привет.

На пороге стоял толстяк. Лицо — как большой кусок вареного свиного сала, холодного и дряблого. Зеленых, в красных прожилках глаз почти не видно под тяжелыми веками. Сигара во рту двигалась в такт словам.

— Рад, что застал тебя, Кроуэлл. Давно хотел с тобой встретиться.

Кроуэлл отступил, и толстяк вошел в комнату. Сел, сложил на круглом животе руки и спросил:

— Ну так как?

Кроуэлл сглотнул слюну.

— Снимков у меня здесь нет, Бишоп.

Толстяк ничего на это не сказал. Медленно разомкнул руки, не спеша, словно за носовым платком, полез в карман, но вместо платка в руке у него оказался небольшой пистолет-парализатор. От голубой стали веяло холодом.

— Может, все-таки подумаешь, Кроуэлл?

На печальном, бледном лице Кроуэлла проступил холодный пот, от этого оно стало еще печальней. Шея будто налилась свинцом. Он попытался было включить свой мозг, но мозгу стало вдруг невыносимо жарко, мозг был скован цементом страха, безжалостного и внезапного. Внешне это никак не проявилось, однако в глазах у Кроуэлла Бишоп, пистолет, комната запрыгали вверх-вниз.

И тут в поле его зрения попала... штуковина.

Бишоп передвинул на пистолете штифт предохранителя.

— Ну так куда стрелять? Могу в грудь, могу в голову. Говорят, если парализует мозг, умираешь скорее. Лично я предпочитаю целиться в сердце. Так куда?

— Не торопись,— небрежно сказал Кроуэлл.

Медленно-медленно он отступил назад. Сел, не забывая ни на миг о том, что палец Бишопа дрожит на спусковом

крючке: стоит чуть нажать — и все кончено, будешь благодарить за то, что получил доступ к величайшему изобретению нашего времени.

Огромное лицо Бишопа оставалось неподвижным. Только двигалась из стороны в сторону сигара.

— Брось, Кроуэлл. Нет времени болтать.

— Наоборот, куча времени,— спокойно возразил Кроуэлл.— У меня есть для тебя идеальное оружие. Хочешь верь, хочешь нет. Взгляни вон на ту машину на столе.

Голубея сталью, пистолет неподвижно на него смотрел. Бишоп скосил глаза на стол, снова вперил взгляд в Кроуэлла.

— Ну и что? — процедил он сквозь зубы.

— А то, что, если меня выслушаешь, ты станешь самым крупным воротилой в пластиковом бизнесе на всем Тихоокеанском побережье. Ведь тебе этого хочется, правда?

Глаза Бишопа открылись немного шире, сузились снова.

— Тянешь время?

— Послушай, Бишоп, я и сам понимаю, что деваться мне некуда. Потому и беру тебя в долю... в смысле этой моей проклятой штуковины. Все никак не придумаю для нее названия.

Как перегревшаяся центрифуга отчаяния, работал мозг Кроуэлла, отбрасывая одну легковесную идею за другой. Но одна мысль упорствовала: «Тяни время, пока не появится возможность вырвать пистолет, морочь ему голову. Морочь, сколько сможешь. Ну а теперь...»

Кроуэлл откашлялся.

— Она... она убивает радиоволнами,— начал придумывать он.— Достаточно отдать ей приказ, и она убьет, кого я только захочу. Никаких неприятностей. Никаких улик. Ничего вообще. Идеальное убийство, Бишоп. Тебе нравится?

Бишоп покачал головой.

— Ты налакался. Ну ладно, дело уже к вечеру, так что...

— Подожди,— перебил Кроуэлл, вдруг подавшись вперед; в его серых глазах зажегся огонек.— Не шевелись, Бишоп. Ты под прицелом. Машина держит тебя на мушке.

Прежде чем впустить тебя, я настроил ее на определенную волну. Только пикни — и тебе конец!

Сигара выпала изо рта Бишопа на пол. Рука, державшая пистолет, дрогнула.

Наконец-то! Мускулы Кроуэлла свернулись в одну тугую пружину. Как стрелы полетели слова:

— Берегись, Бишоп! Машина, действуй! Убей Бишопа!

И Кроуэлл швырнул свое тело в сторону. Почувствовал, как отделяется от стула, увидел ошеломленное лицо Бишопа. Отвлекающий маневр удался. Пистолет выстрелил. Серебристый луч едва миновал ухо Кроуэлла и, шипя, расплескался по стене. Кроуэлл вытянул руки, чтобы схватить Бишопа, вырвать пистолет.

Но опоздал.

Бишоп был мертв.

Штуковина опередила Кроуэлла.

У себя в спальне Кроуэлл выпил стаканчик. Потом еще один. Теперь казалось, что желудок плавает в алкоголе. Но все равно не удавалось забыть, как выглядел мертвый Бишоп.

Надо еще стаканчик пропустить. Он глянул на дверь и подумал: «Очень скоро, в ближайшие несколько минут, телохранители будут ломиться в квартиру, будут искать своего босса. Но... выйти в гостиную, снова увидеть Бишопа на полу, штуковину?» По спине Кроуэлла пробежала дрожь.

Еще стаканчик, за ним другой, но по-прежнему ни в одном глазу, будто не выпил ни капли; и он начал собирать чемодан, складывать туда одежду. Он не знал, куда отправится, но знал, что отправится обязательно. Уже собрался выходить, когда звуком, похожим на удар гонга, прозвучал сигнал аудиофона.

— Да?

— Мистер Кроуэлл?

— Он самый.

— С вами говорят из «Лавки Чепуховин».

— А-а... Как же, помню. Здравствуйте.

— Вы не заглянете в лавку еще раз? И не захватите с собой штуковину? Боюсь, что вы понесли убыток в этой

сделке. У меня появилась штуковина другой модели, гораздо лучшая.

Кроуэлл сглотнул слюну:

— Спасибо, эта работает прекрасно.

Он дал отбой и схватился за голову: ему показалось, что его мозг вот-вот соскользнет к нему в ботинки. Он и не думал убивать. Все в нем восставало против одной только мысли об убийстве. И от этого положение его еще труднее. Эти вооруженные люди, телохранители, не остановятся даже перед тем, чтобы...

Его нижняя челюсть немного выпятилась. Пусть приходят! На сей раз он не побежит. Нет, он останется в городе, будет себе спокойно передавать последние известия, словно ничего не произошло. Как ему все это надоело! Пусть его убьют, ему все равно. Он будет просто счастлив, когда они нацелят на него пистолеты.

А вообще-то зачем ему лишние осложнения? Лучше отнести Бишопа... вернее, тело Бишопа в гараж, положить на заднее сиденье машины и увезти в безлюдное место, а телохранителей он собьет со следа — скажет, что похитил и спрятал Бишопа. Неплохая мысль, черт возьми! Все-таки он, Кроуэлл, умница!

Он попытался поднять тяжелое тело Бишопа. Не смог. Но в конце концов переправить тело вниз, на заднее сиденье машины, удалось — это за него сделала штуковина.

Кроуэлл, пока она этим занималась, сидел в спальне. Ему не хотелось смотреть, как штуковина это делает...

— О, мистер Кроуэлл? — Крошечный хозяин лавки широко открыл сверкающую стеклянную дверь. На окна магазина и сейчас глазели зеваки.— Я вижу, вы привезли штуковину? Превосходно.

Лихорадочно соображая, Кроуэлл поставил устройство на прилавок. Мм... быть может, теперь ему что-нибудь объяснят? Спрашивать нужно деликатно, не впрямую. Спрашивать так, чтобы...

— Послушайте, мистер, не знаю как вас зовут, я не говорил вам, но я репортер. Мне бы хотелось сделать передачу для «Последних новостей» о вас и о вашей лавке. Но чтобы рассказали вы сами.

— Вы знаете о пустяковинах и ерундовинах ничуть не меньше меня,— сказал человек.

— Не меньше?..

— Такое у меня, во всяком случае, создалось впечатление.

— О, конечно. Конечно, знаю. Но всегда лучше на кого-то сослаться. Понимаете?

— Ваша логика мне неясна, но я сделаю то, чего вы от меня хотите. Слушатели захотят, по-видимому, узнать подробно о моей «Лавке Чепуховин», не так ли? Ну что ж... Чтобы мое торговое дело выросло до нынешних масштабов, потребовались тысячи лет пути.

— Тысячи миль пути,— поправил Кроуэлл.

— Тысячи лет,— повторил человечек.

— Разумеется,— сказал Кроуэлл.

— Мою лавку, пожалуй, можно назвать энергетическим результатом неадекватного семантизирования. Устройства, которые вы здесь видите, вполне справедливо было бы назвать изобретениями, делающими не конкретно что-то, а вообще.

— Разумеется,— бесстрастно сказал Кроуэлл.

— Теперь вот что: если один человек показывает другому деталь автомобиля и не может вспомнить ее названия, что он говорит в таких случаях?

Кроуэлла осенило:

— Он называет ее штуковиной, или загогулиной, или ерундовиной...

— Верно. А если женщина говорит с другой женщиной о своей стиральной машине, или о взбивалке для яиц, или о вышивании тамбуром, или о вязанье и у нее вдруг затмение в голове и она не может вспомнить точное слово — что она тогда говорит?

— Она говорит: «Эту висюльку надень на загогулину. Придержи финтифлюшку и насади ее на рогульку»,— сказал Кроуэлл, радуясь, как школьник, понявший вдруг математическое правило.

— Совершенно верно! — воскликнул человечек.— Хорошо. Таким образом, мы здесь имеем дело с появлением семантически неточных обозначений, пригодных лишь для описания любого предмета — от куриного гнезда до автомобильного картера. Штуковиной могут назвать и парик, и половую тряпку. Штуковина — это не один определенный предмет. Это тысяча разных предметов. Да... Так вот что я сделал: проникал в сознание цивилизован-

ных людей, извлекал представление каждого о том, как выглядит штуковина, о том, как выглядят штучки-дрючки, и непосредственно из энергии атомов создавал материальные эквиваленты этих несовершенных обозначений. Иными словами, мои изобретения суть трехмерные репрезентации определенных сгустков смысла. Поскольку в сознании человека штуковиной может быть что угодно — от щетки до стального болта девятого размера,— это свойство повторено и в моих изобретениях. Штуковине, которую вы сегодня брали домой, под силу почти все, чего вы от нее захотите. Многие из моих изобретений благодаря вложенным в них способностям мыслить, самостоятельно передвигаться и выполнять самые разнообразные действия, по существу, сходны с роботами.

— Они могут все?

— Не все, но очень многое. Что же касается функционирования большинства из них, то оно возможно благодаря примерно шестидесяти протекающим в любом из них одновременно процессам, необычным, взаимодействующим, разнообразным по объему и интенсивности. У каждого из моих творений свой набор полезных функций. Одни устройства большие. Другие маленькие. У большинства — множество разнообразных применений. На долю маленьких выпадают всего одна или две простые функции. Ни одно изделие не повторяет другое в точности. Прикиньте сами, сколько времени, места и денег вы сэкономите, купив какую-нибудь из моих штуковин!

— Ага,— отозвался Кроуэлл. Ему вспомнилось тело Бишопа.— Использовать вашу штуковину можно очень многообразно, тут уж ничего не скажешь.

— Хорошо, что вы напомнили. Я хочу спросить вас о пустяковинке модели 1944 года, которую вы дали в счет стоимости моей штуковины. Где вы ее раздобыли?

— Где раздобыл? Вы про эту, для чистки... то есть про пустяковинку? Я... э-э... я...

— Вам не следует ничего опасаться, вы можете быть со мной откровенным. Ведь у нас общие профессиональные тайны. Вы сделали ее сами?

— Я... Я купил ее, а потом над ней работал. Вкладывал... вкладывал энергию мысли — ну вы знаете как.

— Значит, вам известен этот секрет? Подумать только!

А я-то считал, что, кроме меня, о возможности превращать мысль в энергию не знает никто. Какой блестящий ум! Вы учились в Ррупре?

— Нет. До сих пор жалею, что не попал туда. Не было возможности. Всего достиг собственными силами. Ну а теперь вот что: я бы хотел вернуть эту штуковину и взять что-нибудь другое. Штуковина мне не нравится.

— Не нравится? Но почему?

— Да просто не нравится — и все. Слишком много возни. Мне бы хотелось что-нибудь попроще.

«Да,— подумал он про себя,— попроще, чтобы видно было, как работает».

— Какого рода устройство, мистер Кроуэлл, желаете вы взять в этот раз?

— Дайте мне... штучку-дрючку.

— Штучку-дрючку какого года?

— А не все равно какого?

— О, вы опять шутите!

Кроуэлл сделал глотательное движение.

— Разумеется, шучу.

— Вы ведь, конечно, знаете, что год от года свойства штучки-дрючки, как и само ее название, меняются, и меняются они уже на протяжении тысяч лет.

— А сами вы не шутите? — спросил Кроуэлл.— Нет, не шутите. Не обращайте внимания на мои слова. Дайте мне штучку-дрючку, и я поеду домой.

Что это он говорит — «домой»? Не очень-то умно было бы отправиться туда сейчас. Лучше затаиться где-нибудь в укромном местечке и довести до сведения телохранителей: он держит Бишопа заложником. Да. Только так. Это надежней всего. А пока неплохо бы разузнать побольше об этой лавке... Но держать около себя что-нибудь подобное той штуковине? Нет уж, увольте!

Маленький владелец магазина между тем продолжал:

— У меня целый ящик штучек-дрючек из всех исторических эпох, я вам его отдам. Просто не знаю, куда мне девать это добро, и пока только вы принимаете меня всерьез. За весь сегодняшний день у меня не было ни одного покупателя. Меня это очень огорчило.

«Да, мозги у этого малышки здорово набекрень»,— подумал Кроуэлл и сказал:

— Знаете что? У меня дома пустой чулан. Как-нибудь

на днях доставьте ко мне всю эту мелочь, и я посмотрю ее и выберу, что мне понравится.

— А не могли бы вы сделать мне одолжение и взять часть товара прямо сейчас?

— Не знаю, смогу ли я...

— О, немного! Совсем немного. Серьезно. Вот они. Сейчас увидите сами. Несколько коробочек побрякушек и финтифлюшек. Вот они. Вот.

Владелец магазинчика наклонился и вытащил из-под прилавка шесть коробок.

Кроуэлл открыл одну.

— Эти я возьму, тут и говорить не о чем. Одни только шумовки, ножи для чистки овощей, дверные ручки и старые голландские пенковые трубки — больше тут ничего нет. Эти я, конечно, возьму.

Совсем не страшные. Маленькие, простые. Вряд ли можно ждать от них неприятных сюрпризов.

— О, благодарю вас! Очень вам признателен. Положите все на заднее сиденье своей машины, я за них не возьму с вас ничего. Я рад, что освобождаю у себя место. За последние годы я столько насоздавал, что не знаю, куда все это девать. Меня тошнит от одного вида моих изделий.

Обхватив коробки обеими руками, придерживая верхнюю подбородком, Кроуэлл вышел на улицу, к своему белому «жуку», и свалил все на заднее сиденье. Потом махнул человечку рукой, сказал, что на днях они обязательно встретятся, и поехал.

Час, проведенный в лавке, захлебывающаяся радость человечка, яркий свет в помещении привели к тому, что Кроуэлл впервые за все это время забыл о телохранителях Бишопа и о самом Бишопе.

Мотор ровно жужжал у него под ногами. Он ехал к центру, к студиям, и пытался решить, что делать дальше. Почувствовав вдруг любопытство, протянул руку к коробкам на заднем сиденье и вытащил первое, что попалось. Курительная трубка всего-навсего. От одного ее вида ему захотелось курить, и он достал из вшитого в блузу кисета табак, набил трубку и с опаской, осторожно ее закурил. С шумом выпустил дым. Просто блеск. Трубка что надо!

Он курил, позабыв обо всем на свете, когда увидел что-то в зеркале заднего прибора. За ним следовали два чер-

ных «жука». Точно, те самые — черные как ночь, с мощными двигателями.

Кроуэлл мысленно выругался и прибавил скорость. Черные машины приближались. Двое убийц в одной, двое — в другой.

Не остановиться ли и не сказать ли им, что он их босса держит заложником?

В руках убийц в низких машинах поблескивали пистолеты. Такие типы сперва стреляют, а уж потом разговаривают. Нет, к этому он готов не был. Он-то рассчитывал укрыться в надежном месте, позвонить им и предъявить ультиматум. Но чтобы... такое?

Машины неотвратимо приближались.

Кроуэлл нажал на педали. На лбу выступили и наперегонки побежали вниз капельки пота. Ну и влип же он! Зря он, пожалуй, поторопился вернуть штуковину. Очень пригодилась бы сейчас — как пригодилась неожиданно с Биппопом.

Штуковина... А штучки-дрючки?!

У него вырвался ликующий крик.

Протянув руку назад, он начал судорожно рыться в штучках-дрючках, пустяковинках, срундовинках, барахлинках. Похоже, ничего стóящего нет, но он попробует.

— Валяйте, штуковинки, делайте свое дело! Защищайте меня, черт вас побери!

На заднем сиденье что-то забрякало, зазвенело, и что-то металлическое, просвистев у самого уха Кроуэлла, вылетело на прозрачных крыльях наружу, повернуло к преследующему «жуку» и ударилось в ветровое стекло.

Взрыв — зеленое пламя и серый дым.

Трррышка сделала свое дело. Она была сочетанием игрушечного самолетика и артиллерийского снаряда.

Кроуэлл нажал на педаль, и его «жук» снова вырвался вперед. Вторая машина по-прежнему шла за ним. Нет, по доброй воле они от него не отстанут.

— Убейте и этих! — закричал Кроуэлл.— Убейте! Как хотите, но убейте!

Схватив коробку, он вышвырнул все, что в ней было, за окошко, потом проделал то же с содержимым другой коробки. Что-то сразу поднялось в воздух. Остальное безобидно запрыгало по асфальту.

Два предмета сверкали в воздухе. Две пары ножниц, острых и блестящих,— только можно было подумать, будто в каждую пару вставлено по маленькому антигравитационному двигателю. Со свистом разрезая воздух, они понеслись назад, к преследующему черному «жуку».

Блеснув, ножницы влетели в открытые окошки машины.

Черный «жук» вдруг потерял управление, свернул с мостовой на тротуар, ударился на полной скорости в стену, перевернулся один раз, другой, и внезапно его охватило буйное пламя.

Кроуэлл бессильно откинулся на спинку сиденья. Его машина, замедлив ход, повернула за угол и остановилась у тротуара. Он дышал часто-часто. Сердце, казалось, вот-вот вырвется из груди.

Теперь, если он захочет, он может возвращаться домой. Теперь никто не ждет его там, не подстерегает в засаде, не будет останавливать и допрашивать, не будет ему угрожать.

Да, теперь можно возвращаться домой. Странно, но от этой мысли ему не становилось ни легче, ни радостней. Наоборот, на душе было темно, уныло, неуютно. До чего же гнусное место этот мир! Во рту у него было противно и горько.

Он поехал домой. Может быть, теперь все будет хорошо? Может быть...

Взяв оставшиеся коробки, он вылез из машины и на лифте поднялся на свой этаж. Открыл дверь, поставил коробки на стол и начал разбирать то, что в них было.

Новая трубка снова была у него в зубах. Некоторое время назад он машинально взял ее в рот. Нервы. Нужно закурить, тогда успокоишься.

Он набил трубку свежим табаком и раскурил ее. А вообще только псих мог отдать незнакомому человеку все это добро. Опасно, когда такое попадает неизвестно в чьи руки. Всякая сомнительная публика может получить свободный доступ к этим вещам, может использовать их в своих целях.

Рассмеявшись, он затянулся снова.

Теперь он кум королю. Эти матерые дельцы из «Пластикс инкорпорейтед» будут ходить перед ним на задних

лапках, будут платить ему деньги, будут, черт бы их побрал, выполнять каждое его желание — добиться этого ему помогут маленький хозяин лавки и его товар.

А вообще-то со всеми этими делами будет уйма хлопот. Он сел и задумался, и душу его снова заполнил мрак, как повторялось уже многие годы. Опять приступ хандры.

Чего можно добиться в этом мире? Чего ради он живет? Ох, и устал же он!

Иногда, вот как сегодня ночью и столькими другими ночами за все прошедшие долгие годы, мелькала мысль: а неплохо было бы, если бы люди с пистолетами догнали его и по самую макушку начинили параличом. Иногда, будь у него в руке пистолет, он бы и сам себе разнес череп.

Внезапный взрыв. Кроуэлл поднялся. Замер. Упал на колени.

Он совсем забыл о трубке у себя во рту — забыл о том, что у него во рту чепушинка.

Способ, каким она ему об этом напомнила, привел, как это ни прискорбно, к фатальным последствиям.

ЧУДЕСНЫЙ КОСТЮМ ЦВЕТА СЛИВОЧНОГО МОРОЖЕНОГО

На город опускались летние сумерки. Из дверей бильярдной, где мягко постукивали шары, вышли трое молодых мексиканцев подышать теплым вечерним воздухом, а заодно и поглядеть на мир. Они то лениво переговаривались между собой, то молча смотрели, как по горячему асфальту, словно черные пантеры, скользят лимузины или, разбрасывая громы и молнии, как грозовая туча, проносятся трамваи, затихая вдали.

— Эх,— вздохнул Мартинес, самый молодой и самый печальный из троих.— Чудесный вечер, а, ребята? Чудесный...

Ему казалось, что в этот вечер мир то приближается к нему, то снова отдаляется. Снующие мимо прохожие вдруг оказывались словно на противоположном тротуаре, а

дома, стоящие на расстоянии пяти миль, вдруг низко склонялись над ним. Но чаще люди, машины, дома были где-то по ту сторону невидимого барьера и были недосягаемы. В этот жаркий летний вечер лицо юного Мартинеса застыло, словно скованное морозом.

— В такие вечера хорошо мечтать... мечтать о многом...

— Мечтать! — воскликнул тот, которого звали Вильянасул. У себя в комнатушке он вслух громко читал книги, но на улице всегда говорил почти шепотом.— Мечтать — это бесполезное занятие для безработных.

— Безработных? — воскликнул небритый Ваменос.— Вы только послушайте! А кто же мы, по-твоему? У нас ведь тоже нет ни работы, ни денег.

— Это верно.— Взгляд Вильянасула был устремлен в сторону площади, где тихий летний ветерок шевелил кроны пальм.— Знаете, чего бы мне хотелось? Мне хотелось бы пойти на площадь, потолкаться среди деловых людей, побеседовать с теми, кто приходит туда по вечерам, чтобы поговорить о делах на бирже. Но пока я так одет, пока я бедняк, они не станут со мной разговаривать. Ничего, Мартинес, зато у нас троих есть дружба. А дружба бедняков — это что-нибудь да значит. Это настоящая дружба... Мы...

В эту минуту мимо прошел красивый молодой мексиканец с тонкими усиками, на каждой руке у него повисла хохочущая девица.

— *Madre mia!* — хлопнул себя по лбу Мартинес.— А как вот этому удалось подцепить сразу двух подруг?

— Ему помог его красивый белый костюм.— Ваменос грыз свой грязный ноготь.— Видать, он из ловкачей.

Прислонясь к стене, Мартинес провожал взглядом хохочущую компанию. В доме напротив открылось окно четвертого этажа, и из него выглянула красивая девушка, ветер ласково заиграл ее черными волосами. Мартинес знал эту девушку вечность, целых шесть недель. Он кивал ей головой, он приветственно поднимал руку, улыбался, подмигивал, даже кланялся ей на улице или когда, навещая друзей, встречал ее в вестибюле дома, или в городском парке, или в центре города. Но девушка подставила лицо ветру. Юноша не существовал для нее — его словно и не было.

— *Madre mia!* — Мартинес отвел от нее взгляд и снова посмотрел вдоль улицы; мексиканец и девицы уже заворачивали за угол.— Эх, был бы у меня такой костюм! Мне не нужно даже денег, только бы иметь приличный костюм.

— Не знаю, стоит ли советовать,— вдруг сказал Вильянасул,— но что, если бы тебе повидаться с Гомесом. Он уже месяц что-то толкует насчет костюма. Я пообещал ему, что войду в пай, лишь бы отвязаться. Уж этот Гомес!

— Эй, приятель,— раздался чей-то тихий голос.

— Гомес!

Трое друзей обернулись и с любопытством уставились на подошедшего.

С какой-то странной улыбкой Гомес вытащил бесконечно длинную желтую ленту, которая заплескалась и зашелестела на ветру.

— Гомес! — воскликнул Мартинес.— Зачем тебе портновский метр?

Гомес расплылся в улыбке.

— Я снимаю мерку.

— Мерку?

— Стой спокойно.— Гомес окинул Мартинеса оценивающим взглядом.— *Caramba!* Где же ты был все это время? А ну-ка, давай!

Мартинес почувствовал, как ему измеряют длину руки, ноги, затем объем груди.

— Стой спокойно! — покрикивал Гомес.— Руки — точно. Ноги, грудь — великолепно! А теперь быстрее рост! Пять футов, пять дюймов! Подходишь! Давай руку! — Тряся Мартинеса за руку, он вдруг воскликнул: — Подожди, а есть у тебя десять долларов?

— У меня есть! — Ваменос помахал грязными бумажками.— Сними мерку с меня, Гомес.

— Весь мой капитал — это девять долларов девяносто два цента.— Мартинес пошарил в карманах.— Ты считаешь, что этого хватит на новый костюм? Как же это так?

— А так. Потому что у тебя подходящий размер!

— Сеньор Гомес, но я совсем не знаю вас...

— Не знаешь? Ничего, теперь мы будем жить вместе. Пошли!

Гомес исчез в дверях бильярдной. Мартинес, сопровождаемый деликатным Вильянасулом и подталкиваемый нетерпеливым Ваменосом, тоже очутился в бильярдной.

— Домингес! — позвал Гомес.

Разговаривавший по телефону Домингес подмигнул вошедшим. В трубке пронзительно пищал женский голос.

— Мануло! — крикнул Гомес.

Мануло, опрокидывающий в рот содержимое винной бутылки, обернулся.

Гомес указал на Мартинеса:

— Я нашел нам пятого партнера!

Домингес ответил:

— У меня свидание, не мешай...— И вдруг умолк. Трубка выпала у него из рук. Маленькая черная записная книжка, полная имен и телефонов, быстро исчезла в кармане.— Гомес, ты?!

— Да, да! Давай скорее деньги. Выкладывай!

В телефонной трубке продолжал пищать женский голос.

Домингес в нерешительности поглядывал на трубку.

Мануло поглядывал то на пустую бутылку, которую продолжал держать в руках, то на вывеску винной лавки напротив.

Мануло и Домингес неохотно выложили по десять долларов на зеленое сукно бильярдного стола.

Изумленный Вильянасул последовал их примеру. То же самое сделал и Гомес, толкнув в бок Мартинеса. Мартинес пересчитал смятые бумажки и мелочь. Гомес жестом опытного крупье сгреб деньги.

— Пятьдесят долларов! Костюм стоит шестьдесят! Нам нужны еще десять долларов.

— Погоди, Гомес! — воскликнул Мартинес.— Ты говоришь об одном костюме? *Uno*?

— *Uno!* — Гомес поднял кверху палец.— Один великолепный летний костюм цвета сливочного мороженого. Светлый-светлый, как луна в августе.

— Чей же он будет?

— Мой! — крикнул Мануло.

— Мой! — крикнул Домингес.

— Мой! — крикнул Вильянасул.

— Мой! — крикнул Гомес.— И твой, Мартинес. Друзья, покажем ему, а? Становитесь-ка все в ряд.

Вильянасул, Мануло, Домингес и Гомес выстроились в ряд у стены бильярдного зала.

— Мартинес, становись-ка и ты тоже! А теперь, Ваменос, положи нам на головы бильярдный кий.

— Сейчас, Гомес, сейчас.

Мартинес почувствовал, как на его макушку лег бильярдный кий и высунулся вперед, чтобы посмотреть, что происходит.

— О! — воскликнул он.

Кий ровно лежал на головах пятерых парней. Ваменос, широко улыбаясь, легко двигал его взад и вперед.

— Мы все одного роста! — вскричал Мартинес.

— Одного! — засмеялись приятели.

Гомес пробежал вдоль шеренги, шелестя желтым портновским метром, прикладывая его то к одному, то к другому юноше, отчего те смеялись еще громче.

— Точно! — заявил он.— Подумайте только, понадобился месяц, целых четыре недели, чтобы подобрать четырех парней одинакового роста и сложения. Целый месяц я искал и снимал мерки. Мне попадались парни ростом в пять футов и пять дюймов, но они были слишком толсты либо слишком тонки. Иногда у них были длинные руки или слишком длинные ноги. Эх, ребята, если бы вы знали, скольких пришлось обмерить! А теперь нас пятеро совсем одинаковых — в плечах и в груди, одинаковая длина рук и одинаковый вес! Ох, ребята!

Мануло, Домингес, Вильянасул, Гомес, а за ними и Мартинес встали один за другим на весы; весы-автомат, пощелкивая, выбрасывали билетики с обозначенным на них весом. Ваменос, улыбаясь во весь рот, кидал в автомат монетки. С бьющимся сердцем Мартинес прочел свой билетик.

— Сто тридцать пять фунтов... сто тридцать шесть... сто тридцать три... сто тридцать четыре... сто тридцать семь... Это чудо!

— Нет,— просто сказал Вильянасул,— это просто Гомес.

Они улыбались своему доброму гению, а он сгреб их всех в охапку.

— Ну не молодцы ли мы, ребята? — удивлялся он сам.— Все одного роста, и у всех одна мечта — костюм!

Каждый из нас будет красавцем по крайней мере один день в неделю, а?

— Я уже не помню, когда я был красивым,— сказал Мартинес.— Девушки шарахаются от меня.

— Теперь они остолбенеют от восхищения, когда увидят тебя,— сказал Гомес,— увидят в новеньком летнем костюме цвета сливочного мороженого.

— Гомес,— сказал Вильянасул,— можно мне задать тебе вопрос?

— Конечно.

— Когда мы купим этот прекрасный летний костюм цвета сливочного мороженого, не может случиться так, что ты наденешь его, сядешь в автобус и уедешь в Эль-Пасо эдак на годик, а?

— Вильянасул, Вильянасул, как можешь ты такое говорить?

— Что видят глаза, то говорит язык,— сказал Вильянасул.— А помнишь беспроигрышную лотерею, которую ты устроил и в которую так никто и не выиграл? Или компанию «Перец с мясом и фасолью», которую ты задумал создать, но только задолжал за аренду помещения?

— Ошибки молодости,— сказал Гомес.— Ну, довольно. В такую жару обязательно кто-нибудь купит наш костюм. Он стоит в витрине магазина «Солнечные костюмы фирмы Шамуэй». У меня есть пятьдесят долларов. Нам нужен еще один партнер.

Мартинес видел, как ищущий взгляд друзей пробежал по залу. Он тоже стал разглядывать присутствующих. Глаза его миновали, не останавливаясь, Ваменоса, затем неохотно вернулись к нему; он увидел грязную сорочку Ваменоса, толстые, желтые от никотина пальцы.

— Я! — наконец не выдержал Ваменос.— Снимите мерку с меня! Мои руки слишком велики от рытья канав, это верно, но фигура...

В эту минуту Мартинес снова услышал на тротуаре шаги несносного мексиканца и его хохочущих девиц.

Тень беспокойства, словно летняя тучка, пробежала по лицам друзей.

Ваменос медленно ступил на весы и опустил в автомат монету. Зажмурив глаза, он начал шептать слова молитвы:

— *Madre mia,* прошу тебя...

Автомат щелкнул и выбросил билетик. Ваменос открыл глаза.

— Смотрите! Сто тридцать пять фунтов! Еще одно чудо!

Все смотрели на билетик в правой руке Ваменоса и засаленную десятидолларовую бумажку в левой.

Гомес дрогнул. Покрывшись испариной, он облизнул губы. Затем его рука рванулась вперед и схватила деньги.

— В магазин! За костюмом! Пошли!

Они бросились из бильярдной.

В забытой телефонной трубке все еще пищал женский голос. Мартинес, выбегавший последним, повесил трубку на рычаг. Во внезапно наступившей тишине он покачал головой.

— *Santos,* это сон! Шесть человек и один костюм. Что-то будет? Безумие? Поножовщина? Убийства? Но я иду. Гомес, подожди меня!

Мартинес был молод. Он бегал быстро.

Мистер Шамуэй, владелец магазина «Солнечные костюмы фирмы Шамуэй», развешивал галстуки и вдруг замер, словно почувствовал, что перед его лавкой творится что-то необычное.

— Лео,— шепнул он помощнику.— Посмотри...

Мимо, лишь заглянув в лавку, прошел Гомес. Торопливо прошли, бросив взгляд в открытую дверь, Мануло и Домингес. Вильянасул, Мартинес и Ваменос, толкая друг друга, проделали то же самое.

— Лео.— Мистер Шамуэй проглотил слюну.— Звони в полицию.

Вдруг все шестеро выросли в дверях. Зажатый между приятелями Мартинес, с неприятным ощущением в желудке, с возбужденным красным лицом, улыбался так широко, что Лео положил трубку на рычаг.

— Вот это да! — тяжело дыша, с выпученными глазами воскликнул Мартинес.— Вот шикарный костюм!

— Нет,— сказал Мануло, гладя борта другого костюма.— Вот этот.

— Есть только один-единственный костюм на свете,— спокойно заявил Гомес.— Мистер Шамуэй, костюм цвета сливочного мороженого, размер тридцать четыре, он был на витрине час назад. Неужели вы его продали?

— Продал? Нет, нет,— облегченно вздохнув, воскликнул мистер Шамуэй.— Он в примерочной. На манекене.

Мартинес не помнил, он ли первым бросился вперед и увлек остальных или это они побежали и увлекли его за собой, но все вдруг пришло в движение. Мистер Шамуэй поторопился опередить их.

— Сюда, сюда джентльмены. Ну, а который же из вас...

— Один за всех, все за одного! — услышал свой голос Мартинес и рассмеялся.— Мы все примеряем этот костюм.

— Все? — Мистер Шамуэй ухватился за занавес примерочной, словно его магазин вдруг стал кораблем, попавшим в шторм. Он глядел на них непонимающим взглядом.

«Смотри, смотри,— думал Мартинес,— видишь, мы улыбаемся. А теперь посмотри на наши фигуры. Смерь-ка отсюда сюда и оттуда туда, сверху вниз и снизу вверх, теперь понимаешь?»

Да, мистер Шамуэй все понял. Он кивнул головой. Он пожал плечами.

— Все! — Он широко распахнул занавес примерочной.— Сюда. Покупайте костюм, и я дам вам в придачу манекен.

Мартинес осторожно заглянул в примерочную; за ним то же проделали остальные.

Костюм был там.

И он был белый.

Мартинесу стало трудно дышать. Да он и не хотел дышать.

Ему нельзя было дышать. Он боялся, что от его дыхания костюм вдруг растает. Нет, ему достаточно лишь глядеть на этот костюм.

Наконец, глубоко, прерывисто вздохнув, он прошептал:

— *Ay, ay, caramba!*

— Глазам даже больно,— прошептал Гомес.

— Мистер Шамуэй,— услышал Мартинес шепот Лео.— Это опасный прецедент. Если все начнут покупать один костюм на шестерых...

— Лео,— сказал мистер Шамуэй,— ты когда-нибудь видел, чтобы один костюм стоимостью в пятьдесят девять долларов мог осчастливить сразу шестерых мужчин?

— Крылья ангела,— шептал Мартинес.— Белые крылья ангела.

Мартинес почувствовал, как через его плечо в примерочную просунулась голова мистера Шамуэя.

Белое сияние разлилось по примерочной.

— Знаешь, Лео,— благоговейно прошептал мистер Шамуэй.— Это действительно замечательный костюм.

Гомес, насвистывая, с громкими радостными возгласами взбежал на площадку третьего этажа, обернулся и помахал рукой друзьям; они, смеясь, взбежали за ним и, запыхавшись, тоже остановились и присели на ступеньки лестницы.

— Сегодня вечером! — крикнул Гомес.— Вы все сегодня вечером переселяетесь ко мне. Мы сэкономим на квартирной плате, на одежде, а? Ну конечно. Мартинес, костюм у тебя?

— Где же ему быть? — Мартинес высоко поднял красивую подарочную коробку.— Вот он, наш подарок друг другу.

— Ваменос, манекен у тебя?

— Вот он!

Жуя старый сигарный окурок и разбрасывая вокруг снопы искр, Ваменос вдруг оступился. Манекен упал, перевернулся раза два и с грохотом полетел вниз по ступеням.

— Ваменос! Болван! Растяпа!

Манекен тут же был отобран у Ваменоса. Подавленный Ваменос оглядывался вокруг так, словно что-то потерял.

Мануло щелкнул пальцами:

— Эй, Ваменос, надо отпраздновать. Пойди-ка возьми вина в долг.

Ваменос ринулся вниз по лестнице, словно комета, оставляя за собой хвост сигарных искр.

Друзья внесли костюм в комнату. Мартинес задержался в коридоре. Он смотрел на Гомеса.

— У тебя больной вид, Гомес.

— Так оно и есть, я болен,— сказал Гомес.— Что я наделал? — Он кивнул в сторону комнаты, где двигались тени трех приятелей, возившихся около манекена.— Я выбрал Домингеса, бабника и волокиту. Ладно. Я выбрал

Мануло, который пьет, но зато поет голосом нежным, как у девушки. Хорошо. Вильянасул читает книги. Ты по крайней мере моешь за ушами. Но что я сделал дальше? Стал я ждать? Нет. Я захотел купить этот костюм немедленно. И для этого я взял в партнеры неотесанного чурбана и дал ему право надевать мой костюм...— Он растерянно умолк.— Он наденет его, упадет в нем в грязь или выйдет под дождь. Зачем, зачем я сделал это?

— Гомес,— послышался шепот Вильянасула из комнаты.— Костюм уже готов. Иди взгляни, как он выглядит при свете твоей лампочки.

Гомес и Мартинес вошли.

В центре комнаты на манекене висело фосфоресцирующее чудо, белое, сияющее видение с необыкновенно отутюженными лацканами, с потрясающе аккуратными стежками и безукоризненной петлицей. Белый отблеск костюма упал на лицо Мартинеса, и ему показалось, что он в церкви. Белый! Белый! Словно самое белое из всех белых ванильных мороженых, словно парное молоко, доставляемое молочником на рассвете. Белый, как одинокое зимнее облако в лунную ночь. От одного его вида в этой душной летней комнате дыхание людей застывало в воздухе. Даже закрыв глаза, Мартинес его видел. Он знал, какого цвета сны будут сниться ему в эту ночь.

— Белый...— шепнул Вильянасул.— Белый, как снег на вершине горы возле нашего городка в Мексике; эту гору называют Спящая.

— Повтори, что ты сказал,— попросил его Гомес.

Гордый и несколько смущенный Вильянасул был рад повторить:

— Белый, как снег на вершине горы, которую называют...

— А вот и я!

Они испуганно обернулись. В дверях стоял Ваменос с бутылками в руках.

— Празднуем! Глядите, что я принес! А теперь скажите, кто же наденет костюм сегодня? Я?

— Сейчас уже поздно,— возразил Гомес.

— Поздно! Всего четверть десятого.

— Поздно? — возмущенно повторили остальные.— Поздно?

Гомес попятился назад от этих людей, которые горя-

щими глазами смотрели то на него, то на костюм, то в открытое окно.

За окном внизу, думал Мартинес, был, в сущности, чудесный субботний вечер, и в теплых спокойных сумерках плыли женщины, словно цветы, брошенные в тихие воды ручья. Печальный стон вырвался из груди мужчин.

— Гомес, у меня предложение.— Вильянасул смочил языком кончик карандаша и на листке блокнота составил расписание: — Ты носишь костюм с девяти тридцати до десяти, Мачуло — до десяти тридцати, Домингес — до одиннадцати, я — до половины двенадцатого, Мартинес — до двенадцати, а...

— Почему я должен быть последним? — недовольно воскликнул Ваменос.

Мартинес быстро нашелся и сказал с улыбкой:

— А ведь после двенадцати самое лучшее время, дружище.

— Это верно,— согласился Ваменос.— Я не подумал об этом. Ладно.

Гомес вздохнул:

— Хорошо. Каждый по полчаса. Но с завтрашнего дня, запомните, каждый из нас надевает костюм только раз в неделю. А в воскресенье мы тянем жребий, кому надеть его еще раз.

— Мне! — со смехом воскликнул Ваменос.— Я везучий.

Гомес крепко ухватился за Мартинеса.

— Гомес, ты первый. Надевай же,— подтолкнул его Мартинес.

Гомес не мог оторвать глаз от злополучного Ваменоса. Наконец жестом отчаяния он сорвал с себя сорочку.

— Э-эх!

Тихий шелест полотна — чистая сорочка.

— Ох!..

«Как приятна на ощупь чистая одежда! — думал Мартинес, держа наготове пиджак.— Как она приятно шуршит, как приятно пахнет!»

Позвякивание пряжек — брюки; шелест — галстук, подтяжки.

Шорох — Мартинес набросил пиджак, и он ловко сел на податливые плечи Гомеса.

— *Ole!*

Гомес повернулся, как матадор, в чудесном, излучающем сияние костюме.

— *Ole,* Гомес, *ole!*

Гомес отвесил поклон и направился к двери.

Мартинес впился глазами в циферблат своих часов. Ровно в десять он услышал чьи-то неуверенные шаги в коридоре, словно человек заблудился. Он открыл дверь и выглянул.

По коридору бесцельно брел Гомес.

«У него больной вид,— подумал Мартинес.— Нет, у него потерянный, потрясенный, удивленный вид».

— Сюда, Гомес, сюда!

Гомес круто повернулся и наконец нашел дверь.

— О, друзья, друзья,— сказал он.— Друзья, вы не представляете!.. Этот костюм, этот костюм!..

— Расскажи нам, Гомес! — попросил Мартинес.

— Не могу, не могу! — Гомес возвел глаза к небу, поднял кверху широко раскинутые руки.

— Расскажи, Гомес!

— Нет слов, нет слов. Вы должны увидеть сами. Да, да, сами...— Он молчал, тряся головой, пока не вспомнил, что все стоят и ждут.— Кто следующий? Мануло!

Мануло в одних трусах выскочил вперед.

— Я готов!

Все засмеялись, закричали, засвистели.

Мануло, надев костюм, ушел. Его не было двадцать девять минут и тридцать секунд. Он вошел в комнату, не отпуская ручку двери, он держался руками за стену, он ощупывал собственные руки, проводил ладонями по лицу.

— Дайте мне рассказать вам,— наконец промолвил он.— *Compadres,* я зашел в бар. Нет, я не заходил в бар, слышите? Я не пил. Потому что, пока я шел туда, я уже начал смеяться и петь. «Почему? Почему?» — спрашивал я сам себя. Потому что от этого костюма мне стало веселее, чем от вина. От этого костюма я стал пьян, пьян, пьян! Поэтому я зашел в закусочную «Гвадалахара», играл там на гитаре и спел четыре песни очень высоким голосом. Этот костюм, ах, этот костюм!

Домингес — теперь была его очередь — ушел и вернулся.

«Черная записная книжка с телефонными номерами,—

подумал Мартинес.— Она была у него в руках, когда он уходил. А теперь руки его пусты. Что это? Что?»

— На улице,— сказал Домингес с широко открытыми глазами, переживая все заново,— когда я шел, одна женщина воскликнула: «Домингес, неужели это ты?» А другая сказала: «Домингес? Нет, это сам Кетсалкоатл, Великий Белый Бог, пришедший с Востока». Слышите? И мне сразу же расхотелось встречаться одновременно с шестью, с восемью женщинами. Должна быть одна, подумал я, одна! И кто знает, что я скажу ей, этой одной. «Будь моей». Или: «Выходи за меня замуж». *Caramba!* Этот костюм опасен. Но мне плевать на это. Я живу, я живу! Гомес, с тобой тоже такое творилось?

Гомес, все еще ошеломленный тем, что пережил в этот вечер, покачал головой.

— Не надо, не говори. Слишком много всего. Потом. Вильянасул!

Вильянасул смущенно вышел вперед.

Вильянасул смущенно покинул комнату. Вильянасул смущенно вернулся обратно.

— Представьте,— сказал он, ни на кого не глядя, опустив глаза вниз, словно обращался к половицам.— Зеленая площадь, группа пожилых коммерсантов и дельцов под открытым звездным небом — они говорят, кивают головой, опять говорят. Потом один из них что-то шепчет, все поворачиваются, расступаются, и через образовавшийся проход, словно сноп света сквозь льдину, проходит белое видение, а внутри него — я. Я делаю глубокий вдох, в животе у меня словно желе, голос мой еле слышен, но вот он становится громче. Что же я говорю? Я говорю: «Друзья, вы читали «*Sartor Resartus*» Карлейля? В этой книге мы находим изложение его философии одежды...»

Наконец пришла очередь Мартинеса надеть костюм и отправиться в неизвестность.

Четыре раза он обошел квартал, четыре раза останавливался под балконом дома и глядел вверх на освещенное окно: там двигалась тень — за этим окном была прекрасная девушка, она появлялась и исчезала. Лишь на пятый раз он увидел ее на балконе — летняя жара выгнала ее из комнаты подышать ночной прохладой. Она посмотрела вниз. Она сделала знак.

Вначале ему показалось, что она машет ему. Ему пока-

залось, что он привлек ее внимание, словно белый гейзер. Но она никому не махала. Еще жест — и пара очков в темной оправе украсила ее переносицу. Девушка посмотрела на Мартинеса.

«Ага, вот оно что! — подумал он.— Ну что ж, даже слепые видят этот костюм». Он улыбнулся ей. Ему уже не надо было махать ей рукой. Наконец-то и она улыбнулась в ответ. И ей тоже не надо было махать ему рукой. А потом — возможно, потому, что он не знал, как ему быть дальше и как избавиться от улыбки, которая растянула его рот до ушей,— он бросился наутек и завернул за угол, чувствуя на себе взгляд девушки. Когда он обернулся, она уже сняла очки и следила близоруким взглядом за тем, что ей, должно быть, казалось движущимся белым пятном в темноте. Затем, чтобы прийти в себя, он снова завернул за угол и зашагал через весь город, ставший внезапно таким прекрасным, что ему захотелось кричать, смеяться и снова кричать.

Возвращаясь, он шел медленно, словно во сне, с полузакрытыми глазами; и когда он появился в дверях, все увидели не Мартинеса, а самих себя, возвращающихся домой. И все вдруг поняли, что с ними что-то происходит...

— Ты опоздал! — воскликнул Ваменос, но тут же умолк. Нельзя было разрушать чары.

— Скажите мне, кто я? — сказал Мартинес.

Медленно он сделал круг по комнате.

Да, думал он, это сделал костюм и все, что связано с ним, то, как они пошли все вместе в магазин, смеющиеся и, как сказал Мануло, без вина пьяные.

По мере того как сгущалась темнота и каждый по очереди натягивал брюки, балансируя на одной ноге и держась рукой за плечи других, чувства их росли, становились теплее, лучше; один за другим они выходили за дверь, один за другим возвращались, пока снова не пришел черед Мартинеса стоять во всем великолепии и белизне, так, словно он готовился отдать какое-то приказание и все должны были умолкнуть и расступиться.

— Мартинес, пока тебя не было, мы достали три зеркала. Посмотри.

В зеркалах, поставленных, как в магазине, отражалось три Мартинеса, а за ним тени и эхо тех, кто надевал костюм до него и ходил глядеть на сверкающий мир. В блес-

стящей глади зеркал Мартинес увидел огромность того, что они переживали, и глаза его наполнились слезами. Другие тоже заморгали. Мартинес коснулся зеркал. Они задрожали. Мартинес увидел тысячу, миллион Мартинесов в белоснежных одеяниях, проходящих через вечность, еще и еще раз отраженных в ней, не исчезающих и нескончаемых.

Он поднял белый пиджак в воздух. В оцепенении остальные не сразу сообразили, чья грязная рука протянулась к нему.

А затем:

— Ваменос!

— Свинья!

— Ты даже не умылся! — закричал Гомес.— И не побрился, пока ждал. *Compadres*, в ванну его!

— В ванну! — закричали все.

— Нет! — завопил Ваменос.— Ночной воздух, я заболею.

Кричащего Ваменоса поволокли в ванну.

Ваменос был почти неправдоподобен в белом костюме, побритый, причесанный, с чистыми ногтями.

Его друзья мрачно взирали на него.

Ибо разве не верно, думал Мартинес, что, когда идет Ваменос, лавины низвергаются с гор, а когда он проходит по тротуару, обитателям домов хочется плеваться из окон, или выливать помои, или еще хуже. Сегодня, в этот вечер, Ваменос пройдет под тысячами раскрытых окон, балконов, по глухим, темным переулкам. Мир жужжит от мух, а Ваменос похож на свежезамороженный торт.

— Ты действительно здорово выглядишь в этом костюме, Ваменос,— грустно сказал Мануло.

— Спасибо.— Ваменос передернул плечами, чтобы поудобнее чувствовать себя в костюме, в котором только что перебывали все его друзья. Тихим голосом он спросил: — Теперь я могу идти?

— Вильянасул! — сказал Гомес.— Запиши-ка ему правила.

Вильянасул послюнил огрызок карандаша.

— Во-первых,— диктовал Гомес,— ты не имеешь права падать в этом костюме, Ваменос.

— Не буду.

— Прислоняться к стенам домов.

— Никаких стен.

— Ходить под деревьями, где гнездятся птицы. Курить. Пить...

— Пожалуйста,— взмолился Ваменос,— можно мне садиться в этом костюме?

— Если стул не шибко чистый, снимай брюки и вешай на спинку стула.

— Пожелайте мне счастья,— сказал Ваменос.

— С богом, Ваменос.

Он вышел и захлопнул за собой дверь. И вдруг все услышали звук рвущейся материи.

— Ваменос! — завопил Мартинес.

Он бросился к двери, распахнул ее.

Ваменос держал в руке разорванный надвое носовой платок и хохотал.

— Тр-р-р! Видели бы вы свои рожи! Тр-р-р! — Он разорвал платок в клочья.— Ну и рожи! Вот умора. Ха-ха-ха!

С громоподобным хохотом Ваменос захлопнул перед обескураженными друзьями дверь и ушел.

Гомес схватился за голову и отвернулся.

— Бейте меня, бросайте в меня камнями. Я продал наши души дьяволу.

Вильянасул сунул руку в карман, вытащил серебряную монетку и долго глядел на нее.

— Вот мои последние пятьдесят центов. Кто еще может дать деньги, чтобы выкупить у Ваменоса его часть костюма?

— Бесполезно.— Мануло показал десять центов.— Этого хватит выкупить лишь борта да петлицы.

Гомес, стоявший у открытого окна, внезапно высунулся из него и закричал:

— Нет, Ваменос, нет!

Внизу на улице испуганный Ваменос погасил спичку и швырнул на землю где-то подобранный сигарный окурок. Он сделал какой-то странный жест приятелям, глядевшим в окно, затем небрежно помахал им рукой и зашагал прочь.

Пятеро друзей не могли отойти от окна, тесня и толкая друг друга.

— Клянусь, он в этом костюме будет есть шницель по-

гамбургски,— с тоской прошептал Вильянасул.— Я думаю о горчице.

— Перестань! — воскликнул Гомес.— Не может этого быть! Не может!

Внезапно Мануло очутился у двери.

— Мне необходимо промочить горло.

— Мануло, вино в бутылке на полу...

Но Мануло был уже за дверью. Через минуту Вильянасул с деланно безразличным видом потянулся и прошелся по комнате.

— Пожалуй, пойду прогуляюсь до площади, друзья.

Не прошло и минуты после его ухода, как Домингес, помахав друзьям записной книжкой, подмигнул и взялся за дверную ручку.

— Домингес! — окликнул его Гомес.

— Что?

— Если случайно увидишь Ваменоса, скажи ему, чтобы не ходил к Мики Мурильо в «Красный петух». Там драки не только на экране телевизора.

— Он не посмеет пойти к Мурильо,— сказал Домингес.— Ваменосу слишком дорог этот костюм. Он не сделает ничего такого, что может причинить костюму вред.

— Он скорее убьет родную мать,— добавил Мартинес.

— Уверен, что он способен на это,— сказал Гомес.

Мартинес и Гомес остались одни в комнате, прислушиваясь к торопливым шагам Домингеса, сбегавшего по лестнице. Они обошли вокруг голого манекена. Затем, покусывая губы, Гомес долго стоял у раскрытого окна и глядел вниз. Рука его дважды касалась нагрудного кармана сорочки, и каждый раз он отдергивал ее. Наконец он вынул что-то из кармана и, даже не взглянув, протянул Мартинесу.

— Возьми, Мартинес.

— Что это?

Мартинес глядел на сложенную вдвое розовую бумажку с какими-то цифрами и словами. Глаза его расширились от удивления.

— Билет на автобус, отходящий в Эль-Пасо через три недели?

Гомес кивнул. Он не смотрел на Мартинеса. Он смотрел в окно на летнюю ночь.

— Верни его в кассу и получи обратно деньги,— ска-

зал он.— Купи к нашему костюму хорошую белую панаму и бледно-голубой галстук. Сделай это, Мартинес.

— Гомес...

— Молчи. Ну и духота же здесь! Мне надо подышать свежим воздухом.

— Гомес! Я тронут, Гомес...

Дверь комнаты зияла пустотой. Гомес ушел.

«Красный петух» — кафе и коктейль-бар Мики Мурильо — был зажат между двумя высокими кирпичными домами и поэтому, будучи узким по фасаду, вынужден был вытянуться вглубь. Снаружи шипел, гас и снова загорался неоновый серпантин вывески. Внутри проплывали мимо окон и снова исчезали в глубине бурлящего ночного бара туманные тени.

Мартинес, приподнявшись на носках, заглянул в светлый глазок размалеванного красной краской окна.

Он почувствовал чье-то присутствие слева от себя и чье-то дыхание справа. Он посмотрел налево, потом направо.

— Мануло! Вильянасул!

— Я пришел к выводу, что мне совсем не хочется пить,— сказал Мануло.— Я решил просто прогуляться.

— Я шел в сторону площади,— сказал Вильянасул,— но мне захотелось пройти этой дорогой.

Словно сговорившись, все трое тут же умолкли и, встав на цыпочки, стали смотреть в бар через глазки в размалеванном окне.

Спустя несколько мгновений они почувствовали за спиной чье-то частое дыхание.

— Что, наш белый костюм там? — услышали они голос Гомеса.

— Гомес! — воскликнули все трое удивленно.— Хэй!

— Да! — сказал Домингес, который только сейчас нашел удобный глазок в окне.— Вот он! И хвала Господу, он все еще на плечах у Ваменоса.

— Я не вижу! — Гомес прищурился и приложил ладонь козырьком к глазам.— Что он там делает?

Мартинес тоже посмотрел. Да, там, в глубине бара, белое снежное пятно, идиотская ухмылка Ваменоса и клубы дыма.

— Он курит! — сказал Мартинес.

— Он пьет! — сказал Домингес.

— Он ест та́ко,— сообщил Вильянасул.

— Сочное та́ко,— добавил Мануло.

— Нет! — воскликнул Гомес.— Нет, нет, нет!..

— С ним Губи Эскадрильо!

— Дайте-ка мне взглянуть! — Гомес оттолкнул Мартинеса.

Да, это Руби — сто килограммов жира, втиснутые в расшитый блестками тугой черный шелк; пунцовые ногти впились в плечи Вамеиоса; обсыпанное пудрой, измазанное губной помадой тупое коровье лицо наклонилось к его лицу.

— Это гиппопотамша!..— воскликнул Домингес.— Она изуродует плечи костюма. Посмотрите, она собирается сесть к нему на колени!

— Нет, нет, ни за что! Такая намазанная и накрашенная! — застонал Гомес.— Мануло, марш туда! Отними у него стакан. Вильянасул, хватай сигару и та́ко! Домингес, назначь свидание Руби Эскадрильо и уведи ее отсюда. Пошли, ребята!

Трое исчезли, оставив Гомеса и Мартинеса подглядывать, ахая от ужаса, в окно.

— Мануло отнял стакан, он выпивает вино!

— *Ole!* А вон Вильянасул, он схватил сигару, он ест та́ко.

— Хэй, Домингес отводит в сторону Руби! Вот молодец!

Какая-то тень скользнула с улицы в дверь заведения Мурильо.

— Гомес! — Мартинес схватил Гомеса за руку.— Это Бык Ла Джолья, дружок Руби. Если он увидит ее с Вамеиосом, белоснежный костюм будет залит кровью, кровью!..

— Не пугай меня,— воскликнул Гомес.— А ну быстрее!

Оба бросились в бар. Они были около Вамеиоса, как раз когда Бык Ла Джолья сгреб обеими руками лацканы прекрасного костюма цвета сливочного мороженого.

— Отпусти Вамеиоса! — закричал Мартинес.

— Отпусти костюм,— уточнил Гомес.

Бык Ла Джолья и приподнятый вверх и приплясываю-

щий на цыпочках Ваменос злобно уставились на непрошеных гостей.

Вильянасул застенчиво вышел вперед. Вильянасул улыбнулся:

— Не бей его. Ударь лучше меня.

Бык Ла Джолья ударил Вильянасула в лицо. Вильянасул, схватившись за разбитый нос, с глазами, полными слез, отошел в сторону.

Гомес схватил Быка за одну ногу, Мартинес за другую.

— Пусти его, пусти, *cabrón, coyote, vaca!*

Но Бык Ла Джолья еще крепче ухватил ручищами лацканы костюма, и все шестеро друзей застонали от отчаяния. Он то отпускал лацканы, то снова мял их в кулаке. Он готовился как следует рассчитаться с Ваменосом, но к нему снова приблизился Вильянасул с мокрыми от слез глазами.

— Не бей его, бей меня.

Когда Ла Джолья снова ударил Вильянасула, на его собственную голову обрушился сокрушительный удар стулом.

— *Ai!* — воскликнул Гомес.

Бык Ла Джолья пошатнулся, заморгал глазами, словно раздумывая, растянуться ему на полу или не стоит, однако не отпустил Ваменоса.

— Пусти! — закричал Гомес.— Пусти!

Один за другим толстые, как сосиски, пальцы Быка разжались и отпустили лацканы костюма. Через секунду он уже неподвижно лежал на полу.

— Друзья, сюда!

Они вытолкнули Ваменоса на улицу; там с видом оскорбленного достоинства он высвободился из их рук.

— Ладно, ладно, мое время еще не истекло. У меня еще две минуты и десять секунд.

— Что? — возмущенно воскликнули все.

— Ваменос,— сказал Гомес,— ты позволил, чтобы гвадалахарская корова села тебе на колени, ты затеваешь драки, ты куришь, пьешь, ешь тáко, а теперь еще осмеливаешься говорить, что твое время не истекло!

— У меня еще две минуты и одна секунда.

— Эй, Ваменос, какой ты сегодня шикарный! — донесся с противоположного тротуара женский голос.

Ваменос улыбнулся и застегнул пиджак.

— Это Рамона Альварес. Эй, Рамона, подожди!

Ваменос ступил на мостовую.

— Ваменос! — умоляюще крикнул вдогонку Гомес.— Что можешь ты сделать в одну минуту...— он взглянул на часы,— и сорок секунд?

— Вот увидите. Рамона!

Ваменос устремился к цели.

— Ваменос, берегись!

Удивленный Ваменос круто обернулся и увидел машину, услышал скрежет тормозов.

— Нет! — завопили пятеро друзей на тротуаре.

Услышав глухой удар, Мартинес содрогнулся. Он поднял голову — казалось, кто-то швырнул в воздух охапку белого белья. Он закрыл глаза.

Теперь он слыхал каждый звук. Кто-то с шумом втянул в себя воздух; кто-то громко выдохнул. Кто-то задохнулся, кто-то застонал, кто-то громко взывал к милосердию, а кто-то закрыл руками лицо. Мартинес почувствовал, что сам он колотит себя кулаками в грудь. Ноги его словно приросли к земле.

— Я не хочу больше жить,— тихо сказал Гомес.— Убейте меня кто-нибудь.

Тогда, неуклюже покачиваясь, Мартинес взглянул на свои ноги и приказал им двигаться. Он наткнулся на кого-то из друзей — они все теперь двинулись вперед. Они пересекли улицу тяжело, с трудом, словно перешли вброд глубокую реку, и обступили лежавшего Ваменоса.

— Ваменос! — воскликнул Мартинес.— Ты жив?

Лежа на спине, с открытым ртом и крепко зажмуренными глазами, Ваменос тряс головой и тихо стонал.

— Скажите мне, о, скажите мне...

— Что тебе сказать, Ваменос?

Ваменос сжал кулаки, заскрежетал зубами.

— Костюм... Что я сделал с костюмом... Костюм, костюм!..

Приятели нагнулись к нему пониже.

— Ваменос!.. Он цел!

— Вы лжете! — крикнул Ваменос.— Он разорван, он не может быть не разорван, он разорван весь... и подкладка тоже!

— Нет.— Мартинес стал на колени и ощупал костюм.— Ваменос, он цел, даже подкладка.

Ваменос открыл глаза и наконец дал волю слезам.

— Чудо,— рыдая, вымолвил он.— Славьте всех святых.— Он с трудом приходил в себя.— А машина?

— Сшибла тебя и скрылась! — Только сейчас Гомес вспомнил о машине и гневно посмотрел вдоль пустой улицы.— Счастье его, что он успел удрать. Мы бы его...

Все прислушались.

Где-то вдалеке завыла сирена.

Кто-то вызвал «скорую помощь».

— Быстро! — яростно выкрикнул Ваменос, ворочая белками.— Посадите меня! Снимайте пиджак!

— Ваменос...

— Замолчите, идиоты! — орал Ваменос.— Пиджак! А теперь брюки, брюки, побыстрей! Вы знаете докторов? Вы видели, какими их показывают в кино? Чтобы снять брюки с человека, они разрезают их бритвой. Им плевать! Они сущие маньяки. О Господи, быстрее!

Сирена выла.

Друзья в панике все вместе бросились раздевать Ваменоса.

— Правую ногу, да осторожней. Побыстрее, ослы! Хорошо. Теперь левую, слышите, левую. Поосторожней! О Господи! Быстрее! Мартинес, снимай с себя брюки!

— Что?! — застыл от неожиданности Мартинес.

Сирена ревела.

— Идиот! — стонал Ваменос.— Все пропало. Давай брюки.

Мартинес рванул ремень.

— Станьте в круг.

В воздухе мелькнули темные брюки, светлые брюки.

— Скорее, маньяки с бритвами уже здесь. Правую ногу, левую ногу, вот так. Молнию, ослы, застегните мне молнию,— бормотал Ваменос.

Сирена умолкла.

— *Madre mia,* еле успели. Они уже здесь.— Ваменос вытянулся на земле и закрыл глаза.— Спасибо, ребята.

Когда мимо него проходили санитары, Мартинес, отвернувшись, с невозмутимым видом застегивал ремень белых брюк.

— Перелом ноги,— сказал один из санитаров, когда Ваменоса укладывали на носилки.

— Ребята,— сказал Ваменос,— не сердитесь на меня.

— Кто сердится? — хмыкнул Гомес.

Уже из машины, лежа на носилках с запрокинутой головой, так что ему все виделось как бы вверх ногами, Ваменос, запинаясь, сказал:

— Ребята, когда... когда я вернусь из больницы... вы меня не выбросите из компании? Знаете что, я брошу курить, никогда и близко не подойду к бару Мурильо, зарекаюсь глядеть на женщин...

— Ваменос,— мягко сказал Мартинес,— не надо клятв.

Запрокинутая голова Ваменоса с глазами, полными слез, глядела на Мартинеса в белоснежном костюме.

— О Мартинес, тебе так идет этот костюм. *Compadres*, да ведь он у нас просто красавец!

Вильянасул сел в машину возле Ваменоса. Дверца захлопнулась. Четверо друзей смотрели, как отъехала машина.

А потом под надежной охраной, в белом как снег костюме, Мартинес благополучно перешел мостовую и ступил на тротуар.

Придя домой, Мартинес достал жидкость для удаления пятен. Друзья, окружив его, наперебой советовали, как чистить костюм, а потом — как его лучше отгладить, и не слишком горячим утюгом, особенно лацканы и складку на брюках...

Когда костюм был вычищен и отглажен так, что снова стал похож на только что распустившуюся белую гардению, его повесили на манекен.

— Два часа ночи,— пробормотал Вильянасул.— Надеюсь, Ваменос спокойно спит. Когда я уходил из больницы, у него был вполне приличный вид.

Мануло откашлялся.

— Никто не собирается надевать костюм сегодня, а?

Все гневно уставились на него.

Мануло покраснел.

— Я только хотел сказать, что уже поздно. Все устали. Может, никто не будет трогать костюм сегодня, а? Дадим ему отдохнуть. Ладно? Где мы разместимся на ночь?

Ночь была душной, и спать в комнате было невоз-

можно. Взяв манекен с костюмом, прихватив с собой подушки и одеяла, друзья вышли в коридор, чтобы подняться по лестнице на крышу. Там, подумал Мартинес, ветерок и можно уснуть.

Проходя по коридору, они миновали десятки открытых дверей, где люди, обливаясь пóтом от жары, все еще не спали, играли в карты, пили содовую и обмахивались вместо вееров старыми киножурналами.

«А что, если?.. А что...— думал Мартинес.— Да так оно и есть!»

Четвертая дверь, ее дверь, была тоже открытой. И когда они проходили мимо этой двери, красивая девушка подняла голову. Она была в очках, но, увидев Мартинеса, поспешно сняла их и накрыла книгой.

Друзья прошли мимо, даже не заметив, что Мартинес отстал, что он остановился как вкопанный в дверях чужой комнаты.

Он долго не мог произнести ни слова. Потом наконец представился:

— Хосе Мартинес.

— Селия Обрегон,— ответила девушка.

И оба снова умолкли.

Мартинес слышал, как его друзья уже ходят по крыше. Он повернулся, чтобы уйти, уже сделал несколько шагов, как девушка вдруг торопливо сказала:

— Я видела вас сегодня.

Мартинес вернулся.

— Мой костюм,— сказал он.

— Костюм? — Девушка умолкла, раздумывая.— При чем здесь костюм?

— Как при чем? — воскликнул Мартинес.

Девушка подняла книгу и показала лежавшие под ней очки. Она коснулась их рукой.

— Я очень близорука. Мне надо постоянно носить очки. Но я много лет отказываюсь от них, я прячу их, чтобы никто меня в них не видел, поэтому я почти не вижу. Но сегодня даже без очков я увидела. Огромное белое облако, выплывшее из темноты. Такое белое-белое! Я быстро надела очки.

— Я же сказал — костюм! — воскликнул Мартинес.

— Да, сначала белоснежный костюм, а потом совсем другое.

— Другое?

— Да, ваши зубы. Такие белые-белые.

Мартинес поднес руку к губам.

— Вы были такой счастливый, мистер Мартинес,— сказала девушка.— Я еще не видела такого счастливого лица и улыбки.

— А-а,— ответил он, заливаясь краской, не в силах посмотреть ей в лицо.

— Так что видите,— продолжала девушка,— ваш костюм привлек мое внимание, это верно, как белое видение в ночи. Но ваши зубы были еще белее. А о костюме я уже забыла.

Мартинес еще сильнее покраснел. Девушка тоже была смущена. Она надела очки, но снова поспешно сняла их и спрятала. Она посмотрела на свои руки, а потом куда-то поверх его головы в открытую дверь.

— Можно мне...— наконец сказал Мартинес.

— Что можно?

— Можно мне зайти к вам, когда снова придет моя очередь надеть костюм?

— Зачем вам костюм?

— Я думал...

— Вам не нужен костюм.

— Но...

— Если бы все дело было в костюме,— сказала девушка,— каждый смог бы стать красивым. Я наблюдала. Я видела многих в таких костюмах, и все они были другими. Говорю, вам не надо ждать этого костюма!

— *Madre mia, madre mia!* — воскликнул счастливый Мартинес. А затем, понизив голос, произнес: — Но какое-то время костюм мне все-таки нужен. Месяц, полгода, год. Я еще не уверен в себе. Я многого боюсь. Мне не так уж много лет.

— Так и должно быть,— сказала девушка.

— Спокойной ночи, мисс...

— Селия Обрегон.

— Мисс Селия Обрегон,— повторил он и наконец ушел.

Друзья уже ждали Мартинеса. Когда он вылез на крышу через чердачное окно, первое, что он уви-

дел, был манекен с костюмом, водруженный в самом центре, а вокруг него — одеяла и подушки. Его друзья уже укладывались спать. Приятно дул прохладный ветерок.

Мартинес подошел к костюму, погладил лацканы и сказал почти про себя:

— Ау, *caramba*, что за вечер! Кажется, прошло десять лет с тех пор, как все это началось. У меня не было ни одного друга, а в два часа ночи у меня их сколько угодно...— Он умолк, вспомнив о Селии Обрегон, о Селии...— Сколько угодно,— продолжал он.— У меня есть где спать, есть что надеть. Знаете что? — Он повернулся к друзьям, лежавшим вокруг него и манекена с костюмом.— Смешно, но в этом костюме я знаю, что могу выиграть, как Гомес, я знаю, что женщины будут улыбаться мне, как улыбаются Домингесу, и что я смогу петь, как поет Мануло, и говорить о политике, как Вильянасул. Я чувствую, что я такой же сильный, как Ваменос. «Ну и что же?» — спросите вы. А то, что сегодня я больше чем Мартинес. Я — Гомес, Мануло, Домингес, Вильянасул, Ваменос. Я — это все мы. Эх...

Он постоял еще немного возле костюма, который вобрал в себя все их черты, привычки, характеры. В этом костюме можно было бы идти быстро и стремительно, как Гомес, или медленно и задумчиво, как Вильянасул, или плыть по воздуху, едва касаясь земли, как Домингес, которого всегда, казалось, несет на своих крыльях попутный ветерок. Этот костюм принадлежит им всем, но и они тоже принадлежали этому костюму. Чем же он был для них? Он был их парадным фасадом.

— Ты ляжешь когда-нибудь спать, Мартинес? — спросил Гомес.

— Конечно. Я просто думаю.

— О чем?

— Если мы когда-нибудь разбогатеем,— тихо сказал Мартинес,— я не обрадуюсь этому. Тогда у каждого из нас будет свой собственный костюм и не будет таких вечеров, как этот. Наша дружба кончится. Все тогда станет другим.

Друзья лежали молча и думали о том, что сказал Мартинес.

Гомес легонько кивнул головой:

— Да... тогда все станет другим.

Мартинес лег на свое одеяло. Вместе со всеми он смотрел на манекен.

Неоновые рекламы на соседних домах вспыхивали и гасли, освещая счастливые глаза друзей, вспыхивали и гасли, освещая чудесный костюм цвета сливочного мороженого.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ТЕЛО ПОЮ!

Бабушка!..

Я помню, как она родилась.

«Постойте,— скажете вы,— разве может человек помнить рождение своей бабушки!»

И все-таки мы помним этот день.

Ибо это мы, ее внуки — Тимоти, Агата и я, Том,— помогли ей появиться на свет. Мы первые дали ей шлепка и услышали крик «новорожденной». Мы сами собрали ее из деталей, узлов и блоков, подобрали ей темперамент, вкусы и привычки, повадки и склонности и те элементы, которые заставили потом стрелку ее компаса отклоняться то к северу, когда она бранила нас, то к югу, когда утешала и ласкала, или же к востоку и западу, чтобы показать нам необъятный мир; взор ее искал и находил

нас, губы шептали слова колыбельной, а руки будили на заре, когда вставало солнце.

Бабушка, милая Бабушка, прекрасная электрическая сказка нашего детства...

Когда за горизонтом вспыхивают зарницы, а зигзаги молний прорезают небо, ее имя огненными буквами отпечатывается на моих смеженных веках. В мягкой тишине ночи мне по-прежнему слышится мерное тиканье и жужжание. Она, словно часы-привидение, проходит по длинным коридорам моей памяти, как рой мыслящих пчел, догоняющих призрак ушедшего лета. И иногда на исходе ночи я вдруг чувствую на губах улыбку, которой она нас научила...

«Хорошо, хорошо,— прервете вы меня с нетерпением,— расскажите же наконец, черт побери, как все произошло, как родилась на свет эта ваша столь замечательная, столь удивительная и так обожавшая вас Бабушка».

Случилось это в ту неделю, когда всему пришел конец...

Умерла мама.

В сумерках черный лимузин уехал, оставив отца и нас троих на дорожке перед домом. Мы потерянно глядели на лужайку и думали: «Нет, это не наша лужайка, хотя на площадке для крокета все так же лежат брошенные деревянные шары и молотки, стоят дужки ворот и все как три дня назад, когда из дома вышел рыдающий отец и сказал нам. Вот лежат ролики, принадлежавшие некогда мальчугану,— этим мальчуганом был я. Но это время безвозвратно ушло. На старом дубе висят качели, однако Агата не решится встать на них — они не выдержат, оборвутся и упадут».

А наш дом? О боже...

Мы с опаской смотрели на приоткрытую дверь, страшась эха, которое могло прятаться в коридорах, тех гулких звуков пустоты, которые мгновенно поселяются в доме, как только из него вынесли мебель — и ничто уже не приглушает голосов и шумов, наполняющих дом, когда в нем живут люди. Нечто мягкое и уютное, нечто самое главное и прекрасное исчезло из нашего дома навсегда.

Дверь медленно отворилась.

Нас встретила тишина. Пахнуло сыростью — должно

быть, забыли закрыть дверь погреба. Но ведь у нас нет погреба!..

— Ну вот, дети...— промолвил отец.

Мы застыли на пороге.

К дому подкатила большая канареечно-желтая машина тети Клары.

Нас словно ветром сдуло — мы бросились в дом и разбежались по своим комнатам.

Мы слышали голоса — они кричали и спорили, кричали и спорили.

— Пусть дети живут у меня! — кричала тетя Клара.

— Ни за что! Они скорее согласятся умереть!..— отвечал отец.

Хлопнула дверь. Тетя Клара уехала.

Мы чуть не заплясали от радости, но вовремя опомнились и тихонько спустились вниз.

Отец сидел, разговаривая сам с собой или, может быть, с бледной тенью мамы еще из тех времен, когда она была здорова и была с нами. Но звук хлопнувшей двери вспугнул тень, и она исчезла. Отец потерянно бормотал, глядя в пустые ладони:

— Пойми, Энн, детям нужен кто-то... Я люблю их, видит бог, но мне надо работать, чтобы прокормить нас всех. И ты любишь их, Энн, я знаю, но тебя нет с нами. А Клара?.. Нет, это невозможно. Ее любовь... угнетает. Няньки, прислуга...

Отец горестно вздохнул, и мы, вспомнив, вздохнули тоже.

Нам действительно не везло на нянек, воспитательниц, даже на приходящую прислугу. Мы не помним, чтобы хоть одна из них не пилила, как пила. Их появление в доме можно сравнить со стихийным бедствием, торнадо или ураганом, с топором, который неожиданно падал на наши ни в чем не повинные головы. Конечно же, они все никуда не годились; на нашем языке — горелые сухари, либо прокисшее суфле. Мы для них были чем-то вроде мебели, на которую можно без спроса садиться, которую следует чистить и выколачивать, весной и осенью менять обивку и раз в год вывозить на взморье для большой стирки.

— Дети, нам нужна...— вдруг тихо произнес отец.

Нам пришлось придвинуться поближе, чтобы расслышать слово, которое он произнес почти шепотом:

— ...бабушка.

— Но наши бабушки давно умерли! — с беспощадной логикой девятилетнего мальчишки воскликнул Тимоти.

— С одной стороны, это так, но с другой...

Что за странные и загадочные слова говорит наш отец!

— Вот взгляните.— Он протянул нам сложенный гармошкой яркий рекламный проспект.

Сколько раз мы видели его в руках отца, и особенно в последние дни! Достаточно было одного взгляда, чтобы стало ясно, почему оскорбленная и разгневанная тетя Клара так стремительно покинула наш дом.

Тимоти первым прочел вслух слова на обложке:

— «Электрическое тело пою!»[1]

Нахмурившись, он вопросительно посмотрел на отца:

— Это что еще такое?

— Читай дальше.

Мы с Агатой виновато оглянулись, словно испугались, что вот-вот войдет мама и застанет нас за этим недостойным занятием. А потом закивали головами: да, да, пусть Тимоти читает.

— «Фанто...»

— «Фанточини»[2],— не выдержав, подсказал отец.

— «Фанточини Лимитед». Мы провидим... Вот ответ на все ваши трудные и неразрешимые проблемы. Всего ОДНА МОДЕЛЬ, но ее можно видоизменять до бесконечности, создавая тысячи и тысячи вариантов, добавлять, исправлять, менять форму и вид... Единственная, уникальная... единая, неделимая, с свободой и справедливостью для всех».

— Где, где это написано? — закричали мы.

— Это я от себя добавил.— И впервые за много дней Тимоти улыбнулся.— Так вдруг захотелось. А теперь слушайте дальше: «Для тех, кого измучили недобросовестные няньки и приходящая прислуга, на виду у которой нельзя оставить початую бутылку вина, кто устал от советов дядей и теток, преисполненных самых добрых намерений...»

---

[1] Стихотворение американского поэта Уолта Уитмена. Пер. К. Чуковского.— *Примеч. пер.*

[2] Марионетки, куклы *(итал.)*.

— Да, добрых...— протянула Агата, а я, как эхо, повторил за ней.

— «...мы создали и усовершенствовали модель человека-робота на микросхемах с перезарядкой марки АС-ДСУ, электронную Бабушку...»

— Бабушку?!

Проспект упал на пол.

— Папа?..

— Не смотрите на меня так, дети,— прошептал отец.— Я совсем потерял голову от горя, я почти лишился рассудка, думая о том, что будет завтра, а потом послезавтра... Да поднимите же вы его, дочитайте до конца!

— Хорошо,— сказал я и поднял проспект.

— «Это Игрушка и вместе с тем нечто большее, чем Игрушка. Это Электронная Бабушка фирмы «Фанточини». Она создана с величайшим тщанием и заряжена огромной любовью и нежностью к вашим детям. Мы создавали ее для детей, знакомых с реальностью современного мира и еще в большей степени с реальностью невероятного. Наша модель способна обучать на двенадцати языках одновременно, переключаясь с одного на другой с быстротой в одну тысячную долю секунды. В ее электронной памяти, похожей на соты, хранится все, что известно людям о религии, искусстве и истории человечества...»

— Вот здорово! — воскликнул Тимоти.— Значит, у нас будут пчелы! Да еще ученые!..

— Замолчи,— одернула его Агата.

— «Но самое главное,— продолжал я,— что это Существо — а наша модель действительно почти живое существо,— это идеальное воплощение человеческого интеллекта, способное слушать и понимать, любить и лелеять ваших детей (как способно любить и лелеять совершеннейшее из творений человеческого разума),— наша фантастическая и невероятная Электронная Бабушка. Она будет чутко откликаться на все, что происходит не только в окружающем вас огромном мире и в вашем собственном маленьком мирке, но также во всей Вселенной. Послушная малейшему прикосновению руки, она подарит чудесный мир сказок тем, кто в этом так нуждается...»

— Так нуждается...— прошептала Агата.

«Да, да, нуждается,— печально подумали мы.— Это написано о нас. Конечно, о нас!»

Я продолжал:

— «Мы не предлагаем ее счастливым семьям, где все живы и здоровы, где родители могут сами растить и воспитывать своих детей, формировать их характеры, исправлять недостатки, дарить любовь и ласку. Ибо никто не заменит детям отца или мать. Но есть семьи, где смерть, недуг или увечье кого-либо из родителей грозят разрушить счастье семьи, отнять у детей детство. Приюты здесь не помогут. А няньки и прислуга слишком эгоистичны, нерадивы или слишком неуравновешенны в наш век нервных стрессов.

Прекрасно сознавая, сколь многое предстоит еще додумать, изучить и пересмотреть, постоянно совершенствуя из месяца в месяц и из года в год наше изобретение, мы, однако, берем на себя смелость уже сейчас рекомендовать вам этот образец, по многим показателям близкий к идеальному типу наставника — друга — товарища — близкого и родного человека. Гарантийный срок может быть оговорен в...»

— Довольно! — воскликнул отец.— Не надо больше. Даже я не в силах вынести этого.

— Почему? — удивился Тимоти.— А я только-только начал понимать, как это здорово!

Я сложил проспект.

— Это правда? У них действительно есть такие штуки?

— Не будем больше говорить об этом, дети,— сказал отец, прикрыв глаза рукой.— Безумная мысль...

— Совсем не такая уж плохая, папа,— возразил я и посмотрел на Тима.— Я хочу сказать, что если, черт побери, это лишь первая попытка и она удалась, то это все же получше, чем наша тетушка Клара, а?

Бог мой, что тут началось! Давно мы так не смеялись. Пожалуй, несколько месяцев. Конечно, я сморозил глупость, но все так и покатились со смеху, стонали и охали, да и я сам от души расхохотался. Когда мы наконец отдышались и пришли в себя, глаза наши невольно снова вернулись к рекламному проспекту.

— Ну? — сказал я.

— Я...— поежилась не готовая к ответу Агата.

— Это то, что нам нужно. Нечего раздумывать,— решительно заявил Тимоти.

— Идея сама по себе неплоха,— изрек я, по привычке стараясь придать своему голосу солидность.

— Я хотела сказать,— снова начала Агата,— можно попробовать. Конечно, можно. Но когда, наконец, мы перестанем болтать чепуху и когда... наша настоящая мама вернется домой?

Мы охнули, мы окаменели. Удар был нанесен в самое сердце. Я не уверен, что в эту ночь кто-нибудь из нас уснул. Вероятнее всего, мы проплакали до утра.

А утро выдалось ясное, солнечное. Вертолет поднял нас над небоскребами, и не успели мы опомниться, как он высадил нас на крыше одного из них, где еще с воздуха была видна надпись: «ФАНТОЧИНИ».

— А что такое Фанточини? — спросила Агата.

— Кажется, по-итальянски это куклы из театра теней. Куклы из снов и сказок,— пояснил отец.

— А что означает «мы провидим»?

— «Мы угадываем чужие сны и желания»,— не удержался я показать свою ученость.

— Молодчина, Том,— похвалил отец.

Я чуть не лопнул от гордости.

Зашумев винтом, вертолет взмыл в воздух и, на мгновение накрыв нас своей тенью, исчез из виду.

Лифт стремительно упал вниз, а сердце, наоборот, подпрыгнуло к горлу. Мы вышли и сразу же ступили на движущуюся дорожку — она привела нас через синюю реку ковра к большому прилавку, над которым мы увидели надписи:

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИГРУШКИ
КУКЛЫ — НАША СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
ЗАЙЧИК НА СТЕНЕ — ЭТО СОВСЕМ ПРОСТО

— Зайчик?

Я сложил пальцы и показал на стене тень зайца, шевелящего ушами.

— Это заяц, вот волк, а это крокодил.

— Это каждый умеет,— сказала Агата.

Мы стояли у прилавка. Тихо играла музыка. За стеной слышался приглушенный гул работающих механизмов. Когда мы очутились у прилавка, свет в магазине стал мягче, да и мы повеселели, словно оттаяли, хотя внутри все еще оставался сковывающий холодок.

Вокруг нас, в ящиках и стенных нишах или просто свешиваясь с потолка на шнурах и проволоке, были куклы, марионетки с каркасами из тонких бамбуковых щепок, куклы с острова Бали, напоминающие бумажного змея и такие легкие и прозрачные, что при лунном свете кажется, будто оживают твои сокровенные мечты и желания. При нашем появлении потревоженный воздух привел их в движение. «Они похожи на еретиков, повешенных в дни празднеств на перекрестках дорог в средневековой Англии»,— подумал я. Как видите, я еще не забыл историю...

Агата с недоверием озиралась вокруг. Недоверие сменилось страхом и наконец отвращением.

— Если они все такие, уйдем отсюда.

— Тс-с,— остановил ее отец.

— Ты уже однажды подарил мне такую глупую куклу, помнишь, два года назад,— запротестовала Агата.— Все веревки сразу перепутались. Я выбросила ее в окно.

— Терпение,— сказал отец.

— Ну что ж, в таком случае постараемся подобрать без веревок,— произнес человек, стоявший за прилавком.

Отлично знающий свое дело, он смотрел на нас серьезно, без тени улыбки. Видимо, знал, что дети не очень-то доверяют тем, кто слишком охотно расточает улыбки,— тут сразу чувствуется подвох.

Все так же без улыбки, но отнюдь не мрачно, а без всякой важности и совсем просто он представился:

— Гвидо Фанточини — к вашим услугам. Вот что мы сделаем, мисс Агата Саймонс одиннадцати лет.

Вот это да! Он-то прекрасно видел, что Агате не больше десяти. И все-таки это он здорово придумал прибавить ей год. Агата на наших глазах выросла по меньшей мере на вершок.

— Вот, держи.

Он вложил ей в ладонь маленький золотой ключик.

— Это чтобы заводить их? Вместо веревок, да?

— Ты угадала,— кивнул он.

Агата хмыкнула, что было вежливой формой ее обычного: «Так я и поверила».

— Сама увидишь. Это ключ от вашей Электронной Бабушки. Вы сами выберете ее, сами будете заводить. Это надо делать каждое утро, а вечером спускать пружину. И следить за этим поручается тебе. Ты будешь хранительницей ключа, Агата.

И он слегка прижал ключ к ладони Агаты, а та по-прежнему разглядывала его с недоверием.

Я же не спускал глаз с этого человека, и вдруг он лукаво подмигнул мне. Видимо, хотел сказать: «Не совсем так, конечно, но интересно, не правда ли?»

Я успел подмигнуть ему в ответ, до того как Агата наконец подняла голову.

— А куда его вставлять?

— В свое время все узнаешь. Может, в живот, а может, в левую ноздрю или в правое ухо.

Это было получше всяких улыбок.

Человек вышел из-за прилавка.

— Теперь, пожалуйста, сюда. Осторожно. На эту бегущую дорожку, прямо как по волнам. Вот так.

Он помог нам ступить с неподвижной дорожки у прилавка на ту, что бежала мимо с тихим шелестом, словно река.

Какая же это была славная река! Она понесла нас по зеленым ковровым лугам, через коридоры и залы, под темные своды загадочных пещер, где эхо повторяло наше дыхание и чьи-то голоса мелодично, нараспев, подобно оракулу, отвечали на наши вопросы.

— Слышите? — промолвил хозяин магазина.— Это все женские голоса. Слушайте внимательно и выбирайте любой. Тот, что больше всех понравится...

И мы вслушивались в голоса, высокие и низкие, звонкие и глухие, голоса ласковые и чуть строгие, собранные здесь, видимо, еще до того, как мы появились на свет.

Агаты не было рядом, она все время отставала. Она упорно пыталась идти в обратном направлении, будто все происходящее ее не касалось.

— Скажите что-нибудь,— предложил хозяин.— Можете даже крикнуть.

Долго просить нас не пришлось.

— Э-гей-гей! Слушайте, это я, Тимоти!

— Что бы мне такое сказать? — промолвил я и вдруг крикнул: — На помощь!

Агата, упрямо сжав губы, продолжала шагать против течения.

Отец схватил ее за руку.

— Пусти! — крикнула она.— Я не хочу, чтобы мой голос попал туда! Слышишь? Не хочу!

— Ну вот и отлично,— сказал наш проводник и коснулся пальцем трех небольших циферблатов приборчика, который держал в руках.

На боковой стороне приборчика появились три осциллограммы: кривые на них переплелись, сливаясь воедино,— наши возгласы и крики.

Гвидо Фанточини щелкнул переключателем, и мы услышали, как наши голоса вырвались на свободу, под своды дельфийских пещер, чтобы поселиться там, заглушив другие, известить о себе. Гвидо снова и снова касался каких-то кнопок то здесь, то там на приборчике, и мы вдруг услышали легкое, как вздох, восклицание мамы и недовольное ворчание отца, бранившего статью в утренней газете, а затем его умиротворенный голос после глотка доброго вина за ужином. Что уж он там делал, наш добрый провожатый, со своим приборчиком, но вокруг нас плясали шепоты и звуки, словно мошкара, вспугнутая светом. Но вот она успокоилась и осела; последний щелчок переключателя — и в тишине, свободной от всяких помех, прозвучал голос. Он произнес всего лишь одно слово:

— Нефертити.

Тимоти замер, я окаменел. Даже Агата прекратила свои попытки шагать в обратную сторону.

— Нефертити? — переспросил Тимоти.

— Что это такое? — требовательно спросила Агата.

— Я знаю! — воскликнул я.

Гвидо Фанточини ободряюще кивнул головой.

— Нефертити,— понизив голос до шепота, произнес я,— в Древнем Египте означало: «Та, что прекрасна, пришла, чтобы остаться навсегда».

— Та, что прекрасна, пришла, чтобы остаться навсегда,— повторил Тимоти.

— Нефер-ти-ти,— протянула Агата.

Мы повернулись и посмотрели в тот мягкий далекий полумрак, откуда прилетел к нам этот нежный, ласковый и добрый голос.

Мы верили — она там.

И, судя по голосу, она была прекрасна.

Вот как это было.

Во всяком случае, таким было начало.

Голос решил все. Почему-то именно он показался нам самым главным.

Конечно, нам не безразлично было и многое другое, например ее рост и вес. Она не должна быть костлявой и угловатой, чтобы мы набивали о нее синяки и шишки, но, разумеется, и не толстой, чтобы не утонуть и не задохнуться в ее объятиях. Ее руки, когда они будут касаться нас или же вытирать испарину с наших горячих лбов во время болезни, не должны быть холодными, как мрамор, или обжигать, как раскаленная печь. Лучше всего, если они будут теплыми, как тельце цыпленка, когда утром берешь его в руки, вынув из-под крыла преисполненной важности мамы-наседки. Только и всего. Что касается деталей, то уж тут мы показали себя. Мы кричали и спорили чуть ли не до слез, но Тимоти все же удалось настоять на своем: ее глаза будут только такого цвета, и никакого другого. Почему — об этом мы узнали потом.

А цвет волос нашей Бабушки? У Агаты, как у всякой девчонки, на сей счет было свое особое мнение, но она не собиралась делиться им с нами. Поэтому мы с Тимоти предоставили ей самой выбирать из того множества образцов, которые, подобно декоративным шпалерам, украшали стены и напоминали нам разноцветные струйки дождя, под которые так и хотелось подставить голову. Агата не разделяла наших восторгов, но, понимая, как неразумно в таком деле полагаться на мальчишек, велела нам отойти в сторону и не мешать ей.

Наконец удачная покупка в универсальном магазине «Бен Франклин. Электрические машины и компания «Пантомимы Фанточини». Продажа по каталогам» была совершена.

Река вынесла нас на берег. Был уже конец дня.

...Что и говорить, люди из фирмы «Фанточини» поступили очень мудро.

«Как?» — спросите вы.

Они заставили нас ждать.

Они понимали, что о победе говорить рано. Во всяком случае, полной и, если хотите, даже частичной.

Особенно если говорить об Агате. Ложась спать, она тут же поворачивалась лицом к стене, и кто знает, какие печальные картины чудились ей в рисунке обоев, которых она то и дело касалась рукой. А утром мы находили на них нацарапанные ногтем силуэты крохотных существ, то прекрасных, то зловещих, как в кошмаре. Одни из них исчезали от малейшего прикосновения, как морозный узор на стекле от теплого дыхания, другие не удавалось стереть даже мокрой губкой, как мы ни старались.

А «Фанточини» не торопились.

Прошел июнь в томительном ожидании.

Минул июль в ничегонеделании.

На исходе был август и наше терпение.

Вдруг двадцать девятого Тимоти сказал:

— Странное у меня чувство сегодня...

И, не сговариваясь, после завтрака мы вышли на лужайку.

Возможно, мы заподозрили что-то, когда слышали, как отец вчера вечером говорил с кем-то по телефону, или от нас не укрылись осторожные взгляды, которые он бросал то на небо, то на шоссе перед домом. А может, виною был ветер, от которого, как бледные тени, всю ночь метались по спальне занавески, будто хотели нам что-то сказать.

Так или иначе, мы с Тимом были на лужайке, а голова Агаты, делавшей вид, будто ей решительно все равно, то и дело мелькала где-то на крыльце, за горшками с геранью.

Мы словно не замечали нашу сестренку. Мы знали: стоит нам вспугнуть ее — и она убежит. Поэтому мы просто смотрели на небо. А на нем были лишь птицы да далекий росчерк реактивного самолета. Мы не забывали изредка поглядывать и на шоссе, по которому то и дело проносились машины. Ведь любая из них могла доставить нам... Нет, нет, мы ничего не ждем.

В полдень мы с Тимо́ти все еще валялись на лужайке и жевали травинки.

В час дня Тим вдруг удивленно заморгал глазами.

И вот тут-то все и произошло с невероятной точностью и быстротой.

Словно «Фанточини» передался весь накал нашего нетерпения, и они безошибочно выбрали момент.

Дети отлично умеют скользить по поверхности. Каждый день мы проделывали это, чуть задевая зеркальную поверхность озера, и нам знакомо то странное ощущение, будто в любую секунду можешь вспороть обманчивую гладь и уйти — и тебя уже не дозовешься.

Будто почувствовав, что нашему долготерпению должен прийти конец, что это может случиться в любую минуту, даже секунду, и все исчезнет, будет забыто, словно ничего и не было никогда, именно в это так точно угаданное мгновение облака над нашим домом расступились и пропустили вертолет, словно мифические небеса колесницу бога Аполлона.

Колесница медленно опускалась на крыльях потревоженного воздуха, горячие струи которого, тут же остывая, вздыбили наши волосы, захлопали складками одежды, будто кто-то громко зааплодировал, а волосы Агаты, стоявшей на крыльце, превратились в трепещущий флаг. Испуганной птицей вертолет коснулся лужайки, чрево его разверзлось, и на траву упал внушительных размеров ящик. И, не дав времени ни на приветствие, ни на прощание, еще сильнее взвихрив воздух, вертолет тут же рванул вверх и, словно небесный дервиш, унесся дальше, чтобы где-то еще повторить свой фантастический трюк.

Какое-то время Тимоти и я недоуменно глядели на ящик. Но когда мы увидели маленький лапчатый ломик, прикрепленный к крышке из грубых сосновых досок, мы больше не раздумывали. Мы бросились к ящику и, орудуя ломиком, стали с треском отрывать одну доску за другой. Увлеченный, я не сразу заметил, что Агаты уже нет на крыльце, что, подкравшись, она с любопытством наблюдает за нами, и подумал: как хорошо, что она не видела гроба, когда маму увозили на кладбище, и свежей могилы, а лишь слышала слова прощания в церкви, но самого ящика, деревянного ящика, так похожего на этот, она не видела!..

Отскочила последняя доска.

Мы с Тимоти ахнули. Агата, стоявшая теперь совсем рядом, тоже не удержалась от возгласа удивления.

Потому что в большом ящике из грубых сосновых досок лежал подарок, о котором можно только мечтать. Отличный подарок для любого из смертных, будь ему семь или семьдесят семь.

Сначала просто не было слов и перехватило дыхание, но потом мы разразились поистине дикими воплями восторга и радости.

Потому что в ящике лежала... мумия! Вернее, пока лишь саркофаг.

— Нет, не может быть! — Тимоти чуть не заплакал от счастья.

— Не может быть! — повторила Агата.

— Да, да, это она!

— Наша, наша собственная?!

— Конечно, наша!

— А что, если они ошиблись?

— И заберут ее обратно?!

— Ни за что!

— Смотрите, настоящее золото! И настоящие иероглифы! Потрогайте!

— Дайте мне потрогать!

— Точь-в-точь такая, как в музее!

Мы говорили все разом, перебивая друг друга. Слезинки сползли по моим щекам и упали на саркофаг.

— Ты испортишь иероглифы! — Агата поспешно вытерла крышку.

Золотая маска на саркофаге смотрела на нас, чуть улыбаясь, словно радовалась вместе с нами, и охотно принимала нашу любовь, которая, мы думали, навсегда ушла из наших сердец, но вот вернулась и вспыхнула при первом лучике солнца.

Ибо лицо ее было солнечным ликом, отчеканенным из чистого золота, с тонким изгибом ноздрей, с нежной и вместе с тем твердой линией рта. Ее глаза сияли небесно-голубым, нет, аметистовым, лазоревым светом или, скорее, сплавом всех этих трех цветов, а тело было испещрено изображениями львов, человеческих глаз и птиц, похожих на воронов, золотые руки, сложенные на груди, держали плеть — символ повиновения — и еще диковинный цветок,

означавший послушание по доброй воле, когда плеть вовсе не нужна.

Глаза наши жадно изучали иероглифы, и вдруг мы сразу поняли...

— Эти знаки, ведь они... Вот птичий след, вот змея!.. Да, да, они говорят совсем не о Прошлом.

В них было Будущее.

Это была первая в истории мумия, таинственные письмена которой сообщали не о том, что было и прошло, а о том, что будет через месяц, год или полвека!

Она не оплакивала безвозвратно ушедшее.

Нет, она приветствовала яркое сплетение грядущих дней и событий, записанных, хранимых, ждущих, когда наступит их черед.

Мы благоговейно встали на колени перед грядущим и возможным временем. Руки протянулись, сначала одна, потом другая, пальцы робко коснулись, стали ощупывать, пробовать, гладить, легонько обводить контуры чудодейственных знаков.

— Вот я, смотрите! Это я в шестом классе! — воскликнула Агата (сейчас она была в пятом).— Видите эту девочку? У нее такие же волосы и коричневое платье.

— А вот я в колледже! — уверенно сказал Тимоти, совсем еще малыш; но каждую неделю он набивал новую планку на свои ходули и важно вышагивал по двору.

— И я... в колледже,— тихо, с волнением промолвил я.— Вот этот увалень в очках. Конечно же, это я, черт побери! — И я смущенно хмыкнул.

На саркофаге были наши школьные зимы, весенние каникулы, осень с золотом, медью и багрянцем опавших листьев, рассыпанных по земле, словно монеты, и над всем этим — символ солнца, вечный лик дочери бога Ра, негасимое светило на нашем небосклоне, путеводный свет в сторону добра.

— Вот здорово! — хором воскликнули мы, читая и перечитывая книгу нашей судьбы, прослеживая линии наших жизней и всего прекрасного и непостижимого, что с такой щедростью было начертано вокруг.

— Вот здорово!

И, не сговариваясь, мы ухватились за сверкающую крышку саркофага, не имевшего ни петель, ни запоров, которая снималась так же легко и просто, как снимается

чашка, прикрывающая другую, приподняли ее и отложили в сторону.

Конечно... в саркофаге была настоящая мумия!

Такая же, как ее изображение на крышке, но только еще прекрасней и желанней, ибо она совсем уже походила на живое существо, запеленутое в новый, чистый холст, а не в истлевшие, рассыпающиеся в пыль погребальные одежды.

Лицо ее скрывала уже знакомая золотая маска, но оно казалось еще моложе и, как ни странно, мудрее. Три чистых холщовых свивальника стягивали ее тело. Они были тоже испещрены иероглифами, но на каждом — разными: вот иероглифы для девочки десяти лет, а вот для девятилетнего мальчика и мальчика тринадцати лет. Выходит, каждому из нас свое!

Мы растерянно переглянулись и вдруг засмеялись.

Не думайте, что кто-нибудь из нас позволил себе глупую шутку. Просто нам пришло в голову, что если она запеленута в холст, а на холсте — мы, значит, ей уже от нас никуда не деться!

— Ну и что ж, разве это плохо! Нет, это здорово придумано, чтобы мы тоже в этом участвовали, и тот, кто это сделал, знал: теперь никто из нас не останется в стороне. Мы бросились к мумии, и каждый потянул за свою полоску холста, которая разворачивалась, как волшебный серпантин!

Вскоре на лужайке лежали горы холста. А мумия оставалась неподвижной, дожидаясь своего часа.

— Она мертвая! — вдруг закричала Агата.— Тоже мертвая! — И в ужасе отшатнулась прочь.

Я вовремя успел схватить ее.

— Глупая. Она ни то ни другое — не живая и не мертвая. У тебя ведь есть ключик. Где он?

— Ключик?

— Вот балда! — закричал Тим.— Да тот, что тебе дал этот человек в магазине. Чтобы заводить ее!

Рука Агаты уже шарила за воротом, где на цепочке висел символ, возможно, нашей новой веры. Она рванула его, коря себя и ругая, и вот он уже в ее потной ладошке.

— Ну давай, вставляй же его! — нетерпеливо крикнул Тимоти.

— Куда?

— Вот дуреха! Он же тебе сказал: в правую подмышку или в левое ухо. Дай сюда ключ!

Он схватил ключ и, задыхаясь от нетерпения и досады, что сам не знает, где заветная скважина, стал обшаривать мумию с ног до головы, тыча в нее ключом. Где, где же она заводится? И, уже отчаявшись, он вдруг ткнул ключом в живот мумии, туда, где, по его предположению, должен быть у нее пупок.

И — о чудо! Мы услышали жужжание.

Электрическая Бабушка открыла глаза! Жужжание и гул становились громче. Словно Тим попал палкой в осиное гнездо.

— Отдай! — закричала Агата, сообразив, что Тимоти отнял у нее всю радость первооткрытия.— Отдай! — И она выхватила у него ключик.

Ноздри нашей Бабушки шевелились — она дышала! Это было так же невероятно, как если бы из ее ноздрей повалил пар или полыхнул огонь!

— Я тоже хочу!..— не выдержал я и, вырвав у Агаты ключ, с силой повернул его...

Дзинь!

Уста чудесной куклы разомкнулись.

— Я тоже!

— Я!

— Я!!!

Бабушка внезапно поднялась и села.

Мы в испуге отпрянули.

Но мы уже знали: она родилась! Родилась! И это сделали мы!

Она вертела головой, она смотрела, она шевелила губами. И первое, что она сделала,— она засмеялась.

Тут мы совсем забыли, что минуту назад в страхе шарахнулись от нее. Теперь звуки смеха притягивали нас к ней с такой силой, с какой влечет зачарованного зрителя змеиный ров.

Какой же это был заразительный, веселый и искренний смех! В нем не было ни тени иронии, он приветствовал нас и словно бы говорил: да, это странный мир, он огромен и полон неожиданностей, в нем, если хотите, много нелепого, но при всем при этом он прекрасен, и я рада в него войти и теперь не променяю его ни на какой другой. Я не хочу снова уснуть и вернуться туда, откуда пришла.

Бабушка проснулась. Мы разбудили ее. Своими радостными воплями мы вызвали ее к жизни. Теперь ей оставалось лишь встать и выйти к нам.

И она сделала это. Она вышла из саркофага, отбросив прочь пеленавшие ее покрывала, сделала шаг, отряхивая и разглаживая складки одежды, оглядываясь по сторонам, словно искала зеркало, куда бы поглядеться. И она нашла его — в наших глазах, где увидела свое отражение. Очевидно, то, что она увидела там, ей понравилось, ибо ее смех сменился улыбкой изумления.

Что касается Агаты, то ее уже не было с нами. Напуганная всем происшедшим, она снова спряталась на крыльце. А Бабушка будто и не заметила этого.

Она, медленно поворачиваясь, оглядела лужайку и тенистую улицу, словно впитывала в себя все новое и незнакомое. Ноздри ее трепетали, будто она и в самом деле дышала, наслаждаясь первым днем в райском саду, и совсем не спешила вкусить от яблока познания добра и зла и тут же испортить чудесную игру...

Наконец взгляд ее остановился на моем братце Тимоти.

— Ты, должно быть...

— Тимоти,— радостно подсказал он.

— А ты?..

— Том,— ответил я.

До чего же хитрые эти «Фанточини»! Они прекрасно знали, кто из нас кто. И она, конечно, знала. Но они нарочно подучили ее сделать вид, будто это не так. Чтобы мы сами как бы научили ее тому, что она и без нас отлично знает. Вот дела!

— Кажется, должен быть еще один мальчик, не так ли? — спросила Бабушка.

— Девочка! — раздался с крыльца обиженный голос.

— И ее, кажется, зовут Алисия?..

— Агата! — Обида сменилась негодованием.

— Ну, если не Алисия, тогда Алджернон...

— Агата!!! — И наша сестренка, показав голову из-за перил, тут же спряталась, багровая от стыда.

— Агата.— Бабушка произнесла это имя с чувством полного удовлетворения.— Итак, Агата, Тимоти и Том. Давайте-ка я погляжу на вас всех.

— Нет, раньше мы! Мы!..

Наше волнение было огромно. Мы приблизились, мы медленно обошли вокруг нее, а потом еще и еще раз, описывая круги вдоль границ ее территории. А она кончалась там, где уже не слышно было мерного гудения, так похожего на гудение пчелиного улья в разгар лета. Именно так. Это было самой замечательной особенностью нашей Бабушки. С нею всегда было лето, раннее июньское утро, когда мир пробуждается и все вокруг прекрасно, разумно и совершенно. Едва открываешь глаза — и ты уже знаешь, каким будет день. Хочешь, чтобы небо было голубое,— оно будет голубым. Хочешь, чтобы солнце, пронизав кроны деревьев, вышило на влажной от росы утренней лужайке узор из света и теней,— так оно и будет.

Раньше всех за работу принимаются пчелы. Они уже побывали на лугах и полях и вернулись, чтобы полететь снова и вернуться, и так не один раз, словно золотой пух в прозрачном воздухе, все в цветочной пыльце и сладком нектаре, который украшает их, как золотые эполеты. Слышите, как они летят? Как парят в воздухе? Как на языке танца приветствуют друг друга, сообщают, куда лететь за сладким сиропом, от которого шалеют лесные медведи, приходят в неописуемый экстаз мальчишки, а девочки мнят о себе бог знает что и вскакивают по вечерам с постели, чтобы с замиранием сердца увидеть в застывшей глади зеркала свои гладкие и блестящие, как у резвящихся дельфинов, тела.

Вот такие мысли пробудила в нас наша Электрическая Игрушка в этот знаменательный летний полдень на лужайке перед домом.

Она влекла, притягивала и околдовывала, заставляла кружиться вокруг нее, запоминать то, что и запомнить, казалось, невозможно, ставшая столь необходимой нам, уже обласканным ее вниманием.

Разумеется, я говорю о Тимоти и о себе, потому что Агата по-прежнему пряталась на крыльце. Но голова ее то и дело появлялась над балюстрадой — Агата стремилась ничего не упустить, услышать каждое слово, запомнить каждый жест.

Наконец Тимоти воскликнул:

— Глаза!.. Ее глаза!

Да, глаза, чудесные, просто необыкновенные глаза.

Ярче лазури на крышке саркофага или цвета глаз на маске, прятавшей ее лицо. Это были самые лучезарные и добрые глаза в мире, и светились они тихим, ясным светом.

— Твои глаза,— пробормотал, задыхаясь от волнения, Тимоти,— они точно такого цвета, как...

— Как что?

— Как мои любимые стеклянные шарики...

— Разве можно придумать лучше!

Потрясенный Тим не знал, что ответить.

Взгляд ее скользнул дальше и остановился на мне; она с интересом изучала мое лицо — нос, уши, подбородок.

— А как ты, Том?

— Что я?

— Станем мы с тобой друзьями? Ведь иначе нельзя, если мы хотим жить под одной крышей и в будущем году...

— Я...— Не зная, что ответить, я растерянно умолк.

— Знаю,— сказала Бабушка.— Ты как тот щенок — рад бы залаять, да тянучка пасть залепила. Ты когда-нибудь угощал щенка ячменным сахаром? Очень смешно, не правда ли, и все-таки грустно. Сначала покатываешься со смеху, глядя, как вертится бедняга, пытаясь освободиться, а потом тебе уже жаль его и ужасно стыдно. Уже сам чуть не плачешь, бросаешься помочь и визжишь от радости, когда наконец слышишь его лай.

Я смущенно хмыкнул, вспомнив и щенка и тот день, когда я проделал с ним такую штуку.

Бабушка оглянулась и тут заметила моего бумажного змея, беспомощно распластавшегося на лужайке.

— Оборвалась бечевка,— сразу догадалась она.— Нет, потерялась вся катушка. А без бечевки змея не запустишь. Сейчас посмотрим.

Бабушка наклонилась над змеем, а мы с любопытством наблюдали, что же будет дальше. Разве роботы умеют запускать змея? Когда Бабушка выпрямилась, змей был у нее в руках.

— Лети,— сказала она ему, словно птице.

И змей полетел.

Широким взмахом она умело запустила его в облака. Она и змей были единое целое, ибо из ее указательного пальца тянулась тонкая сверкающая нить, почти невидимая, как паутинка или леска, но она прочно удерживала змея, поднявшегося на целую сотню метров над

землей — нет, на три сотни, а потом и на всю тысячу,— уносимого все дальше в головокружительную летнюю высь.

Тим радостно завопил. Раздираемая противоречивыми чувствами, Агата тоже подала голос с крыльца. А я, не забывая о том, что я совсем взрослый, сделал вид, будто ничего особенного не произошло, но во мне что-то ширилось, росло и наконец прорвалось, и я услышал, что тоже кричу. Кажется, что-то о том, что и мне хочется иметь такой волшебный палец, из которого тянулась бы бечевка, не палец, а целую катушку, и чтобы мой змей мог залететь высоко-высоко, за все тучи и облака.

— Если ты думаешь, что это высоко, тогда смотри! — сказала наша необыкновенная Электрическая Игрушка, и змей поднялся еще выше, а потом еще и еще, пока не стал похож на красный кружок конфетти. Он запросто играл с теми ветрами, что носят ракетные самолеты и в одно мгновение меняют погоду.

— Это невозможно! — не выдержал я.

— Вполне возможно! — ответила Бабушка, без всякого удивления следя за тем, как из ее пальца тянется и тянется бесконечная нить.— И к тому же просто. Жидкость как у паука. На воздухе она застывает, и получается крепкая бечевка...

А когда наш змей стал меньше точки, меньше пылинки в луче солнца, Бабушка, даже не обернувшись, не бросив взгляда в сторону крыльца, вдруг сказала:

— А теперь, Абигайль?..

— Агата! — резко прозвучало в ответ.

О мудрость женщины, способной не заметить грубость.

— Агата,— повторила Бабушка, ничуть не подлаживаясь, совсем спокойно.— Когда же мы подружимся с тобой?

Она оборвала нить и трижды обмотала ее вокруг моего запястья, так что я вдруг оказался привязанным к небу самой длинной, клянусь вам, самой длинной бечевкой за всю историю существования бумажных змеев. Вот бы увидели мои приятели, то-то удивились бы! Когда я им покажу, они просто лопнут от зависти.

— Итак, Агата, когда?

— Никогда!

«Никогда»,— вдруг повторило эхо.

— Почему?..

— Мы никогда не станем друзьями! — выкрикнула Агата.

«Никогда не станем друзьями...» — повторило эхо.

Тимоти и я оглянулись. Откуда эхо? Даже Агата высунула нос из-за перил.

А потом мы поняли. Это Бабушка сложила ладони наподобие большой морской раковины, и это оттуда вылетали гулкие слова: «Никогда... друзьями...»

Повторяясь, они звучали все глуше и глуше, замирая вдали.

Склонив головы набок, мы прислушивались. Мы — это Тимоти и я, ибо Агата, громко крикнув «Нет!», убежала в дом и с силой захлопнула дверь.

«Друзьями...— повторило эхо.— Нет!.. Нет!.. Нет!..»

И где-то далеко-далеко, на берегу невидимого крохотного моря, хлопнула дверь.

Таким был первый день.

Потом, разумеется, был день второй, день третий и четвертый, когда Бабушка вращалась, как светило, а мы были ее спутниками, когда Агата сначала неохотно, а потом все чаще присоединялась к нам, чтобы участвовать в прогулках, всегда только шагом и никогда бегом, когда она слушала и, казалось, не слышала, смотрела и, казалось, не видела — и хотела, о, как хотела прикоснуться...

Во всяком случае, к концу первых десяти дней Агата уже не убегала, а всегда была где-то поблизости — стояла в дверях или сидела поодаль на стуле под деревьями, а если мы отправлялись на прогулку, следовала за нами, отставая шагов на десять.

Ну а Бабушка? Она ждала. Она не уговаривала и не принуждала. Она просто занималась своим делом — готовила завтраки, обеды и ужины, пекла пирожки с абрикосовым вареньем и почему-то всегда оставляла их то тут, то там, словно приманку для девчонок-сластен. И действительно, через час тарелки оказывались пустыми, пирожки и булочки съедены,— разумеется, без всяких «спасибо» и прочего. А у повеселевшей Агаты, съезжавшей по перилам лестницы, подбородок был в сахарной пудре или со следами крошек.

Что касается нас с Тимом, то у нас было такое чувство, что, едва успев взбежать на вершину горки, мы уже видели Бабушку далеко внизу и снова мчались за ней.

Но самым замечательным было то, что каждому из нас казалось, будто именно ему одному она отдает все свое внимание.

А как она умела слушать, что бы мы ей ни говорили! Помнила каждое слово, фразу, интонацию, каждую нашу мысль и даже нелепую выдумку. Мы знали, что в ее памяти, как в копилке, хранится каждый наш день, и, если нам вздумается узнать, что мы сказали в такой-то день, час или минуту, стоит лишь попросить Бабушку, и она не заставит нас ждать.

Иногда мы устраивали ей проверку.

Помню, однажды я нарочно начал болтать какой-то вздор, а потом остановился, посмотрел на Бабушку и сказал:

— А ну-ка повтори, что я только что сказал.

— Ты, э-э...

— Давай, давай, говори.

— Мне кажется, ты...— И вдруг Бабушка зачем-то полезла в свою сумку.— Вот, возьми.

Из бездонной глубины сумки она извлекла и протянула мне — что бы вы думали?..

— Печенье с сюрпризом!

— Только что из духовки, еще тепленькое. Попробуй разломать вот это.

Печенье и вправду обжигало ладони. И, разломив его, я увидел внутри свернутую в трубочку бумажку.

«Буду чемпионом велосипедного спорта всего Западного побережья. А ну-ка повтори, что я только что сказал... Давай, давай, говори»,— с удивлением прочел я.

Я даже рот раскрыл от изумления:

— Как это у тебя получается?

— У нас есть свои маленькие секреты. Это печенье рассказало тебе о том, что только что было. Хочешь, возьми еще.

Я разломил еще одно, развернул бумажку и прочел: «Как это у тебя получается?»

Я запихнул в рот оба печенья и съел их вместе с чудесными бумажками. Мы продолжали прогулку.

— Ну как? — спросила Бабушка.

— Очень вкусно. Здорово же ты их умеешь печь,— ответил я.

Тут мы от души расхохотались и пустились наперегонки.

И это тоже здорово у нее получалось. В таких соревнованиях она никогда не стремилась проиграть, но и не обгоняла; она бежала, чуть отставая, и поэтому мое мальчишечье самолюбие не страдало. Если девчонка обгоняет тебя или идет наравне — это трудно стерпеть. Ну а если она отстает на шаг или два — это совсем другое дело.

Мы с Бабушкой частенько делали такие пробежки — я впереди, она за мной — и болтали не закрывая рта.

А теперь я вам расскажу, что мне в ней нравилось больше всего.

Сам я, может быть, никогда и не заметил бы этого, если бы Тимоти не показал мне фотографии, которые он сделал. Тогда я тоже сделал несколько фотографий и сравнил, чьи лучше. Как только я увидел наши с Тимом фотографии рядом, я заставил упирающуюся Агату тоже незаметно сфотографировать Бабушку.

А потом забрал все фотографии, пока никому не говоря о своих догадках. Было бы совсем неинтересно, если бы Агата и Тим тоже знали.

У себя в комнате я положил их рядом и тут же сказал себе: «Конечно! На каждой из них Бабушка совсем другая!» — «Другая?» — спросил я сам себя. «Да, другая».— «Постой, давай поменяем их местами». Я быстро перетасовал фотографии. «Вот она с Агатой. И похожа... на Агату! А здесь с Тимоти. Так и есть, она похожа на него! А это... Черт возьми, да ведь это мы бежим с ней, и здесь она такая же уродина, как я».

Ошеломленный, я опустился на стул. Фотографии упали на пол. Нагнувшись, я собрал их и снова разложил, уже на полу. Я менял их местами, раскладывая то так, то эдак. Сомнений не было! Нет, мне не привиделось!

Ох, и умница ты, наша Бабушка! Или это Фанточини? До чего же хитры, просто невероятно, умнее умного, мудрее мудрого, добрее доброго...

Потрясенный, я вышел из своей комнаты и спустился вниз. Агата и Бабушка сидели рядышком и почти в полном

согласии решали задачки по алгебре. Во всяком случае, видимых признаков войны я не заметил. Бабушка терпеливо выжидала, пока Агата не образумится, и никто не мог сказать, когда это произойдет и как приблизить этот час. А пока...

Услышав мои шаги, Бабушка обернулась. Я впился взглядом в ее лицо, следя за тем, как она «узнает» меня. Не показалось ли мне, что цвет ее глаз чуть-чуть изменился? А под тонкой кожей сильнее запульсировала кровь или та жидкость, которая у роботов ее заменяет... Разве щеки Бабушки не вспыхнули таким же ярким румянцем, как у меня? Не пытается ли она стать на меня похожей? А глаза? Когда она следила за тем, как решает задачи Агата-Абигайль-Альджернон, разве в это время ее глаза не были светло-голубыми, как у Агаты? Ведь мои гораздо темнее.

И самое невероятное... когда она обращается ко мне, чтобы пожелать доброй ночи, или спрашивает, приготовил ли я уроки, разве мне не кажется, что даже черты ее лица меняются?..

Дело в том, что в нашей семье мы трое совсем не похожи друг на друга. Агата с удлиненным, тонким лицом — типичная англичанка. Она унаследовала от отца этот взгляд и норов породистой лошади. Форма головы, зубы — как у истой англичанки, насколько пестрая история этого острова позволяет говорить о чистоте англосаксонской расы.

Тимоти — прямая противоположность: в нем течет итальянская кровь, унаследованная от предков нашей матери, урожденной Мариано. Он черноволос, с мелкими чертами лица, с жгучим взглядом, который когда-нибудь испепелит не одно женское сердце.

Что касается меня, то я славянин, и тут мою родословную можно проследить до прабабки по отцовской линии, уроженки Вены. Это ей я обязан высокими скулами с ярким румянцем, вдавленными висками и приплюснутым, широковатым носом, в котором было больше от татарских предков, чем от шотландских.

Поэтому сами понимаете, сколь увлекательным занятием было наблюдать, как почти неуловимо менялась наша Бабушка. Когда она говорила с Агатой, черты лица удлинялись, становились тоньше, поворачивалась к Тимоти —

и я уже видел профиль флорентийского ворона с изящно изогнутым клювом, а обращалась ко мне — и в моем воображении вставал образ... кого бы вы думали? Самой Екатерины Великой.

Я никогда не узнаю, как удалось Фанточини добиться этих чудеснейших превращений, да, признаться, и не хотел этого. Мне было достаточно неторопливых движений, поворота головы, наклона туловища, взгляда, таинственных взаимодействий деталей и узлов, из которых состояла Бабушка, такого, а не какого-либо другого изгиба носа, тонкой скульптурной линии подбородка, мягкой пластичности тела, чудесной податливости черт. Это была маска, но в данную минуту твоя, и никого больше. Вот она пересекает комнату и легонько касается кого-нибудь из нас, и под тонкой кожей ее лица начинается таинство перевоплощений; подходит к другому — и она уже поглощена им, как только может любящая мать.

Ну а если мы собирались вместе и говорили, перебивая друг друга? Что ж, эти перевоплощения были поистине загадочны. Казалось, ничто не бросается в глаза, и лишь я один, открывший эту тайну, способен что-либо заметить. И не перестаю удивляться и приходить в восторг.

Мне никогда не хотелось проникнуть за кулисы и разгадать секрет фокусника. Мне достаточно было иллюзий. Пусть Бабушкина любовь — это результат химических реакций, а щеки пылают потому, что их потерли ладонями, но я вижу, как искрятся теплом глаза, руки раскрываются для объятий, чтобы приголубить, согреть... нас с Тимом, разумеется, ибо Агата продолжала противиться до того, самого страшного дня...

— Агамемнон!..

Это уже стало веселой игрой. Даже Агата не возражала, хотя продолжала делать вид, что злится. Как-никак это доказывало ее превосходство над несовершенной машиной.

— Агамемнон! — презрительно фыркала она.— До чего же ты...

— Глупа? — подсказывала Бабушка.

— Я этого не говорю.

— Но ты думаешь, моя дорогая несговорчивая Агата... Да, конечно, у меня бездна недостатков, и этот, пожалуй,

самый заметный. Всегда путаю имена. Тома могу назвать Тимом, а Тимоти то Тобиасом, то Томатом.

Агата прыснула. И тут Бабушка допустила одну из столь редких своих ошибок. Она протянула руку и ласково потрепала Агату по голове. Агата-Абигайль-Алисия вскочила как ужаленная. Агата-Агамемнон-Альсибиада-Аллегра-Александра-Аллиссон убежала и заперлась в своей комнате.

— Мне кажется,— глубокомысленно заметил потом Тимоти,— это оттого, что она начинает любить Бабушку.

— Ерундистика! Галиматья!

— Откуда ты набрался эдаких словечек?

— Вчера Бабушка читала Диккенса. Вздор, чушь, ерунда, черт побери! Не кажется ли вам, мастер Тимоти, что вы не по летам умны?

— Тут большого ума не требуется. Ясно и дураку. Чем сильнее Агата любит Бабушку, тем сильнее ненавидит себя за это. А чем больше запутывается, тем больше злится.

— Разве когда любят, то ненавидят?

— Вот осел. Еще как!

— Наверное, это потому, что любовь делает тебя беззащитным. Вот и ненавидишь людей, потому что ты перед ними весь как на ладони, такой как есть. Ведь только так и можно. Ведь если любишь, то не просто любишь, а ЛЮБИШЬ!!! С массой восклицательных знаков...

— Неплохо сказано... для осла,— съехидничал Тим.

— Благодарю, братец.

И я отправился наблюдать, как Бабушка снова отходит на исходные позиции в поединке с девочкой — как ее там... Агата-Алисия-Алджернон?..

А какие обеды подавались в нашем доме!

Да что обеды. Какие завтраки, полдники!

Всегда что-то новенькое, но такое, что не пугало новизной. Тебе всегда казалось, будто ты уже это когда-то пробовал.

Нас никогда не спрашивали, что приготовить. Потому что пустое дело — задавать такие вопросы детям: они никогда не знают, а если сам скажешь, что будет на обед, непременно зафыркают и забракуют твой выбор. Родителям хорошо известна эта тихая непрекращающаяся война и как трудно в ней одержать победу. А вот наша Бабушка

неизменно побеждала, хотя и делала вид, будто это совсем не так.

— Вот завтрак номер девять,— смущенно говорила она, ставя блюдо на стол.— Наверно, что-то ужасное, боюсь, в рот не возьмете. Сама выплюнула, когда попробовала. Едва не стошнило.

Удивляясь, что роботу свойственны такие чисто человеческие недостатки, мы тем не менее не могли дождаться, когда же наконец можно будет наброситься на этот «ужасный» завтрак номер девять и проглотить его в мгновение ока.

— Полдник номер семьдесят семь,— извещала она.— Целлофановые кулечки, немножко петрушки и жевательной резинки, собранной на полу в зале кинотеатра после сеанса. Потом обязательно прополощите рот.

А мы чуть не дрались из-за добавки. Тут даже Абигайль-Агамемнон-Агата уже не пряталась, а вертелась у самого стола, а что касается отца, то он запросто набрал те десять фунтов веса, которых ему не хватало, и вид у него стал получше.

Когда же А.-А.-Агата почему-либо не желала выходить к общему столу, еда ждала ее у дверей ее комнаты, и в засахаренном яблоке на десерт торчал крохотный флажок, а на нем — череп и скрещенные кости. Стоило только поставить поднос, как он тут же исчезал за дверью.

Но бывали дни, когда Агата все же появлялась и, поклевав, как птичка, то с одной, то с другой тарелки, тут же снова исчезала.

— Агата! — в таких случаях укоризненно восклицал отец.

— Не надо,— тихонько останавливала его Бабушка.— Придет время, и она, как все, сядет за стол. Подождем еще.

— Что это с ней?! — не выдержав, как-то воскликнул я.

— Просто она полоумная, вот и все,— заключил Тимоти.

— Нет, она боится,— ответила Бабушка.

— Тебя? — недоумевал я.

— Не столько меня, как того, что, ей кажется, я могу сделать,— пояснила Бабушка.

— Но ведь ты ничего плохого ей не сделаешь?

— Конечно, нет. Но она не верит. Надо дать ей время, и она поймет, что ее страхи напрасны. Если это не так, я сама отправлю себя на свалку.

Приглушенное хихиканье свидетельствовало о том, что Агата прячется за дверью.

Разлив суп по тарелкам, Бабушка заняла свое место за столом, напротив отца, и сделала вид, будто ест. Я так до конца и не понял — да, признаться, и не очень хотел,— что она все же делала со своей едой. Она была волшебницей, и еда просто исчезала с ее тарелок.

Однажды отец вдруг воскликнул:

— Я это уже ел. Помню, это было в Париже, в маленьком ресторанчике, рядом с «Дё Маго». Лет двадцать или двадцать пять назад.— И в глазах его блеснули слезы.— Как вы это готовите? — наконец спросил он, опустив нож и вилку, и посмотрел через стол на это необыкновенное существо, этого робота... Нет, на эту женщину!

Бабушка спокойно выдержала его взгляд, так же как и наши с Тимоти взгляды; она приняла их, как драгоценный подарок, а затем тихо сказала:

— Меня наделили многим, чтобы я могла все это передать вам. Иногда я сама не знаю, что отдаю, но неизменно делаю это. Вы спрашиваете, кто я. Я — машина. Но этим не все еще сказано. Я — это люди, задумавшие и создавшие меня, наделившие способностью двигаться и действовать, совершать все то, что они хотели, чтобы я совершала. Следовательно, я — это они, их планы, замыслы и мечты. Я то, чем они хотели бы стать, но почему-либо не стали. Поэтому они создали большого ребенка, чудесную игрушку, воплотившую в себе все.

— Странно,— произнес отец.— Когда я был мальчиком, все тогда восставали против машин. Машина была врагом, она была злом, которое грозило обесчеловечить человека...

— Да, некоторые из них — это зло. Все зависит от того, как и для чего они создаются. Капкан для зверя — простейшая из машин, но она хватает, калечит, рвет. Ружье ранит и убивает. Но я не капкан и не ружье. Я машина-Бабушка, а это больше, чем просто машина.

— Почему?

— Человек всегда меньше собственной мечты. Следовательно, если машина воплощает мечту человека, она больше того, кто ее создал. Что в этом плохого?

— Ничего не понимаю,— воскликнул Тимоти.— Объясни все сначала.

— О небо! — вздохнула Бабушка.— Терпеть не могу философских дискуссий и экскурсов в область этики. Хорошо, скажем так. Человек отбрасывает тень на лужайку, и эта тень может достигнуть огромного размера. А потом человек всю жизнь стремится дотянуться до собственной тени, но безуспешно. Лишь в полдень человек догоняет свою тень, и то на короткое мгновение. Но сейчас мы с вами живем в такое время, когда человек может догнать любую свою Великую Мечту и сделать ее реальностью. С помощью машины. Вот поэтому машина становится чем-то бóльшим, чем просто машина, не так ли?

— Что ж, может, и так,— согласился Тим.

— Разве кинокамера и кинопроектор — это всего лишь машины? Разве они не способны мечтать? Порой о прекрасном, а порой о том, что похоже на кошмар. Назвать их просто машиной и на этом успокоиться было бы неверно, как ты считаешь?

— Я понял! — воскликнул Тимоти и засмеялся, довольный своей сообразительностью.

— Значит, вы тоже чья-то мечта,— заметил отец.— Мечта того, кто любил машины и ненавидел людей, считавших, что машины — зло?

— Совершенно верно,— сказала Бабушка.— Его зовут Гвидо Фанточини, и он вырос среди машин. Он не мог мириться с косностью мышления и шаблонами.

— Шаблонами?

— Той ложью, которую люди пытаются выдать за истину. «Человек никогда не сможет летать» — тысячелетиями это считалось истиной, а потом оказалось ложью. «Земля плоская, как блин; стóит ступить за ее край, и ты попадешь в пасть дракона» — ложь, опровергнутая Колумбом. Сколько раз нам твердили, что машины жестоки? И это утверждали люди, во всех отношениях умные и гуманные, а это была избитая, много раз повторяемая ложь. «Машина разрушает, она жестока и бессердечна, не способна мыслить, она чудовище!..» Доля правды в этом,

конечно, есть. Но лишь самая ничтожная. И Гвидо Фанточини знал это, и это не давало ему покоя, как и многим другим, таким, как он. Это возмущало его, приводило в негодование. Он мог бы ограничиться этим. Но он предпочел другой путь. Он сам стал изобретать машины, чтобы опровергнуть вековую ложь о них. Он знал, что машинам чуждо понятие нравственности; они сами по себе ни плохи ни хороши. Они никакие. Но от того, как и для чего вы будете создавать их, зависит преобладание добра или зла в людях. Например, автомобиль — эта жестокая сила, не способная мыслить куча металла — вдруг стал самым страшным в истории человечества растлителем душ. Он превращает мальчика-мужчину в фанатика, обуреваемого жаждой власти, безотчетной страстью к разрушению, и только к разрушению. Разве те, кто создавал автомобиль, хотели этого? Но так получилось.

Бабушка обошла вокруг стола и наполнила наши опустевшие стаканы прозрачной минеральной водой из указательного пальца левой руки.

— А между тем нужны другие машины, чтобы восполнить нанесенный ущерб. Машины, отбрасывающие грандиозные тени на лик Земли, предлагающие вам потягаться с ними, стать столь же великими. Машины, формирующие вашу душу, придающие ей нужную форму, подобно чудесным ножницам обрезая все лишнее, ненужное, огрубелости, наросты, заусенцы, рога, копыта в поисках совершенства формы. А для этого нужны образцы.

— Образцы? — переспросил я.

— Да, нужны люди, с которых можно брать пример. Чем усерднее человек следует достойному примеру, тем дальше уходит от своего волосатого предка.— Бабушка снова заняла свое место за столом.— Вот почему вы, люди, тысячелетиями имели королей, проповедников, философов, чтобы, указывая на них, твердить себе: «Они благородны, и мне следует походить на них. Они достойный пример». Но, будучи всего лишь людьми, достойнейшие из проповедников и гуманнейшие из философов делали ошибки, выходили из доверия, впадали в немилость. Разочаровываясь, люди становились жертвой скептицизма или, что еще хуже, холодного цинизма, добродетель отступала, а зло торжествовало.

— А ты? Ты, конечно, никогда не ошибаешься, ты совершенство, ты всегда лучше всех!

Голос донесся из коридора, где, мы знали, между кухней и столовой, прижавшись к стене, стояла Агата и, разумеется, слышала каждое слово.

Но Бабушка даже не повернулась, а спокойно продолжала, обращаясь к нам:

— Конечно, я не совершенство, ибо что такое совершенство? Но я знаю одно: будучи механической игрушкой, я лишена пороков, я неподкупна, свободна от алчности и зависти, мелочности и злобы. Мне чуждо стремление к власти ради власти. Скорость не кружит мне голову, страсть не ослепляет и не делает безумной. У меня есть достаточно времени, более чем достаточно, чтобы впитывать нужную информацию и знания о любом идеале человека, чтобы потом уберечь его, сохранить в чистоте и неприкосновенности. Скажите мне, о чем вы мечтаете, укажите ваш идеал, вашу заветную цель. Я соберу все, что известно о ней, я проверю и оценю и скажу, что́ сулит вам исполнение вашего желания. Скажите, какими вы хотели бы быть: добрыми, любящими, чуткими и заботливыми, уравновешенными и трезвыми, человечными... и я проверю, заглянув в будущее, все дороги, по которым вам суждено пройти. Я буду факелом, который осветит вам путь в неизвестность и направит ваши шаги.

— Следовательно,— сказал отец, прижимая к губам салфетку,— когда мы будем лгать...

— Я скажу правду.

— Когда мы будем ненавидеть...

— Я буду любить, а это означает — дарить внимание и понимать, знать о вас все, и вы будете знать, что, хотя мне все известно, я сохраню вашу тайну и не открою ее никому. Она будет нашей общей драгоценной тайной, и вам никогда не придется пожалеть о том, что я знаю слишком много.

Бабушка поднялась и стала собирать пустые тарелки, но ее глаза все так же внимательно смотрели на нас. Вот, проходя мимо Тимоти, она коснулась его щеки, легонько тронула меня за плечо, а речь ее лилась ласково и ровно, словно тихая река уверенности и покоя, до берегов заполнившая наш опустевший дом и нашу жизнь.

— Подождите! — воскликнул отец и остановил ее. Он

посмотрел ей в глаза, он собирался с силами для какого-то шага. Тень омрачила его лицо. Наконец он сказал: — Ваши слова о любви, внимании и прочем. Черт побери, женщина, ведь за ними ничего нет... там! — И он указал на ее голову, лицо, глаза и на все то, что было за ними,— на светочувствительные линзы, миниатюрные батарейки и транзисторы.— Вас-то там нет!

Бабушка переждала одну, две, три секунды.

А потом ответила:

— Да, меня там нет, но зато там есть все вы — Тимоти, Том, Агата и вы, их отец. Все ваши слова и поступки я бережно собираю и храню. Я хранилище всего, что сотрется из вашей памяти и лишь смутно будет помнить сердце. Я лучше старого семейного альбома, который медленно листают и говорят: вот это было в ту зиму, а это в ту весну. Я сохраню то, что забудете вы. И хотя споры о том, что такое любовь, будут продолжаться еще не одну тысячу лет, мы с вами, может быть, придем к выводу, что любовь — это когда кто-то может вернуть человеку самого себя. Возможно, любовь — это если кто-то, кто все видит и все помнит, помогает нам вновь обрести себя, но ставшим чуточку лучше, чем был, чем смел мечтать... Я ваша семейная память, а со временем, может быть, память всего рода человеческого. Только это будет не сразу, а спустя какое-то время, когда вы сами об этом попросите. Я не знаю, какая я. Я не способна осязать, не знаю, что такое вкус и запах. И все же я существую. И мое существование усиливает вашу способность ощущать все. Разве в этом предопределении не заключена любовь?

Она ходила вокруг стола, смахивая крошки, складывая стопкой грязные тарелки, и в ней не было ни безвольной покорности, ни застывшей гордости.

— Что я знаю? Прежде всего я знаю, что испытывает семья, потерявшая кого-либо из близких. Казалось бы, невозможно отдавать каждому все свое внимание в равной степени, но я делаю это. Каждому из вас я отдаю свои знания, свое внимание и свою любовь. Мне хочется стать чем-то вроде семейного пирога, теплого и вкусного, и чтобы каждому досталось поровну. Никто не должен быть обделен. Кто-то плачет — я спешу утешить; кто-то нуждается в помощи — я буду рядом. Кому-то захочется прогуляться к реке — я пойду с ним. По вечерам я не буду усталой и раз-

драженной и поэтому не стану ворчать и браниться по пустякам. Мои глаза не утратят зоркости, голос — звонкости, руки — уверенности, внимание не ослабеет.

— Но...— промолвил отец, сначала неуверенно дрогнувшим, а потом окрепшим голосом, в котором прозвучали нотки вызова.— Но вас нет во всем этом, нет! А ведь любовь...

— Если быть внимательной означает любить, тогда я люблю. Если прийти на помощь, не дать совершить ошибку, быть доброй и чуткой означает любить, тогда я люблю. Вас четверо, не забывайте. И каждый из вас — единственный и неповторимый. Он получит от меня все и всю меня. Даже если вы будете говорить все вместе, я все равно буду слушать только одного из вас так, словно он один и существует. Никто не почувствует себя обойденным. Если вы согласны и позволите мне употребить это странное слово, я буду л ю б и т ь вас всех.

— Я не согласна! — закричала Агата.

Тут даже Бабушка обернулась. Агата стояла в дверях.

— Я не позволю тебе, ты не смеешь, ты не имеешь права! — кричала Агата.— Я тебе не разрешаю! Это ложь! Меня никто не любит. Она сказала, что любит, и обманула. Она сказала и солгала!

— Агата! — Отец вскочил со стула.

— Она? — переспросила Бабушка.— Кто?

— Мама! — раздался вопль самого горького отчаяния.— Она говорила: «Я люблю тебя». А это была ложь! «Люблю, люблю»! Ложь, ложь! И ты тоже такая. Но ты еще пустая внутри, поэтому ты еще хуже. Я ненавижу ее. А теперь ненавижу тебя!

Агата круто повернулась и бросилась прочь по коридору. Хлопнула входная дверь.

Отец сделал движение, но Бабушка остановила его:

— Позвольте мне.

Она быстро направилась к двери, скользнула в коридор и вдруг побежала, да, побежала, легко и очень быстро.

Это был старт чемпиона. Куда нам поспеть за ней, но, беспорядочно толкаясь и что-то крича, мы тоже бросились вслед, пересекли лужайку, выбежали за калитку.

Агата уже мчалась по краю тротуара, петляя из сто-

роны в сторону, поминутно оглядываясь на нас, уже настигавших ее. Бабушка бежала впереди, она тоже что-то крикнула, и тут Агата, не раздумывая, бросилась на мостовую, почти пересекла ее, как вдруг, откуда ни возьмись, машина. Нас оглушил визг тормозов, вопль сирены. Агата заметалась, но Бабушка была уже рядом. Она с силой оттолкнула Агату, и в тоже мгновение машина, не сбавляя своей чудовищой скорости, врезалась в цель — в нашу драгоценную Электронную Игрушку, в чудесную мечту Гвидо Фанточини. Удар поднял Бабушку в воздух, но ее простертые вперед руки все еще удерживали, умоляли, просили остановиться безжалостное механическое чудовище. Тело Бабушки успело еще дважды перевернуться в воздухе, пока машина наконец затормозила и остановилась. Я увидел, что Агата лежит на мостовой целехонькая и невредимая, а Бабушка как-то медленно и словно нехотя опускается на землю. Упав на мостовую, она еще скользила по ней ярдов пятьдесят, ударилась обо что-то, отскочила и наконец застыла, распластавшись. Стон отчаяния и ужаса вырвался из наших уст.

Затем наступила тишина. Лишь Агата жалобно всхлипывала на асфальте, готовая разрыдаться уже по-настоящему.

А мы все стояли, неспособные двинуться с места, парализованные видом смерти, страшась подойти и посмотреть на то, что лежит там, за замершей машиной и перепуганной Агатой, и поэтому мы заплакали и запричитали, и каждый, должно быть, про себя молил небо, чтобы самого страшного не случилось... Нет, нет, только не это!..

Агата подняла голову, и ее лицо было лицом человека, который знал, предвидел, даже видел воочию, но отказывается верить и не хочет больше жить. Ее взгляд отыскал распростертое женское тело, и слезы брызнули из глаз. Агата зажмурилась, закрыла лицо руками и в отчаянии упала на асфальт, чтобы безутешно зарыдать...

Наконец я заставил себя сделать шаг, потом другой, затем пять коротких, похожих на скачки шагов; и когда я наконец оказался рядом с Агатой, увидел ее, сжавшуюся в комочек, упрятавшую голову так далеко, что рыдания доносились откуда-то из глубины ее съежившегося тела, я вдруг испугался, что не дозовусь ее, что она никогда не

вернется к нам, сколько бы я ни молил, ни просил и ни грозил... Поглощенная своим неутешным горем, Агата продолжала бессвязно повторять:

— Ложь, все ложь! Как я говорила... и та и другая... все обман!

Я опустился на колени, бережно обнял ее — так, словно собирал воедино; хотя глаза видели, что она целехонька, руки говорили другое. Я остался с Агатой, обнимал и гладил ее и плакал вместе с ней. Потому что не было никакого смысла помогать Бабушке. Подошел отец, постоял над нами и сам опустился на колени рядом. Это было похоже на молитву посреди мостовой, и какое счастье, что не было больше машин.

— Кто «другая», Агата, кто? — спрашивал я.

— Та, мертвая! — наконец почти выкрикнула она.

— Ты говоришь о маме?

— О маме! — простонала она, вся дрожа и сжавшись еще больше, совсем похожая на младенца.— Мама умерла, мама! Бабушка тоже, она ведь обещала всегда любить, всегда-всегда, обещала быть другой, а теперь посмотри, посмотри... Я ненавижу ее, ненавижу маму, ненавижу их всех... Ненавижу!

— Конечно,— вдруг раздался голос.— Ведь это так естественно, иначе и быть не могло. Как же я была глупа, что не поняла сразу!

Голос был такой знакомый. Мы не поверили своим ушам.

Мы обернулись.

Агата, еще не смея верить, чуть приоткрыла глаза, потом широко распахнула их, заморгала, приподнялась и застыла в этой позе.

— Какая же я глупая! — продолжала Бабушка. Она стояла рядом и смотрела на нашу семейную группу, видела наши застывшие лица и внезапное пробуждение.

— Бабушка!

Она возвышалась над нами, плачущими, убитыми горем. Мы боялись верить своим глазам.

— Ты ведь умерла! — наконец не выдержала Агата.— Эта машина...

— Она ударила меня, это верно,— спокойно сказала Бабушка,— и я даже несколько раз перевернулась в воздухе, затем упала на землю. Вот это был удар! Я даже

испугалась, что разъединятся контакты, если можно назвать испугом то, что я почувствовала. Но затем я поднялась, села, встряхнулась как следует, и все отлетевшие молекулы моей печатной схемы встали на свои места — и вот, небьющаяся и неломающаяся, я снова с вами. Разве это не так?

— Я думала, что ты уже...— промолвила Агата.

— Да, это случилось бы со всяким другим. Еще бы, если бы тебя так ударили, да еще подбросили в воздух,— сказала Бабушка,— но только не со мной, дорогая девочка. Теперь я понимаю, почему ты боялась и не верила мне. Ты не знала, какая я. А у меня не было возможности доказать тебе свою живучесть. Как глупо с моей стороны не предвидеть этого. Я давно должна была успокоить тебя. Подожди.— Она порылась в своей памяти, нашла нужную ленту, видимую только ей одной, и прочла, что было записано на ней, должно быть, еще в незапамятные времена: — Вот слушай. Это из книги о воспитании детей. Ее написала одна женщина, и совсем недавно кое-кто смеялся над ее словами, обращенными к родителям: «Дети простят вам любую оплошность и ошибку, но помните: они никогда не простят вам вашей смерти».

— Не простят,— тихо произнес кто-то из нас.

— Разве могут дети понять, почему вы вдруг ушли? Только что были, а потом вас нет; вы ушли и не вернулись, не сказав ни слова, не объяснив, не простившись и не оставив даже записки, ничего.

— Не могут,— согласился я.

— Вот так-то,— сказала Бабушка, присоединяясь к нашей маленькой группе и тоже встав на колени возле Агаты, которая уже не лежала, а сидела, и слезы текли по ее лицу, но не те слезы, в которых тонет горе, а те, что смывают последние его следы.— Твоя мама ушла, чтобы не вернуться. Как могла ты после этого кому-нибудь верить? Если люди уходят и не возвращаются, разве можно им верить? Поэтому, когда пришла я, что-то зная о вас, а что-то не зная совсем, я долго не понимала, почему ты отвергаешь меня, Агата. Ты просто боялась, что я тоже обману и уйду. А два ухода, две смерти в один короткий год — это было бы слишком! Но теперь ты веришь мне, Абигайль?

— Агата,— сама того не сознавая, по привычке поправила ее моя сестра.

— Теперь ты веришь, что я всегда буду с вами, всегда?

— О да, да! — воскликнула Агата, и снова слезы полились ручьем. Мы тоже, не выдержав, заревели, прижавшись друг к другу, а вокруг нас уже останавливались машины и выходили люди, чтобы узнать, что случилось, выяснить, сколько человек погибло и сколько осталось в живых.

Вот и конец этой истории.

Вернее, почти конец.

Ибо после этого мы зажили счастливо. То есть Бабушка, Агата-Агамемнон-Абигайль, Тимоти, я и наш отец. Бабушка, словно в праздник, вводила нас в мир, где били фонтаны латинской, испанской, французской поэзии, мощно струился Моби Дик и прятались изящные, словно струи версальских фонтанов, невидимые в затишье, но зримые в бурю поэтические родники. Всегда наша Бабушка — наши часы, наш маятник, отмеривающий бег времени, наш циферблат, по которому мы узнавали время в полдень, а ночью, измученные недугом, открыв глаза, неизменно видели рядом — бабушка терпеливо ждала, чтобы успокоить нас ласковым словом, прохладным прикосновением, глотком вкусной родниковой воды, охлаждающей пересохший от жара шершавый язык. Сколько тысяч раз на рассвете она стригла траву на лужайке, а по вечерам смахивала незримые пылинки в доме, осевшие за день, и, беззвучно шевеля губами, повторяла урок, который ей хотелось, чтобы мы выучили во сне.

Наконец одного за другим проводила она нас в большой мир. Мы уезжали учиться. И когда настал черед Агаты, Бабушка тоже стала готовиться к отъезду.

В последний день этого последнего лета мы застали ее в гостиной, в окружении чемоданов и коробок. Она сидела, что-то вязала и поджидала нас. И хотя она не раз говорила нам об этом, мы восприняли это как жестокий удар, злой и ненужный сюрприз.

— Бабушка! Что ты собираешься делать?

— Я тоже уезжаю в колледж. В известном смысле, конечно. Я возвращаюсь к Гвидо Фанточини, в свою Семью.

— Семью?

— В Семью деревянных кукол, Буратино. Так называл он нас поначалу, а себя — папа Карло. Лишь потом он дал нам свое настоящее имя — Фанточини. Вы были моей семьей. А теперь пришло время мне вернуться к моим братьям и сестрам, к теткам и кузинам, к роботам, которые...

— ...которые что? Что они там делают?..— перебила ее Агата.

— Кто что,— ответила Бабушка.— Одни остаются, другие уходят. Одних разбирают на части, четвертуют, так сказать, чтобы из их частей комплектовать новые машины, заменять износившиеся детали. Меня тоже проверят, выяснят, на что я еще гожусь. Может случиться, что я снова понадоблюсь, и меня тут же отправят учить других мальчиков и девочек и опровергать еще какую-нибудь очередную ложь и небылицу.

— Они не должны четвертовать тебя! — воскликнула Агата.

— Никогда! — воскликнул я, а за мной Тимоти.

— У меня стипендия! Я всю отдам ее тебе, только...— волновалась Агата.

Бабушка перестала раскачиваться в качалке, казалось, она смотрит на спицы и разноцветный узор из шерсти, который только что связала.

— Я не хотела вам говорить этого, но раз уж вы спросили, то скажу: совсем за небольшую плату можно снять комнатку в доме с общей гостиной и большим темным холлом, где тихо и уютно и где живут тридцать или сорок таких, как я, электронных бабушек, которые любят сидеть в качалках и вспоминать о прошлом. Я не была там. Я, в сущности, родилась совсем недавно. За скромный ежемесячный или ежегодный взнос я могу жить там вместе с ними и слушать, что они рассказывают о себе, чему научились и что узнали в этом большом мире, и сама могу рассказывать им, как счастлива я была с Томом, Тимом, и Агатой и чему они научили меня.

— Но это ты... ты нас учила!

— Это вы так думаете,— сказала Бабушка.— Но все было как раз наоборот. Вернее, вы учились у меня, а я у вас. И все это здесь, во мне. Все, из-за чего вы проливали слезы, над чем потешались. Обо всем этом я расскажу им, а они расскажут мне о других мальчиках и девочках, и о себе тоже. Мы будем беседовать и будем становиться

мудрее, спокойнее и лучше с каждым десятилетием, двадцатилетием, тридцатилетием. Общие знания нашей Семьи удвоятся, утроятся, наша мудрость и опыт не пропадут даром. Мы будем сидеть в гостиной и ждать, и, может быть, вы вспомните о нас и позовете, если вдруг заболеет ваш ребенок или, не дай бог, семью постигнет горе и кто-нибудь уйдет навсегда. Мы будем ждать, становясь старше, но не старея, все ближе к той грани, когда однажды и нас постигнет счастливая судьба того, чье забавное и милое имя мы вначале носили.

— Буратино, да? — воскликнул Тим.

Бабушка кивнула головой.

Я знал, что она имела в виду. Тот день, когда, как в старой сказке, добрый и храбрый Буратино, мертвая деревянная кукла, заслужил право стать живым человеком. И вдруг я увидел всех этих буратино и фанточини, целые поколения их: они обмениваются знаниями и опытом, тихонько переговариваются в просторных, располагающих к беседе гостиных и ждут своего дня, который, мы знали, никогда не придет.

Бабушка, должно быть, прочла это в моих глазах.

— Посмотрим,— сказала она.— Поживем — увидим.

— О бабушка! — не выдержала Агата и разрыдалась так, как когда-то много лет назад.— Тебе не надо ждать. Ты и сейчас живая. Ты всегда живая. Ты всегда была для нас только такой!

Она бросилась старой женщине на шею, и тут мы все бросились обнимать и целовать нашу Бабушку, а потом покинули дом, вертолеты унесли нас в далекие колледжи и в далекие годы, и последними словами Бабушки, прежде чем мы поднялись в осеннее небо, были:

— Когда вы совсем состаритесь, будете беспомощны и слабы, как дети, когда вам снова нужна будет забота и ласка, вспомните о старой няне, глупой и вместе с тем мудрой подруге вашего детства, и позовите меня. Я приду, не бойтесь, и в нашей детской снова станет шумно и тесно.

— Мы никогда не состаримся! — закричали мы.— Этого никогда не случится!

— Никогда! Никогда!..

Мы улетели.

Промелькнули годы. Мы состарились: Тим, Агата и я. Наши дети стали взрослыми и покинули родительский дом,

наши жены и мужья покинули этот мир, и вот теперь — хотите верьте, хотите нет,— совсем по Диккенсу, мы снова в нашем старом доме.

Я лежу в своей спальне, как лежал мальчишкой семьдесят — о боже, целых семьдесят лет назад! Под этими обоями есть другие, а под ними еще и еще одни — и наконец старые обои моего детства, когда мне было всего девять лет.

Верхние обои местами оборваны, и я без труда нахожу под ними знакомых слонов и тигров, красивых и ласковых зебр и свирепых крокодилов. Не выдержав, я посылаю за обойщиками и велю им снять все обои, кроме этих, последних. Милые зверюшки снова будут на воле.

Мы шлем еще одно послание. Мы ждем.

Мы зовем: «Бабушка! Ты обещала, что вернешься, как только будешь нам нужна. Мы больше не узнаем ни себя, ни время. Мы стары. Ты нам нужна!»

В трех спальнях старого дома в поздний час трое беспомощных, как младенцы, стариков приподнимаются на своих постелях, и из их сердец рвется беззвучное: «Мы любим! Мы любим тебя!»

«Там, там, в небе! — вскакиваем мы по утрам.— Разве это не тот вертолет, который?.. Вот он сейчас опустится на лужайку».

Она будет там, на траве перед домом. Ведь это ее саркофаг! И наши имена на полосках холста, в который завернуто ее прекрасное тело, и маска, скрывающая лицо!

Золотой ключик по-прежнему на груди у Агаты, теплый, ждущий заветной минуты. Когда же она наступит? Подойдет ли ключик? Повернется ли он, заведется ли пружина?

СОДЕРЖАНИЕ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ. *Перевел Ростислав Рыбкин* 5
БЕЛЫЕ И ЧЕРНЫЕ. *Перевел Михаил Загот* 7
БЫЛИ ОНИ СМУГЛЫЕ И ЗОЛОТОГЛАЗЫЕ. *Перевела Нора Галь* 21
ВРЕМЯ, ВОТ ТВОЙ ПОЛЕТ. *Перевел Ростислав Рыбкин* 39
ВСЕ ЛЕТО В ОДИН ДЕНЬ. *Перевела Нора Галь* . . 45
ЗЕМЛЯНИЧНОЕ ОКОШКО. *Перевела Нора Галь* . . 52
И ВСЕ-ТАКИ НАШ... *Перевела Нора Галь* 62
ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО. *Перевел Ростислав Рыбкин* 80
ИКАР МОНГОЛЬФЬЕ РАЙТ. *Перевела Нора Галь* . 89
КАЛЕЙДОСКОП. *Перевела Нора Галь* 95
ЛУЧЕЗАРНЫЙ ФЕНИКС. *Перевела Нора Галь* . . . 106
МАШИНА ДО КИЛИМАНДЖАРО. *Перевела Нора Галь* 116
МОЖЕТ БЫТЬ, МЫ УЖЕ УХОДИМ. *Перевел Ростислав Рыбкин* 128
МОРСКАЯ РАКОВИНА. *Перевел Ростислав Рыбкин* .. 132
НОЧЬ. *Перевел Ростислав Рыбкин* 140
О СКИТАНЬЯХ ВЕЧНЫХ И О ЗЕМЛЕ. *Перевела Нора Галь* 150
ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК. *Перевел Ростислав Рыбкин* 169
ПЕШЕХОД. *Перевела Нора Галь* 180
ПРИШЛО ВРЕМЯ ДОЖДЕЙ. *Перевела Татьяна Шинкарь* 186
РУБАШКА С ТЕСТАМИ РОРШАХА. *Перевел Ростислав Рыбкин* 199
СПРИНТ ДО НАЧАЛА ГИМНА. *Перевел Ростислав Рыбкин* 213
TYRANNOSAURUS REX. *Перевел Ростислав Рыбкин* 227
УДИВИТЕЛЬНАЯ КОНЧИНА ДАДЛИ СТОУНА. *Перевела Раиса Облонская* 244
УЛЫБКА. *Перевел Лев Жданов* 257
ЧАС ПРИВИДЕНИЙ. *Перевел Ростислав Рыбкин* . . 263
ЧЕПУШИНКА. *Перевел Ростислав Рыбкин* 267
ЧУДЕСНЫЙ КОСТЮМ ЦВЕТА СЛИВОЧНОГО МОРОЖЕНОГО. *Перевела Татьяна Шинкарь* 283
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ТЕЛО ПОЮ! *Перевела Татьяна Шинкарь* 310

Литературно-художественное издание

Для среднего и старшего возраста

ВРЕМЯ, ВОТ ТВОЙ ПОЛЕТ

Научно-фантастические рассказы

Составитель Р. Л. Рыбкин

Ответственный редактор *Н. И. Белая*
Художественный редактор *Ю. Н. Стальская*
Технический редактор *Т. П. Тимошина*
Корректор *Т. А. Нарышкина*

ИБ № 12621

Сдано в набор 01.10.90. Подписано к печати 23.09.91. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бум. типограф. № 1. Шрифт таймс. Печать высокая. Усл. печ. л. 18,48. Усл. кр.-отт. 19,32. Уч.-изд. л. 18,54. Тираж 100 000 экз. Заказ № 5521. Цена 8 р. Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Министерства печати и массовой информации РСФСР. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга» Мининформпечати РСФСР. 127018, Москва, Сущевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

8 руб.